



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические записи.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические записи.
Не отправляйте в систему Google автоматические записи любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

XII.

СБОРНИКЪ

ТОВАРИЩЕСТВА „ЗНАНИЕ“ ЗА 1906 ГОДЪ

КНИГА ДВѢНАДЦАТАЯ.

СОДЕРЖАНІЕ:

- М. Горькій. Царство скуки.
М. Горькій. «Моя».
М. Горькій. Чарли Мэнъ.
С. Юшкевичъ. Въ городѣ.
Зиновій Пз. Домъ.
Эмиль Верхарнъ. Въ деревнѣ.
А. Серафимовичъ. Въ семьѣ.
Уольтъ Уитманъ. Стихотвореніе.
М. Новорусскій. Въ Шлессельбургѣ.
Евг. Тарасовъ. Стихотвореніе.
Евг. Чириковъ. Въ тюрьмѣ.
Свнталецъ. Стихотвореніе.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1906.

PROPERTY OF
*University of
Michigan
Libraries*

1817

ARTES SCIENTIA VERITAS



Изданіе товарищества „ЗНАНІЕ“ (Спб. Невскій, 92).

XII.

СБОРНИКЪ

ТОВАРИЩЕСТВА „ЗНАНІЕ“ ЗА 1906 ГОДЪ.

КНИГА ДВѢНАДЦАТАЯ.

СОДЕРЖАНІЕ:

М. Горькій. Царство скуки.
М. Горькій. „Мовъ“.
М. Горькій. Чарли Мэнъ.
С. Юшкевичъ. Въ городъ.
Зиновій Пэ. Домъ.
Эмиль Верхарнъ. Въ деревнѣ.
А. Серафимовичъ. Въ семьѣ.
Уольтъ Уитманъ. Стихотвореніе.
М. Новорусскій. Въ Шлиссельбургъ.
Евг. Тарасовъ. Стихотворенія.
Евг. Чириковъ. Въ тюрьмѣ.
Скиталець. Стихотвореніе.

Цѣна 1 рубль.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1906.

891.708

S3

v.12

Тип. Спб. акц. общ. „Слово“. Ул. Жуковского, 21.

СОДЕРЖАНІЕ:

	Стр.
М. Горькій. Царство скуки.	1
М. Горькій. „Мовъ“.	21
М. Горькій. Чарли Мэнъ.	34
С. Юшкевичъ. Въ городѣ.	49
Зиновій Пэ. Домъ.	197
Эмиль Верхарнъ. Въ деревнѣ.	219
А. Серафимовичъ. Въ семьѣ.	227
Уольтъ Уитманъ. Стихотвореніе.	249
М. Новорусскій. Въ Шлиссельбургѣ.	253
Евг. Тарасовъ. Стихотворенія.	289
Евг. Чириковъ. Въ тюрьмѣ.	299
Скиталецъ. Стихотвореніе	321



М. ГОРЬКІЙ.
ВЪ АМЕРИКѢ.

СЧЕРКИ.

ГОРЬКІЙ БЫЛЪ ТАМЪ ПЕРВЫМЪ РУССКИМЪ ПИСАТЕЛЕМЪ,
КТО ПОЯВИЛСЯ ВЪ АМЕРИКѢ.

ВЪ ЦАРСТВО СЕБЕНЪ

ВЪ „НОВЫЕ“

ВЪ ЧАРЛИ УОНЪ

М. Горькій. Въ Америкѣ:

1. ГОРОДЪ ЖЕЛТАГО ДЬВЛА;
2. ЦАРСТВО СКУКИ;
3. „МОВЪ“;
4. ЧАРЛИ МЭНЪ.

Право собственности внѣ Россіи закрѣплено за авторомъ во всѣхъ странахъ, гдѣ это допускается существующими законами.

Гл. переводчиковъ просятъ обращаться за разрѣшеніемъ на переводъ и за справками къ представителю автора, Ив. П. Ладыжникову, по слѣдующему адресу:

*Berlin W, 15, Uhlandstrasse, 145;
„Bühnen-und-Buch Verlag russischer Autoren
I. Ladyschnikow“.*

II.

Царство скуки.

Когда приходитъ ночь, на океанѣ вдругъ поднимается къ небу призрачный городъ, весь изъ огней. Тысячи рдѣющихъ искръ раскаленно сверкають во тьмѣ, тонко и четко рисуя на темномъ фонѣ неба стройныя башни чудесныхъ замковъ, дворцовъ и храмовъ изъ разноцвѣтно-горящаго хрустала. Въ воздухѣ трепещетъ золотая паутина, сплетаясь въ прозрачныя узоры пламени, и замираетъ, любуясь своей красотой, отраженной въ водѣ. Сказочно и непонятно это сверканіе огня, который горя не уничтожаетъ, и невыразимо прекрасенъ его великолѣпный, едва замѣтный для глаза трепеть, создающій въ пустынѣ неба и океана волшебную картину огненного города. Надъ нимъ колыхнется красноватое зарево, и вода отражаетъ его очертанія, сливая ихъ въ причудливыя пятна расплавленного золота...

Игра огня рождаетъ странныя мечты: кажется, что тамъ, въ залахъ дворцовъ, въ яркомъ блескѣ пламенной радости, тихо и гордо звучить музыка, которой не слыхалъ никто и никогда. На волнѣ ея стройнаго теченія посятся, точно крылатыя звѣзды, лучшія мысли земли. Въ священномъ танцѣ онѣ соприкасаются одна другой и, ярко вспыхнувъ въ мимолетномъ объятіи, рождаютъ новое пламя, новую мысль.

Кажется, что тамъ, въ мягкой тѣмѣ, на зыбкой груди океана, качается чудесно сотканная изъ нитей золота, цвѣтовъ и звѣздъ большая колыбель; въ ней ночью отдыхаетъ солнце.

Солнце ставитъ человѣка ближе къ правдѣ жизни. Днемъ на мѣстѣ огненной сказки видны только бѣлыя воздушныя зданія.

Голубой туманъ дыханій океана смѣшанъ съ дымомъ города, сѣрымъ и мутнымъ; бѣлыя, легкія зданія окутаны прозрачной пеленой, и въ ней они, подобно мареву, заманчиво дрожатъ, зовутъ къ себѣ и общаются что-то прекрасное и тихое.

Тамъ, сзади, тяжело стоятъ въ тучахъ дыма и пыли квадратные дома города, и несмолкая раздается его ненасытный, голодно-жадный ревъ. Этотъ напряженный звукъ, сотрясающій воздухъ и душу, немолчный вой желѣзныхъ струнъ, тоскливый вопль силъ жизни, угнетаемыхъ силою золота, холодный, насмѣшливый свистъ Желтаго Дьявола—этотъ шумъ гонить прочь отъ земли, раздавленной и загрязненной вонючимъ тѣломъ города. И люди идутъ на берегъ океана, гдѣ стоятъ, общая имъ отдыхъ и тишину, красивыя бѣлыя зданія.

Они тѣсно сомкнулись на длинной, песчаной косѣ, которая, подобно ножу, глубоко и остро вонзилась въ темныя воды. Песокъ блеститъ на солнцѣ теплымъ, желтымъ блескомъ, и на его бархатѣ прозрачныя зданія подобны тонкимъ вышивкамъ изъ бѣлаго шелка. Какъ будто нѣкто пришелъ на остріе косы и погрузился въ волны, бросивъ свои богатые одежды на грудь имъ.

Хочется пойти и прикоснуться къ мягкимъ, ласковымъ тканямъ, лечь на ихъ пышныя складки и смотреть въ пустыню, гдѣ безшумно и быстро мелькаютъ бѣлыя птицы, гдѣ океанъ и небо дремотно замерли въ знойномъ блескѣ солнца.

Это называется „Куни Айландъ“.

По понедѣльникамъ газеты города съ торжествомъ извѣщаютъ читателя:

„Вчера на Куни Айландъ было 300000 человѣкъ. Потеряно 23 ребенка“..

Прочитавъ это, каждый думаетъ:

— Значить, тамъ есть что-то!..

Нужно долго вѣхать въ пыли и крикахъ улицъ на трамваѣ по Бруклину и острову Лонгъ Айландъ, прежде чѣмъ передъ глазами явится ослѣпительное великолѣпіе Куни Айланда. И какъ только человѣкъ встанетъ передъ входомъ въ этотъ городъ огня, онъ ослѣпленъ. Въ глаза ему бросаютъ сотни тысячъ холодныхъ, бѣлыхъ искръ, и онъ долго ничего не можетъ разобратъ въ сверкающей пыли; вокругъ него—все слито въ буйный вихрь огненной пѣны, все кружится, блеститъ и увлекаетъ. Человѣка сразу ошеломили, ему раздавили этимъ блескомъ сознаніе, изгнали изъ него мысль и сдѣлали личность кускомъ толпы. Пьяно и безвольно люди идутъ куда-то среди сверканія огней, закрывающаго имъ глаза. Въ мозгъ проникаетъ матово-бѣлый туманъ, жадное ожиданіе окутываетъ душу вязкимъ пологомъ. Пораженная блескомъ, толпа людей вливается чернымъ потокомъ въ неподвижное озеро свѣта, отовсюду сдавленнаго темными берегами ночи.

Вездѣ сухо и холодно сверкаютъ маленькія лампочки; онѣ прилѣплены ко всѣмъ столбамъ и стѣнамъ, къ наличникамъ оконъ, карнизамъ; онѣ тянутся ровными линіями по высокой трубѣ электрической станціи, горятъ на всѣхъ крышахъ; онѣ царапаютъ глаза людей острыми иглами безлично-мертваго блеска; люди прищуриваются и, растерянно улыбаясь, медленно идутъ, влачатся по землѣ, какъ тяжелыя звенья запутанной цѣпи...

Человѣку нужно сдѣлать большое усиліе, чтобы найти себя среди толпы, подавленной удивленіемъ, въ

которомъ нѣтъ восторга и радости. И кто находитъ себя, тотъ видитъ, что эти миллионы огней рождаютъ унылый, все раздѣвající свѣтъ и, создавая намеки на возможность красоты, всюду обнажаютъ тупое, скучное безобразіе. Прозрачный издали, сказочный городъ встаетъ теперь, какъ нелѣпая путаница прямыхъ линий дерева, поспѣшная, дешевая постройка для забавы дѣтей, расчетливая работа стараго педагога, котораго беспокоятъ дѣтскія шалости, и онъ желаетъ даже игрушками воспитывать въ дѣтяхъ покорность и смиреніе. Десятки бѣлыхъ зданій уродливо разнообразны, и ни въ одномъ изъ нихъ нѣтъ даже тѣни красоты. Они построены изъ дерева, намазаны облупившеюся бѣлой краской и всѣ точно страдаютъ однообразной болѣзнью кожи. Высокія башни и низенькія колоннады вытянулись въ двѣ мертвенно ровныя линіи и безвкусно тѣснятъ другъ друга. Все раздѣто, ограблено безстрастнымъ блескомъ огня; онъ—всюду, и нигдѣ нѣтъ тѣней. Каждое зданіе стоитъ, точно удивленный дуракъ, широко раскрывъ ротъ а внутри него облако дыма, рѣзкіе вопли мѣдныхъ трубъ, вой органа и темныя фигуры людей. Люди ѣдятъ, пьютъ, курятъ.

Но человѣка не слышно. Въ воздухѣ течетъ ровной струей шипѣніе огня въ фонаряхъ, носятя лохмотья музыки, нищенское пѣніе деревянныхъ дудокъ, органовъ и тонкій, непрерывный свистъ жаровень. Все это сливается въ назойливое гудѣніе какой-то невидимой толстой, туго натянутой струны, и если въ этотъ непрерывный звукъ вторгается человѣческій голосъ, онъ кажется испуганнымъ шопотомъ. Все вокругъ нагло блеститъ, обнажая свое скучное уродство...

Душу крѣпко обнимаетъ пламенное желаніе живого, краснаго, цвѣтущаго огня, чтобы онъ освободилъ людей изъ плѣна пестрой скуки, сверлящей уши и ослѣпляющей глаза... Хочется поджечь всю эту прелесть и бѣшено весело плясать, кричать и пѣть въ

буйной игрѣ разноцвѣтныхъ языковъ живого пламени, на сладострастномъ пирѣ уничтоженія мертвого великолѣпія духовной нищеты...

Людей въ плѣну этого города—дѣйствительно сотни тысячъ. На всей его огромной площади, тѣсно застроенной бѣлыми клѣтками, во всѣхъ залахъ зданій они толпятся, какъ тучи черныхъ мухъ. Беременные женщины самодовольно несутъ тяжесть своихъ животовъ. Дѣти идутъ, молчаливо раскрывъ рты, и ослѣпленными глазами смотрятъ вокругъ такъ напряженно и серьезно, что ихъ до боли жалко за этотъ взглядъ, питающій ихъ душу уродствомъ, которое они берутъ за красоту. Бритыя лица мужчинъ, безусыя, странно похожія другъ на друга, солидно неподвижны. Большинство привели сюда женъ и дѣтей и чувствуютъ себя благодѣтелями своихъ семействъ, которымъ они даютъ не только хлѣбъ, но и великолѣпныя зрѣлища. Имъ самимъ тоже нравится этотъ блескъ, но они слишкомъ серьезны для того, чтобы выражать свои ощущенія; поэтому они однообразно сжали тонкія губы и, прищуривъ глаза, смотрятъ исподлобья, какъ люди, которыхъ ничѣмъ не удивишь. Но подъ этимъ внѣшнимъ спокойствіемъ зрѣлаго опыта чувствуется напряженное желаніе извѣдать всѣ наслажденія города. И вотъ солидные люди, пренебрежительно усмѣхаясь и скрывая довольный блескъ свѣтлыхъ глазъ, садятся верхомъ на спины деревянныхъ лошадокъ и слоновъ электрической карусели, садятся и, болтая ногами, съ трепетомъ ждутъ остраго удовольствія помчаться по рельсамъ, ухая валетѣть вверхъ и со свистомъ опуститься внизъ. Совершивъ это тряское путешествіе, всѣ снова туго натягиваютъ кожу на лицѣ и идутъ къ другимъ наслажденіямъ...

Удовольствія безчисленны: вотъ на вершинѣ желѣзной башни медленно качаются два длинныя бѣлыя

крыла; на концахъ крыльевъ висятъ клѣтки; въ клѣткахъ—люди. Когда одно изъ крыльевъ тяжело вминается въ небо, лица людей въ клѣткахъ становятся тоскливо серьезны, и всѣ они одинаково напряженно и молчаливо смотрятъ круглыми глазами на землю, уходящую отъ нихъ. А въ клѣткѣ другого крыла, которое въ это время осторожно опускается внизъ, лица людей цвѣтутъ улыбками и раздаются довольныя взвизгиванія. Этотъ звукъ странно напоминаетъ радостный визгъ щенка, когда его опустишь на полъ, подержавъ на воздухѣ за кожу шеи.

Вокругъ вершины другой башни летаютъ въ воздухѣ лодки; третья, вращаясь, двигаетъ какіе-то баллоны изъ желѣза; четвертая, пятая—всѣ онѣ двигаются, пылаютъ, зовутъ безмолвнымъ крикомъ холоднаго огня. Все качается, взвизгиваетъ, гремитъ и кружитъ головы людей, дѣлая ихъ самодовольно скучными, утомляя ихъ нервы путаницей движеній и блескомъ огня. Свѣтлые глаза становятся еще свѣтлѣе, какъ будто мозгъ блѣднѣетъ, теряя кровь въ странной суетѣ бѣлаго, сверкающаго дерева. И кажется, что скука, издыхая подъ гнетомъ отвращенія къ себѣ самой, кружится, кружится въ медленной агоніи и вовлекаетъ въ свой унылый танецъ десятки тысячъ однообразно черныхъ людей, сметая ихъ, какъ вѣтеръ—соръ улицъ, въ безвольныя кучи и снова разбрасывая, и снова сметая...

Внутри зданій людей ждуть тоже наслажденія, но они серьезны, они воспитываютъ... Здѣсь людямъ показываютъ адъ, со всѣми его строгими порядками и разнообразіемъ мученій, которыя ждуть людей, нарушающихъ святость законовъ, созданныхъ для нихъ...

Адъ сдѣланъ изъ папье-маше, окрашеннаго въ темнокрасный цвѣтъ; все въ немъ пропитано огнеупорнымъ составомъ и густымъ, грязнымъ запахомъ ка-

кого-то жира. Адъ очень скверно сдѣланъ,—онъ способенъ вызвать отвращеніе къ себѣ даже у человѣка скромнаго и нетребовательнаго. Онъ представляетъ собой пещеру, хаотически заваленную камнями и наполненную красноватымъ сумракомъ. На одномъ изъ камней сидитъ Сатана въ красномъ трико, искажая разнообразными гримасами свое худое, коричневое лицо, потираетъ руки, какъ человѣкъ, который сдѣлалъ выгодное дѣло. Ему, должно быть, очень неудобно сидѣть,—бумажный камень трещитъ и качается, но онъ будто-бы не замѣчаетъ этого, наблюдая, какъ внизу, у его кривыхъ ногъ, черти расправляются съ грѣшниками.

Вотъ дѣвушка купила новую шляпку и смотритъ на себя въ зеркало, довольная и веселая. Но сзади къ ней подкрадывается пара небольшихъ, видимо очень голодныхъ чертей; они схватываютъ ее подъ мышки, она визжитъ, но—поздно!—Черти кладутъ ее въ длинный, гладкій жолобъ, который круто опускается въ яму среди пещеры; изъ ямы идетъ сѣрый паръ, поднимаются языки огня, сдѣланнаго изъ красной бумаги, и дѣвушка, вмѣстѣ съ зеркаломъ и шляпой, съѣзжает на спинѣ по жолобу въ эту яму...

Молодой парень выпилъ стаканъ водки,—черти немедленно спускаютъ и его туда-же, подъ полъ сцены.

Въ аду душно; черти мелки и слабосильны; они, видимо, страшно утомлены своей работой, ихъ раздражаетъ ея однообразіе и очевидная бесполезность, поэтому они не церемонятся съ грѣшниками, бросая ихъ въ жолобъ, точно полѣнья. Смотришь на нихъ и хочется крикнуть:

— Довольно глупости! Бастуй, ребята!..

Дѣвица вытащила нѣсколько монетъ изъ кошелька своего собесѣдника, — и въ тотъ же мигъ шпионы-черти расправляются съ ней, къ удовольствію Сатаны, который радостно болтаетъ ногами и гнусаво хихикаетъ. Черти сердито косятся на бездѣльника и озлоб-

ленно швыряють въ пасть огненной ямы всѣхъ, кто случайно, по дѣлу или изъ любопытства заходить въ адъ...

Публика смотритъ на эти страсти молча и серьезно. Въ залѣ — темно. Какой-то здоровый парень съ курчавой головой и въ толстомъ пиджакѣ густымъ, угрюмымъ голосомъ говоритъ рѣчь, указывая рукой на сцену.

Въ своей рѣчи онъ утверждаетъ, что если люди не хотятъ быть жертвами Сатаны въ красномъ трико съ кривыми ногами, они должны знать, что нельзя цѣловать дѣвушекъ, не обвинявшись съ ними, потому что отъ этого дѣвушки могутъ сдѣлаться проститутками; нельзя цѣловать молодыхъ людей безъ разрѣшенія церкви, потому что отъ этого могутъ родиться мальчики и дѣвочки; проститутки не должны воровать деньги изъ кармановъ своихъ гостей; всѣ вообще люди не должны пить вино и прочія жидкости, возбуждающія страсти; всѣ они должны посѣщать не трактиры, а церкви: это полезнѣе для души и дешевле стоитъ...

Говоритъ онъ одностонно, скучно и, должно быть, самъ не вѣритъ, что нужно жить именно такъ, какъ ему велѣли проповѣдывать.

И невольно восклицаешь по адресу хозяевъ исправительнаго увеселенія для грѣшниковъ:

— Господа! Если вы желаете, чтобы мораль дѣйствовала на душу человѣка хотя-бы съ силою касторового масла, проповѣдникамъ морали надо больше платить!

Въ заключеніе этой страшной исторіи, изъ угла пещеры является до отвращенія красивый ангелъ. Онъ повѣшенъ на проволоку и двигается въ воздухѣ черазъ всю пещеру, держа въ зубахъ деревянную дудку, оклеенную золотой бумагой. Сатана, увидавъ его, ныряетъ, подобно ершу, въ яму вслѣдъ за грѣшниками, раздаются трескъ, бумажные камни валятся другъ

на друга, черти радостно бѣгутъ отдохнуть отъ работы, занавѣсъ опускается. Публика встаетъ и уходитъ. Нѣкоторые осмѣливаются смѣяться, большинство людей сосредоточенно. Можетъ быть, они думаютъ:

— Если и въ аду такъ мерзко... пожалуй, не стоитъ грѣшить...

Идутъ дальше. Въ слѣдующемъ зданіи имъ показываютъ „Загробный міръ“. Это большое учрежденіе, тоже изъ папье-маше; оно изображаетъ шахты, въ которыхъ безъ толку шатаются скверно одѣтыя души умершихъ. Имъ можно подмигивать, но щипать ихъ нельзя, это фактъ. Онѣ, должно быть, очень скучаютъ въ сумракѣ подземнаго лабиринта, среди шероховатыхъ стѣнъ, обливаемая холодной струей сырого воздуха. Нѣкоторыя души скверно кашляютъ, другія молча жуютъ табакъ, сплевывая на землю желтую слюну; одна душа, прислонясь въ углу къ стѣнѣ, курила сигару...

Когда проходишь мимо нихъ, онѣ смотрятъ въ лицо безцвѣтными глазами и, плотно сжимая губы, зябко прячутъ руки въ сѣрыя складки загробныхъ лохмотьевъ. Голодны всѣ онѣ, эти бѣдныя души, и, видимо, многія изъ нихъ страдаютъ ревматизмомъ... Публика молча смотреть на нихъ и, вдыхая сырой воздухъ, питаетъ душу свою унылой скукой, которая гаситъ мысль, какъ мокрая, грязная тряпка, брошенная на уголь, едва тлѣющій...

Еще въ одномъ зданіи охотно показываютъ „Всемирный потопъ“, который, какъ извѣстно, былъ устроенъ для наказанія людей за грѣхи...

И всѣ зрѣлища въ этомъ городѣ имѣютъ одну цѣль: показать людямъ, чѣмъ и какъ они будутъ вознаграждены за грѣхи свои послѣ смерти, научить ихъ жить на землѣ смирно и послушно законамъ...

Всюду проповѣдуется одно:

— Нельзя!

Ибо подавляющее большинство публики—рабочій народъ...

Но—необходимо наживать деньги, и въ укромныхъ уголкахъ свѣтлаго города, какъ вездѣ на землѣ, развратъ презрительно смѣется надъ лицемѣріемъ и ложью. Конечно, онъ прикрытъ, и разумѣется,—онъ скученъ: онъ вѣдь тоже „для народа“. Онъ организованъ, какъ выгодное предпріятіе, какъ средство вытасщить заработокъ изъ кармана человѣка, и, пропитанный страстью къ золоту, онъ трижды гнусенъ и противенъ въ этомъ болотѣ свѣтлой скуки...

Народъ питается имъ.

Народъ всегда вынужденъ, онъ еще ничего не дѣлаетъ свободно, и виноватъ онъ только въ томъ, что позволяетъ поработать свой духъ и тѣло,—только въ этомъ онъ виноватъ...

...Онъ течетъ густымъ потокомъ между **дружъ** линій ярко освѣщенныхъ домовъ, и дома глотаютъ его голодными пастями. Направо его застрачиваютъ ужасами вѣчныхъ мукъ, убѣждая:

— Не грѣши! Опасно!

Налѣво, въ просторномъ залѣ для танцевъ, медленно кружатся женщины, и все тамъ ясно убѣждаетъ:

— Согрѣши! Пріятно...

Ослѣпленный блескомъ огней, соблазняемый дешевой, но сверкающей роскошью, пьяный отъ шума, онъ кружится въ медленной пляскѣ томящей скуки и охотно и слѣпо идетъ и налѣво, ко грѣху, и направо, въ дома, гдѣ ему проповѣдуютъ святость.

Это безвольное хожденіе съ одинаковой силой оупляетъ его и одинаково полезно и для торговцевъ моралью, и для продавцевъ разврата.

Жизнь устроена для того, чтобы народъ шесть дней работалъ, а въ седьмой грѣшилъ и—платилъ за грѣхи

свои, исповѣдывался и платилъ за исповѣдь,—вотъ и все!

Шипятъ огни, подобно сотнямъ тысячъ раздраженныхъ змѣй, и темными рядами мухъ безсильно и уныло жужжать и медленно ворочаются люди въ сѣняхъ сверкающей и тонкой паутины зданій. Не торопясь, безъ смѣха и улыбокъ на гладко выбритыхъ лицахъ, они лѣниво входятъ во всѣ двери, стоятъ подолгу передъ клѣтками звѣрей, жуютъ табакъ, плюются.

Въ огромной клѣткѣ какой-то человѣкъ гоняетъ выстрѣлами изъ револьвера и безпощадными ударами тонкаго бича бенгальскихъ тигровъ. Красавцы-звѣри, обезумѣвъ отъ ужаса, ослѣпленные огнями, оглушенные музыкой и выстрѣлами, бѣшено мечутся среди желѣзныхъ прутьевъ, рычатъ, храпятъ, сверкая зелеными глазами; дрожатъ ихъ губы, гнѣвно обнажая клыки зубовъ, и то одна, то другая лапа грозно взмахиваетъ въ воздухъ. Но человѣкъ стрѣляетъ имъ прямо въ глаза, и громкій трескъ холостого патрона, рѣжущая боль ударовъ бича отталкиваютъ сильное, гибкое тѣло звѣря въ уголъ клѣтки. Весь охваченный дрожью возмущенія, гнѣвной тоской сильнаго, задыхаясь въ острыхъ мукахъ униженій, плѣнный звѣрь на секунду замираетъ въ углу и безумными глазами смотритъ, нервно двигая змѣевиднымъ хвостомъ, смотреть...

Эластичное тѣло сжимается въ твердый комъ мускуловъ, дрожитъ, готовое взлетѣть на воздухъ, вонзить свои когти въ мясо человѣка съ бичомъ, разорвать его, уничтожить...

Вздрагиваютъ, какъ пружины, заднія ноги, вытягивается шея, въ зеленыхъ зрачкахъ вспыхиваютъ кроваво-красныя искры радости... Подстерегая, ожидая, глаза звѣря все ярче пылаютъ на его мстительномъ лицѣ...

И въ нихъ вонзаются сотнями тупыхъ уколовъ безцвѣтные, холодно ожидающіе взгляды однообразно жел-

тыхъ лицъ за рѣшеткою клѣтки, тускло слитыхъ въ мѣдное пятно.

Страшное своей мертвой неподвижностью, лицо толпы ждетъ: она тоже хочетъ крови и ждетъ ея, ждетъ не изъ мести, а изъ любопытства, какъ сытый, давно укрощенный звѣрь.

Тигрь втягиваетъ голову въ плечи, тоскливо расширяетъ глаза и волнисто, мягко подается всѣмъ тѣломъ назадъ, точно его кожу, воспламененную жаждой мести, вдругъ облили крупными каплями ледяного дождя.

Человѣкъ бѣгаетъ по клѣткѣ, стрѣляетъ, щелкаетъ бичомъ, оретъ, какъ безумный; онъ прячетъ въ крикахъ свой жуткій страхъ передъ звѣремъ и свое рабское опасеніе не угодить животному, которое спокойно любитъ прыжками человѣка и напряженно ожидаетъ рокового прыжка звѣря. Ожидаетъ—не сознавая, въ немъ проснулся и дышетъ древній инстинктъ; онъ требуетъ борьбы, онъ хочетъ сладко вздрогнуть, когда два тѣла обовьются одно съ другимъ, брызнетъ кровь и на полъ клѣтки полетитъ дымясь разорванное мясо человѣка, раздастся ревъ и крикъ...

Но мозгъ животного уже пропитанъ ядами разныхъ запретовъ и опасеній; желая крови, толпа боится, она и хочетъ, и не хочетъ, и въ этой темной борьбѣ внутри самой себя она испытываетъ острое наслажденіе, она живетъ...

Человѣкъ напугалъ всѣхъ звѣрей, тигры мягко убѣгаютъ куда-то въ глубину клѣтки, а онъ, весь потный и довольный тѣмъ, что сегодня остался живъ, улыбается побѣлѣвшими губами, стараясь скрыть ихъ дрожь, и кланяется мѣдному лицу толпы, кланяется ей, какъ идолу.

Она мычитъ, хлопаетъ ладонями, вздыхаетъ о чемъ-то съ сожалѣніемъ, быть можетъ, радуясь чему-то, разваливается на темные куски и расплзается по вязкому болоту скуки вокругъ нея...

Насладившись картиной состязанія человѣка со звѣрями, животныя идутъ искать еще чего-нибудь забавнаго. Вотъ — циркъ. Въ центрѣ круглой арены какой-то человѣкъ подбрасываетъ длинными ногами въ воздухъ двухъ дѣтей. Дѣти мелькаютъ надъ нимъ, точно два бѣлыхъ голубя, у которыхъ сломаны крылья; порой они срываются съ его ногъ, падаютъ на землю и, опасливо взглянувъ на опрокинутое, налитое кровью лицо отца своего или хозяина, снова вертятся въ воздухъ. Вокругъ арены сложилась толпа. Смотрить. И когда ребенокъ срывается съ ноги артиста, на всѣхъ лицахъ вздрагиваетъ оживленіе, точно вѣтеръ кроетъ легкой рябью сонную воду грязной лужи.

Хочется увидѣть пьянаго человѣка съ веселой рожей, который шель-бы, толкался, пѣлъ, оралъ, счастливый тѣмъ, что вотъ онъ пьянъ и всѣмъ добрымъ людямъ искренно желаетъ того-же...

Гремитъ музыка, разрывая воздухъ въ клочья. Оркестръ — плохъ, музыканты устали, звуки трубъ мечутся безсвязно, какъ будто они всѣ прихрамываютъ и для нихъ невозможенъ плавный строй, и они бѣгутъ изломанной линіей, толкая, обгоняя, опрокидывая другъ друга. И почему-то каждый отдѣльный звукъ рисуется воображенію кускомъ жести, которому придано сходство съ лицомъ человѣка — прорѣзанъ ротъ, прорѣзаны глаза, отверстіе для носа и придѣланы длинныя бѣлыя уши. Человѣкъ, махающій палочкой надъ головами музыкантовъ, которые не смотрятъ на него, беретъ эти куски за ручки-уши и невидимо бросаетъ ихъ вверхъ. Они спшибаются другъ съ другомъ, воздухъ свиститъ въ щеляхъ ихъ ртовъ, и — это дѣлаетъ музыку, отъ которой даже ко всему привыкшія лошади цирковыхъ наѣздниковъ опасливо сторонятся, нервно прядая острыми ушами, точно они хотятъ вытряхнуть изъ нихъ колкіе жестяные звуки...

Странныя фантазіи рождаетъ эта музыка нищихъ.

для забавы рабовъ. Хочется вырвать изъ рукъ музыканта самую большую мѣдную трубу и дуть въ нее всей силой груди, долго, громко, страшно, такъ, чтобы всѣ разбѣжались изъ плѣна, гонимые ужасомъ бѣшеннаго звука...

Недалеко отъ оркестра—клѣтка съ медвѣдями; одинъ изъ нихъ, толстый, бурый, съ маленькими хитрыми глазами, стоитъ среди клѣтки и размѣренно качаетъ головой. Вѣроятно, онъ думаетъ:

— Это можно принять, какъ разумное, только тогда, если мнѣ докажутъ, что все здѣсь устроено нарочно, чтобы ослѣпить, оглушить, изуродовать людей... Тогда, конечно... цѣль оправдываетъ средство... Но если люди искренно думаютъ, что все это — забавно... я не вѣрю больше въ ихъ разумъ!..

Два другіе медвѣдя сидятъ одинъ противъ другого такъ, какъ будто они играютъ въ шахматы. Четвертый озабоченно сгребаетъ солому въ уголъ клѣтки, задѣвая черными когтями за прутья. Морда у него разочарованно-спокойная. Онъ, видимо, ничего не ждетъ отъ этой жизни и намѣренъ лечь спать...

Звѣри возбуждаютъ острое вниманіе; водянистые взгляды людей неотвязно слѣдятъ за ними, какъ будто ищутъ что-то давно позабытое въ свободныхъ и сильныхъ движеніяхъ красиваго тѣла львовъ и пантеръ. Стоя передъ клѣтками, они просовываютъ палки сквозь рѣшетку и молча испытующе тыкаютъ звѣрей въ животы, въ бока, бьютъ по лапамъ, наблюдаютъ: что будетъ?

Тѣ звѣри, которые еще не ознакомились съ характеромъ людей, сердятся на нихъ, бьютъ лапами по прутьямъ клѣтокъ и режутъ, открывая гнѣвно дрожащія пасти. Это — нравится. Охраняемые желѣзомъ отъ ударовъ звѣря, увѣренные въ своей безопасности, люди спокойно смотрятъ въ глаза, налитые кровью, и довольно улыбаются. Но большинство звѣрей не отвѣчаютъ

людямъ. Получивъ ударъ палкой или плевкомъ, они медленно встаютъ и, не глядя на оскорбителя, уходятъ въ дальній уголъ клѣтки. Тамъ въ темнотѣ лежатъ сильныя, прекрасныя тѣла львовъ, тигровъ, пантеръ и леопардовъ, и горятъ во тьмѣ круглыя зрачки звѣрей зеленымъ огнемъ презрѣнія къ людямъ...

А люди, взглянувъ на нихъ еще разъ, идутъ прочь и говорятъ:

— Это—сучный звѣрь...

Передъ оркестромъ музыкантовъ, съ отчаяннымъ усердіемъ играющихъ у полукруглаго входа въ какую-то темную, широко разинутую пасть, внутри которой спинки стульевъ торчатъ подобно рядамъ зубовъ, — предъ музыкантами поставленъ столбъ, а на столбѣ—привязанныя тонкой цѣпью двѣ обезьяны, мать и ребенокъ. Ребенокъ тѣсно прижался къ груди матери, скрестивъ на спинѣ ея свои длинныя тонкія руки, съ крошечными пальцами; мать крѣпко обняла его одной рукой, ея другая рука сторожко вытянута впередъ, и пальцы на ней нервно скрючены, готовые схватить, цапнуть, ударить. Глаза матери напряженно расширены, въ нихъ ясно видно безсильное отчаяніе, острая боль ожиданія неустранимой обиды, утомленная злоба и тоска... Ребенокъ прильнулъ щекой къ ея груди и искоса, съ холоднымъ ужасомъ въ глазахъ смотреть на людей, неподвижно, безнадежно: онъ, видимо, былъ напоенъ страхомъ въ первый день жизни, и страхъ заledenѣлъ въ немъ на всѣ дни ея. Оскаливъ мелкіе бѣлые зубы, его мать, ни на секунду не отрывая руки, обнимающей родное тѣло, другой рукой все время непрерывно отбиваетъ протянутые къ ней палки, зонтики, руки зрителей ея муки.

Ихъ много. Все это бѣлокожіе дикари, мужчины и женщины, въ котелкахъ и шляпахъ съ перьями, и всѣмъ

имъ ужасно забавно видѣть, какъ ловко обезьяна-мать запищаетъ свое дитя отъ ихъ ударовъ по его маленькому тѣлу...

Обезьяна быстро вертится на круглой плоскости, величиной съ тарелку, рискуетъ каждую секунду упасть подъ ноги зрителей и неумоимо отталкиваетъ все, что хочетъ прикоснуться къ ея ребенку. Порой она не успѣваетъ отбить ударъ и жалобно взвизгиваетъ. Ея рука, точно плеть, быстро вьется вокругъ; но зрителей такъ много и каждому такъ сильно хочется щипнуть, ударить, дернуть обезьяну за хвостъ, за цѣпь на шеѣ. Она не успѣваетъ. И ея глаза безсмысленно моргаютъ, около рта являются лучистыя морщины скорби и боли.

Руки ея ребенка давятъ ей грудь; онъ такъ крѣпко прижался, что его рукъ почти не видно въ тонкой шерсти на кожѣ матери. Онъ неподвижно замеръ и глаза его не отрываясь смотрятъ на желтыя пятна лицъ вокругъ него и въ тусклые глаза людей, которымъ его ужасъ передъ ними даетъ маленькое удовольствіе

Порой одинъ изъ музыкантовъ наводитъ мѣдный глупый зѣвъ своей трубы на обезьяну и обливаетъ ее трескучимъ звукомъ; она сжимается, скалитъ зубы и смотритъ на музыканта острымъ взглядомъ...

Публика смѣется, одобрительно киваетъ музыканту головами. Онъ доволенъ и, спустя минуту, повторяетъ свою выходку...

Среди зрителей есть женщины; вѣроятно, нѣкоторыя изъ нихъ—матери... Но никто не произноситъ ни слова противъ злой забавы. Всѣ довольны ею...

Иная пара глазъ готова даже лопнуть отъ напряженія, съ которымъ она любитъ муками матери и дикимъ ужасомъ ребенка.

Человѣка воспитываютъ страхомъ; поэтому онъ тоже старается внушить страхъ къ себѣ. И возбуждаетъ только отвращеніе, несчастный.

Эта пытка продолжается весь длинный вечеръ и часть ночи.

Рядомъ съ оркестромъ—клѣтка слона. Это пожилой господинъ, съ вытертой и лоснящейся кожей на головѣ. Просунувъ хоботъ сквозь прутья клѣтки, онъ солидно покачивается имъ, наблюдая за публикой. И думаетъ, какъ доброе и разумное животное:

— Конечно, эта сволочь, сметенная сюда грязной метлой скуки, способна издѣваться и надъ пророками своими... какъ слышалъ я отъ стариковъ-слоновъ. Но все-таки мнѣ жалко обезьяну... Я слышалъ также, что люди, какъ шакалы и гіены, порою разрываютъ другъ друга... но обезьянѣ-то отъ этого не легче... нѣтъ, не легче...

Смотришь на эту пару глазъ, въ которой дрожить скорбь матери, безсильной защитить свое дитя, и на глаза ребенка, въ которыхъ неподвижно застылъ глубокий, холодный ужасъ передъ человѣкомъ, смотришь на людей, способныхъ забавляться мученіями живого существа, и, обращаясь къ обезьянѣ, говоришь про себя:

— Животное! Прости имъ! Современемъ они будутъ лучше...

Конечно, это смѣшно и глупо, и бесполезно. Едва-ли можетъ быть такая мать, которая могла бы простить мученія своего ребенка; я думаю, даже среди собакъ нѣтъ такой матери...

Развѣ только свиньи...

Да!..

Такъ вотъ—когда приходитъ ночь,—на океанѣ внезапно вспыхиваетъ прозрачный, волшебный городъ, весь изъ огней. Онъ—не сгорающая—долго горитъ на темномъ фонѣ неба ночи, отражая свою красоту въ широкомъ блескѣ волнъ океана.

Въ блестящей паутинѣ его прозрачныхъ эданий, подобно вшамъ въ лохмотьяхъ нищаго, скучно ползаютъ

десятки тысячъ сѣрыхъ людей, съ безцвѣтными глазами.

Жадные и подлые показываютъ имъ отвратительную наготу своей лжи и наивность своей хитрости, лицемеріе свое и ненасытную силу жадности своей. Холодный блескъ мертвого огня во всемъ оголяетъ скудоуміе и оно, торжественно блистая, почіетъ на всемъ вокругъ людей...

Но люди тщательно ослѣплены и съ восхищеніемъ молча пьютъ дрянной ядъ, отравляющій имъ души.

Въ лѣнивомъ танцѣ медленно кружится скука, издыхающая въ агоніи своего безсилія.

Только одно хорошо въ свѣтломъ городѣ: въ немъ можно на всю жизнь напоить душу свою ненавистью къ силѣ глупости...

III

„М О В Ъ“.

Окно моей комнаты выходитъ на площадь; пять улицъ цѣлый день высыпаютъ на нее людей, точно картофель изъ мѣшковъ; сѣрые люди толпятся, бѣгутъ, и снова улицы втягиваютъ ихъ въ свои пищеводы. Площадь кругла и грязна, какъ сковорода, на которой жарили мясо, и никогда еще не чистили ее. Четыре линіи трамвая выбѣгаютъ на этотъ тѣсный кругъ, и почти каждую минуту скользятъ по рельсамъ, рѣзко взвизгивая на закругленіяхъ, вагоны, набитые людьми. Они разбрасываютъ на своемъ пути тревожно торопливый грохотъ желѣза, надъ ними и подъ колесами у нихъ раздраженно гудитъ электричество. Въ пыльномъ воздухѣ посѣяна болѣзненная дрожь стеколъ въ окнахъ, визгливый крикъ тренія колесъ о рельсы. Непрерывно воетъ проклятая музыка города, дикая схватка грубыхъ звуковъ, которые рѣжутъ, душатъ другъ друга и вызываютъ странную и мрачную фантазію.

...Толпа какихъ-то бѣшеныхъ уродовъ, вооруженная огромными клещами, ножами, пилами и всѣмъ, что можно сдѣлать изъ желѣза, свилась въ клубокъ червей, въ темный вихрь безумія надъ тѣломъ женщины, которую она схватила жадными руками, свалила на землю, въ грязь, въ пыль и рветъ ей груди, рѣжетъ

мясо, пьеть кровь, насилуетъ и слѣпо, голодно, неустанно дерется надъ ней и за нее.

Кто эта женщина—не видно: она завалена, покрыта огромной, желто-грязной кучей людей, которые впились въ нее со всѣхъ сторонъ, припали къ ней костлявыми тѣлами, прилѣпились всюду, гдѣ нашлось мѣсто для жадныхъ губъ, и сосутъ ея соки изъ каждой поры тѣла... Охваченные голодной, неутомимой жадностью, они отбрасываютъ другъ друга прочь отъ своей добычи, бьютъ, топчутъ, дробятъ кости, уничтожаютъ одинъ другого. Всѣмъ хочется какъ можно больше и всѣ дрожать въ горячкѣ острой боязни остаться безъ куска. Скрежещутъ ихъ зубы, стучить желѣзо въ ихъ рукахъ, стоны боли, вопли жадности, крики разочарованія, ревъ голоднаго гнѣва,—все это сливается въ похоронный вой надъ трупомъ убитой добычи, разорванной, изнасилованной тысячами насилій, испачканной всей разноцвѣтной грязью земли.

И съ этимъ дикимъ воемъ сливается въ одну волну жалкая скорбь побѣжденныхъ, которые отброшены въ сторону и голодно, противно плачутъ тамъ о счастьѣ сытости; бороться за него они не могутъ, трусливые и слабые.

Вотъ что рисуетъ музыка города.

Воскресенье. Люди не работаютъ.

Поэтому на многихъ лицахъ замѣтно унылое недоумѣніе, почти тревога. Вчерашній день имѣлъ простой, опредѣленный смыслъ—съ утра до вечера работали. Въ обычный часъ проснулись, пошли на фабрику, въ конторы, на улицы. Стояли и сидѣли на привычныхъ и потому удобныхъ мѣстахъ. Считали деньги, продавали, рѣли землю, рубили дерево, тесали камни, сверлили и ковали и, вообще, какъ нужно человѣку—работали руками весь день. Привычно усталые, легли спать, а сѣгодня проснулись, и вотъ—празднѣсть вопро-

сительно смотреть въ глаза, требуя, чтобы пустота ея была чѣмъ-то наполнена.

Научивъ людей работать, ихъ не учили жить, и потому день отдыха является для нихъ труднымъ днемъ. Орудія, вполне способныя создать машины, храмы, огромныя суда и мелкія, красивыя вещицы изъ золота, они не чувствуютъ себя способными наполнить день чѣмъ-либо инымъ, кромѣ привычной, механической работы. Куски и части, они спокойны и чувствуютъ себя людьми на фабрикахъ, въ конторахъ, въ магазинахъ, гдѣ они слагаются съ подобными себѣ частями въ цѣльный, стройный организмъ, торопливо творящій цѣнности изъ живого сока нервовъ своихъ, но—не для себя.

Шесть дней недѣли жизнь проста: она—огромная машина, всѣ люди—ея части, и каждый знаетъ свое мѣсто въ ней, каждый думаетъ, что ему знакомо и понятно ея слѣпое, грязное лицо, его лицо. Въ седьмой-же день, день отдыха и праздности, жизнь, встаетъ передъ людьми въ странномъ, разобранномъ видѣ, у нея ломается лицо, она его теряетъ...

Всѣ люди разбрелись по улицамъ, сидятъ въ трактирахъ, въ паркѣ, были въ церкви, стоятъ на углахъ... Какъ всегда, есть движеніе, но кажется, что оно черезъ минуту или черезъ часъ остановится передъ чѣмъ-то, чего-то не хватаетъ въ жизни, и что-то новое хочетъ явиться въ ней. Никто не создаетъ своего ощущенія, никто не можетъ выразить его словами, но всѣ тягостно чувствуютъ что-то непривычное, тревожное. Изъ жизни вдругъ выпали всѣ ея мелкіе, понятные смыслы, точно зубы изъ десенъ старухи...

Люди ходятъ по улицамъ, садятся въ вагоны, разговариваютъ; всѣ они наружно спокойны, обычно понятны другъ другу. Воскресенье бываетъ пятьдесятъ два раза въ году,—они уже выработали себѣ привычку проводить его одно, какъ другое. Но каждый чувствуетъ,

что онъ не тотъ, какимъ былъ вчера, и его товарищъ тоже не таковъ,—гдѣ-то внутри колыхнется сосущая пустота, и возможно, что въ ней вдругъ нѣчто прозвучитъ, непонятное, безпокойное, можетъ быть, страшное...

Это въ каждой груди. Человѣкъ чувствуетъ въ себѣ возможность вопроса, и эта возможность вызываетъ у него инстинктивное желаніе избѣжать встрѣчи съ ней...

Невольно люди жмутся одинъ къ другому, сливаются въ группы, молча стоятъ на углахъ улицъ, смотря на все вокругъ, къ нимъ подходятъ еще и еще живые куски, и привычное стремленіе частей къ созданію цѣлаго создаетъ толпу.

...Изъ глубокихъ жолобовъ улицъ каждую секунду на площадь высыпаются существа на двухъ ногахъ, какъ будто гдѣ-то тамъ, внутри безграничнаго города, все время идетъ неустанная работа дробленія огромнаго тѣла, а сюда отлетаютъ и падаютъ куски разорваннаго цѣлаго, которымъ поспѣшно и небрежно приданъ наружный видъ людей.

Всѣ эти существа наружно похожи другъ на друга, всѣ они приняли безпечный видъ, и одинаково независимо у большинства изъ нихъ руки сунуты глубоко въ карманы. Спокойныя лица и очень свѣтлые глаза. Идутъ они не торопясь, смотрятъ на все безразлично, говорятъ мало, неохотно. Всѣ обособлены, каждый—самъ для себя...

Но въ этой спокойной праздности есть что-то подчеркнутое, она не кажется искренней, когда присмотришься къ ней. Лѣнь походки искусственна,—такъ двигаются люди, когда они боятся что-то потревожить, такъ они ходятъ, когда подкрадываются. Въ безличныхъ взглядахъ свѣтлыхъ глазъ замѣтна тѣнь тревоги, какъ будто каждый ожидаетъ увидѣть нѣчто пугающее...

Ихъ обособленность это—одиначество разрозненныхъ

частей разобранной машины. Каждая изъ этихъ частей несетъ въ себѣ смутное ощущеніе потери смысла жизни и смутную боязнъ найти въ ней новый смыслъ, который потребуетъ созданія другихъ привычекъ. Новое всегда враждебно и непріятно людямъ; какъ это знаютъ всѣ, кто пытался ввести его въ жизнь. Новое полезно взять для жизни тогда, когда сотрутся и погаснутъ его сверкающія грани, когда оно будетъ плоскимъ и удобно, какъ все плоское, ляжетъ рядомъ со старымъ. Но въ часъ, когда оно рождается и, подобно первому лучу разсвѣта, тревожитъ острымъ блескомъ сонъ людей, они инстинктивно отвертываются отъ него, чтобы еще немного жизни отдать привычному темному покою...

...Люди молча и не спѣша слагаются одинъ съ другимъ; ихъ стягиваетъ въ кучу, точно сила магнита—опилки желѣза, общее всѣмъ ощущеніе тревожной пустоты въ груди, жуткое, темное ожиданіе опасности. Почти не глядя другъ на друга, они становятся плечомъ къ плечу, сдвигаются все тѣснѣе, и вотъ—въ углу площади образовалось плотное, черное тѣло, со множествомъ головъ. Угрюмо молчаливое, выжидательно напряженное, оно почти неподвижно. Сложилось тѣло, и тотчасъ быстро возникаетъ духъ, образуется широкое, тусклое лицо, и сотни пустыхъ глазъ принимаютъ единое выраженіе, смотрятъ одичавшимъ, подозрительно ожидающимъ взглядомъ, который безсознательно ищетъ нѣчто, о чемъ пугливо и чуть слышно доноситъ инстинктъ.

Такъ рождается то страшное животное, которое носитъ тупое имя „Мовъ“—толпа.

...Когда по улицѣ проходитъ нѣкто, чѣмъ-либо не похожій на людей, одѣтый какъ-то иначе или идущій слишкомъ быстро для обыкновеннаго человѣка, „Мовъ“ слѣдитъ за нимъ, повертывая въ его сторону сотни

своихъ головъ и щупая его разсѣяннымъ, всеобнимающимъ взглядомъ.

Почему онъ не одѣвается, какъ всѣ? Это подозрительно. И что могло заставить его идти такъ быстро, по этой улицѣ, въ день, когда всѣ ходятъ медленно? Это странно...

Идутъ двое молодыхъ людей и громко смѣются. „Мовъ“ напрягаетъ вниманіе. Надъ чѣмъ смѣяться въ этой жизни, гдѣ все такъ непонятно, когда нѣтъ работы? И этотъ смѣхъ вызываетъ въ животномъ легкое раздраженіе, враждебное веселью. Нѣсколько головъ угрюмо поворачиваются вслѣдъ весельчакамъ, ворчать...

Но „Мовъ“ сама смѣется, когда она видитъ, какъ на площади торговецъ газетами мечется среди вагоновъ трамвая, съ трехъ сторонъ набѣгающихъ на него, грозя раздавить. Испугъ человѣка, которому грозитъ смерть, понятенъ ей, а все, что она понимаетъ въ таинственной суетѣ жизни, радуется ее...

Вотъ ѣдетъ на автомобилѣ извѣстный всему городу и даже всей странѣ хозяинъ. „Мовъ“ смотритъ на него съ глубокимъ интересомъ; она сливаетъ свои глаза въ одинъ лучъ, освѣщающій сухое, костлявое и желтое лицо хозяина тусклымъ блескомъ уваженія къ нему. Такъ смотрятъ старыя, еще въ дѣтствѣ укрощенныя медвѣди на своего укротителя. „Мовъ“ понимаетъ хозяина: это сила; это великій человѣкъ: тысячи работаютъ для того, чтобы онъ жилъ, тысячи. Въ хозяинѣ для „Мовъ“ есть совершенно ясный смыслъ,—хозяинъ даетъ работу. Но вотъ въ вагонѣ трамвая сидитъ сѣдой человѣкъ; у него суровое лицо и строгіе глаза. „Мовъ“ тоже знаетъ, кто онъ; о немъ часто пишутъ въ газетахъ, какъ о сумасшедшемъ, который хочетъ разрушить государство, отнять всѣ фабрики, желѣзныя дороги, суда,—все отнять... Газеты говорятъ, что это—безумная и смѣшная затѣя. Толпа смотреть

на старика съ укоромъ, съ холоднымъ осужденіемъ, съ пренебрежительнымъ любопытствомъ. Сумасшедшій — это всегда любопытно, потому что безсмысліе его поступковъ совершенно ясно, ничто не затемняетъ его...

„Мовъ“ только ощущаетъ, она только видитъ. Она не можетъ претворять своихъ впечатлѣній въ мысли, душа ея нѣма, и сердце слѣпо.

..Люди идутъ, идутъ одинъ за другимъ, и непонятно, странно, необъяснимо—куда, зачѣмъ они идутъ? Ихъ страшно много, и они разнообразны гораздо болѣе, чѣмъ куски жельза, дерева, камня, разнообразіе монетъ, матерій и всѣхъ орудій, которыми работало вчера животное. Это раздражаетъ „Мовъ“. Она смутно чувствуетъ, что есть другая жизнь, построенная иначе, чѣмъ ея, съ другими привычками, жизнь, полная чѣмъ-то заманчиво-неизвѣстнымъ.

Подозрительное ожиданіе опасности медленно питается чувствомъ раздраженія, тонкими иглами царапающаго слѣпое сердце животнаго. Его глаза становятся темнѣе, и плотное безформенное тѣло замѣтно напрягается, вздрагиваетъ, обнимаемое безсознательнымъ волненіемъ...

Мелькаютъ мимо глазъ люди, летятъ вагоны, автомобили... Въ окнахъ магазиновъ дразнятъ взглядъ какія-то блестящія вещи. Ихъ назначеніе неизвѣстно, но онѣ тянутъ къ себѣ вниманіе, вызываютъ желаніе обладать ими...

„Мовъ“ волнуется...

Она смутно чувствуетъ себя одинокой въ этой жизни, одинокой и отрицаемой всѣми нарядными людьми. Она замѣчаетъ, какъ чисто вымыты ихъ шеи, какъ тонки и бѣлы руки, лица ихъ лоснятся и блестятъ спокойной сытостью; невольно представляется пища, которую пожираютъ эти люди каждый день. Должно быть, это удивительно вкусныя вещи, если отъ нихъ такъ хорошо

блестить кожа и такъ кругло-красиво вырастаютъ животы...

„Мовъ“ чувствуетъ во чревѣ своемъ зависть, которая остро щекочетъ ей желудокъ...

Въ дорогихъ и легкихъ коляскахъ ѣдутъ красивыя, гибкія женщины. Онѣ вызывающе лежатъ на подушкахъ, вытянувъ маленькія ноги, лица ихъ горятъ, какъ звѣзды, и довольные прекрасные глаза зовутъ всѣхъ людей улыбнуться.

— Смотрите, какъ мы прекрасны!—молча рассказываютъ женщины.

Толпа внимательно смотреть и сравниваетъ этихъ женщинъ со своими женами. Очень костлявыя или слишкомъ толстыя, жены всегда жадны и часто хвораютъ. У нихъ особенно часто болятъ зубы и разстраиваются желудки. И постоянно ругаются онѣ одна съ другой, если мужа нѣтъ...

„Мовъ“ чувственно раздѣваетъ женщинъ въ коляскахъ, щупаетъ ихъ груди, ноги... И, представляя нагое, сытое, упругое, сверкающее тѣло женщинъ,—„Мовъ“ не можетъ сдержать острое чувство восхищенія, она вслухъ обмѣнивается сама съ собой словами, отъ которыхъ пахнетъ горячимъ, жирнымъ потомъ, словами краткими и сильными, какъ пощечина тяжелой, грязной руки...

„Мовъ“ хочетъ женщину. Ея глаза горятъ, жадно обнимая мелькающія мимо тонкія, крѣпкія тѣла красавицъ.

Сверкаютъ дѣти, звучитъ ихъ смѣхъ и крики. Чисто одѣтыя, здоровыя дѣти, на прямыхъ и стройныхъ ногахъ. Розовощекія они, веселыя...

Дѣти „Мовъ“ худосочны, желты; ноги у нихъ почему-то кривыя. Это очень часто—кривыя ноги у дѣтей. Должно быть, тутъ виноваты матери: онѣ что-нибудь дѣлаютъ не такъ, когда родятъ...

Сравненія рождаютъ зависть въ темномъ сердцѣ „Мовъ“.

Теперь къ раздраженію толпы примѣшивается враждебность, которая всегда пышно растетъ на плодородной почвѣ зависти. Черное, огромное тѣло неуклюже двигаетъ своими частями, сотни глазъ внимательно и колко встрѣчаютъ все, что незнакомо и непонятно имъ.

„Мовъ“ чувствуетъ, что у нея есть врагъ, хитрый, сильный, разсѣянный повсюду и потому неуловимый. Онъ гдѣ-то близко и—нигдѣ. Онъ забралъ себѣ всѣ вкусныя вещи, красивыхъ женщинъ, розовыхъ дѣтей, коляски, яркія шелковыя ткани и раздаетъ все это кому хочетъ, но не „Мовъ“. Ее онъ презираетъ, отрицаетъ и не видитъ, какъ и она его...

„Мовъ“ ищетъ, нюхаетъ, слѣдитъ за всѣмъ. Но все обычно, и хотя въ жизни улицъ есть много новаго, невѣдомаго ей, оно течетъ, мелькаетъ мимо, не задѣвая туго натянутыхъ струнъ ея враждебности, неяснаго желанія поймать кого-то и раздавить.

Посреди площади стоитъ полпцейскій, въ сѣрой шляпѣ. Его бритое лицо блеститъ, точно мѣдное. Оно страшно спокойно; этотъ большой человѣкъ непобѣдимо силенъ, потому что у него въ рукахъ короткая, толстая палка.

„Мовъ“ искоса поглядываетъ на эту палку въ рукѣ человѣка съ мѣднымъ лицомъ.. Она знаетъ палки, она видѣла ихъ сотни тысячъ, и всѣ онѣ—просто дерево или желѣзо.

Но въ этой—короткой и тупой—сокрыта дьявольская сила, противъ которой нельзя идти, невозможно.

„Мовъ“ глухо и слѣпо враждебна всему, она волнуется, она готова на что-то страшное.. И невольно мѣрятся глазами короткую, тупую палку...

Въ темномъ хламѣ безсознательнаго всегда тлѣетъ страхъ...

Жизнь непрерывно реветъ, неустанная въ своемъ движеніи. Откуда въ ней эта энергія, когда „Мовъ“ не работаетъ?

И все съ большей ясностью толпа чувствуетъ свое одиночество, ощущаетъ какой-то обманъ и, все болѣе раздражаясь, зорко ищетъ, на что бы положить свою руку.

Она становится теперь чуткой и воспріимчивой, ничто новое для нея не проходитъ мимо, не замѣченное ею. Она теперь осмѣиваетъ рѣзко и зло, и чело-вѣкъ въ слишкомъ широкой сѣрой шляпѣ долженъ ускорить шаги, подѣ насмѣшливыми уколами ея взглядовъ и бичами ея восклицаній. Женщина, переходя площадь, чуть-чуть подняла юбки, но, увидавъ, какими глазами толпа смотритъ на ея ноги, тотчасъ же, какъ будто ее ударили по рукѣ, расправила пальцы, державшіе матерію...

На площадь откуда-то вываливается пьяный. Онъ идетъ, опустивъ голову на грудь, бормочетъ что-то, и его тѣло, размытое виномъ, безсильно качается, готовое каждую секунду упасть, разбиться о мостовую, о рельсы...

Онъ сунулъ одну руку въ карманъ, въ другой у него измятая, пыльная шляпа; онъ размахиваетъ ею и ничего не видитъ.

На площади, попадая въ дикій вихрь металлическихъ звуковъ, онъ немного приходитъ въ себя, останавливается и смотритъ вокругъ влажными, туманными глазами. Со всѣхъ сторонъ на него летятъ вагоны, коляски, движется какая-то длинная нить, на которой нанизаны темныя бусы. Раздражительно звонятъ колокольчики вагоновъ, предупреждая его, цокаютъ подковы лошадей, все гудитъ, гремитъ, лѣзетъ на него.

„Мовъ“ чувствуетъ возможность чего-то, что, можетъ быть, немного развлечетъ ее. Она снова сливаетъ сотни своихъ взглядовъ въ одинъ лучъ и слѣдитъ, ждетъ...

Кондукторъ вагона звонить и оретъ пьяному, онъ перегнулся черезъ перила, лицо его красно отъ крика; пьяный дружески машетъ ему шляпой и шагаетъ на рельсы подъ вагонъ. Откинувшись всѣмъ корпусомъ назадъ, закрывъ глаза, кондукторъ съ силою поворачиваетъ ручку, вагонъ весь вздрагиваетъ и съ трескомъ останавливается...

Пьяный шагаетъ дальше; онъ надѣлъ шляпу на голову и снова наклонилъ лицо къ землѣ.

Но изъ-за перваго вагона не торопясь выскальзываетъ другой и подшибаетъ ноги пьянаго; онъ грузно валится сначала въ сѣтку, потомъ мягко падаетъ съ нея на рельсы, и сѣтка толкаетъ, везетъ его скомканное тѣло по землѣ...

Видно, какъ хлопаютъ по землѣ руки и ноги пьянаго... Красно и тонко улыбнулась кровь, точно подманивая къ себѣ кого-то...

Раздается рѣзкій визгъ женщинъ въ вагонѣ, но всѣ звуки тотчасъ гаснутъ въ густомъ, торжествующемъ воплѣ „Мовъ“, точно на нихъ вдругъ кинули тяжелое покрывало, влажное и давящее. Тревожный звонъ колокольчиковъ, удары копытъ, вой электричества, все сразу задушено ужасомъ передъ черной волной, волной толпы, которая съ животнымъ ревомъ бросилась впередъ, ударилась о вагоны, облила, захлестнула ихъ темными брызгами и начала работать.

Пугливо и кратко вздрагиваютъ разбиваемыя стекла въ окнахъ вагона. Ничего не видно, только бьется и трепещетъ огромное тѣло „Мовъ“, и ничего не слышно, кромѣ ея вопля, возбужденнаго крика, которымъ она радостно возвѣщаетъ всей жизни о себѣ, о своей силѣ, о томъ, что, наконецъ, и она тоже нашла свое мѣсто и дѣло.

Въ воздухѣ мелькаютъ сотни большихъ рукъ, блестятъ десятки глазъ жаднымъ блескомъ страннаго, остраго голода.

Кого-то бьетъ она, черная „Мовъ“, кого-то разрываетъ, кому-то мстить...

Изъ бури ея слитныхъ криковъ все чаще раздаётся, сверкаетъ, точно длинный, гибкій ножъ, шипящее слово:

— Линчъ!

Оно имѣетъ магическую силу объединять всѣ смутныя желанія „Мовъ“, оно все гуще сливается въ себѣ ея крики:

— Линчъ!

Нѣсколько частей толпы вскинулись на крыши вагона, и оттуда тоже вьется по воздуху, свистя какъ бичъ и мягко извиваясь:

— Линчъ!

Вотъ въ центрѣ ея образовалось плотное ядро, оно поглотило, всосало что-то въ себя и двигается, вытекаетъ изъ толпы... Ея густое тѣло послушно раздается передъ натискомъ изъ центра и, постепенно разрываясь, выдвигаетъ изъ нѣдръ своихъ этотъ плотный, черный комъ—свою голову, свою пасть.

Въ зубахъ этой пасти качается оборванный, окровавленный человѣкъ, онъ былъ кондукторомъ вагона, какъ это видно по нашивкамъ на его лохмотьяхъ.

Теперь онъ—кусочъ изжеваннаго мяса, свѣжаго мяса, вызывающе вкусно облитого яркой кровью.

Черная пасть толпы несетъ его и продолжаетъ жевать, и руки ея, точно щупальцы спрута, обвиваютъ это тѣло безъ лица.

„Мовъ“ воетъ:

— Линчъ!

И слагается за головой своей въ длинное, плотное туловище, готовое проглотить множество свѣжаго мяса.

Но вдругъ откуда-то передъ нею встаетъ бритый человѣкъ съ мѣднымъ лицомъ. Онъ надвинувъ свою

сѣрую шляпу на глаза, всталъ, точно сѣрый камень на дорогѣ толпы и молча поднялъ въ воздухъ свою палку.

Голова толпы пошатнулась вправо, влѣво, желая ускользнуть отъ этой палки, обойти ее.

Полицейскій неподвиженъ, палка въ рукѣ его не вздрагиваетъ, и не мигаютъ его спокойные, твердые глаза.

Эта увѣренность въ своей силѣ сразу вѣетъ холодомъ въ горячее лицо „Мовъ“.

Если человѣкъ одинъ встаетъ на ея дорогѣ, одинъ, противъ ея желанія, тяжелаго и сильнаго, какъ лава, если онъ такъ спокоенъ,—значить, онъ непобѣдимъ!

Она что-то кричитъ ему въ лицо, размахиваетъ щупальцами, какъ будто хочетъ обнять ими широкія плечи полицейскаго, но уже въ ея крикѣ, хотя и раздраженномъ, звучитъ нѣчто жалобное. И когда мѣдное лицо полицейскаго тускло темнѣетъ, когда его рука еще выше поднимаетъ короткую, тупую палку, ревъ толпы начинаетъ странно прерываться, и туловище ея постепенно, медленно разваливается, хотя голова „Мовъ“ все еще споритъ, мотается изъ стороны въ сторону, хочетъ ползти дальше.

Вотъ идутъ не торопясь еще двое людей съ палками. Щупальцы „Мовъ“ безсильно выпускаютъ охватенное ими тѣло, оно падаетъ на колѣни, раскидываясь у ногъ представителя закона, и онъ простираетъ надъ нимъ короткій и тупой символъ своей власти...

Голова „Мовъ“ тоже медленно распадается на части; туловища у нея уже нѣтъ; по площади устало и подавленно расползаются темныя фигуры людей, точно черныя бусы огромнаго ожерелья разсыпались по ея грязному кругу.

Въ жолоба улицъ молча и угрюмо идутъ разорванные, разрозненные люди...

IV.

Чарли Мэнъ.

Въ округѣ появился медвѣдь.

Дѣти первые замѣтили его. Однажды вечеромъ они играли въ мячъ около лѣса, вдругъ онъ явился на опушкѣ среди деревьевъ, поднялъ голову и, нюхая воздухъ, тихо заворчалъ. Испуганные ребята бросились въ деревню, но взрослые не повѣрили имъ: это было въ началѣ августа,—не время для того, чтобы медвѣди шныряли около деревни.

Но черезъ нѣсколько дней звѣрь явился снова. Онъ выскочилъ изъ лѣса какъ разъ въ то время, когда почтальонъ Ферстеръ ѣхалъ въ деревню съ почтой. Лошадь Ферстера испугалась, понесла, и почтальонъ, выброшенный на землю, сломалъ себѣ ногу. Это уже было нѣчто реальное, но и это не нарушало прямыхъ интересовъ деревни; почту собрали, ничто не было потеряно; о медвѣдѣ снова забыли...

И только когда звѣрь задавилъ корову Круксовъ, старшій Круксъ, рыжій Джэкъ, отправился къ Чарли Мэну.

Мэнъ сидѣлъ на крыльцѣ и чинилъ капканъ для лисъ, когда Джэкъ пришелъ къ нему.

— Добрый день, Чарли Мэнъ!—сказалъ Джэкъ, садясь на ступеньку, рядомъ съ охотникомъ.

Мэнъ прищурилъ глаза, подумалъ и отвѣтилъ:

— Добрый день.

— Вы слышали о медвѣдѣ?—спросилъ Круксъ, приступая прямо къ дѣлу.

Чарли Мэнъ, какъ всякій серьезный человѣкъ, никогда не отвѣчаетъ не подумавъ. Съ минуту онъ молча скрипѣлъ подпилкомъ, очищая ржавчину на желѣзѣ капкана, потомъ поднялъ голову и тоже спросилъ:

— Вы хотите знать, Джэкъ Круксъ, слышалъ-ли я о медвѣдѣ?

— Именно это хотѣлъ-бы я знать!—согласился Круксъ.

Чарли Мэнъ отложилъ подпилкъ въ сторону, подавилъ пальцами пружину капкана, подулъ на нее и сталъ смачивать масломъ изъ маленькой, грязной бутылки.

— Онъ не часто брѣтся, — подумалъ Круксъ, разсматривая сѣдую щетину на костлявой щекѣ Чарли.

— Да, я слышалъ о немъ кое-что!—отвѣтилъ Мэнъ, кивая головой.

Его сѣрые глаза снисходительно пошевелились въ орбитахъ, и онъ добавилъ медленно:

— Люди много говорятъ, и всегда что-нибудь слышишь...

— А какъ вы думаете объ этомъ, Чарли Мэнъ?—спросилъ рыжій Джэкъ. Этотъ парень не любитъ терять время даромъ, онъ ходитъ всегда по прямой линіи.

Мэнъ смазалъ пружину капкана, еще разъ подулъ на нее и, положивъ машину на колѣни, спокойно сталъ смотрѣть черезъ желтую равнину поля въ далекій лѣсъ. Наконецъ, онъ отвѣтилъ, не двигая мускулами лица:

— Въ августѣ я ничего не думаю о медвѣдяхъ.

— Я увѣренъ, что у васъ есть на это хорошія основанія!—сказалъ Круксъ.—Но, мнѣ кажется, вы могли бы сдѣлать не дурное для васъ дѣло, подстрѣливъ его, э? Я, вы знаете, не охотникъ, да и нѣтъ времени

ходить за нимъ... Кромѣ васъ, никто не можетъ убить звѣря... Это всѣ знаютъ.

Чарли Мэнъ всталъ и выпрямилъ свое длинное, сухое тѣло, крѣпко связанное упругими жилами. Онъ повернулъ опаленную солнцемъ шею вправо и влѣво и, сунувъ руки въ карманы, удивленно, кратко спросилъ:

— Теперь? Въ августъ?

— Да, да!—оживленно сказалъ Круксъ.—Вы видите,—онъ начинаетъ портить скоть...

Чарли Мэнъ опустилъ голову, поднялъ брови и, глядя въ лицо Джэка съ явнымъ изумленіемъ, произнесъ, напоминающимъ тономъ:

— Но вѣдь у меня нѣтъ скота!

Тогда Круксъ понялъ, что такъ онъ не убѣдитъ Чарли въ необходимости убить медвѣдя. И онъ рѣшилъ подѣйствовать на воображеніе охотника.

— Это такъ, Чарли Мэнъ, у васъ нѣтъ скота!—согласился онъ и, стараясь придать своему голосу трогательное выраженіе, продолжалъ:—но у васъ есть мальчикъ и дѣвочка, вотъ въ чемъ дѣло. А для медвѣдя все равно—овца или ребенокъ, не такъ-ли? Онъ неразборчивъ, этотъ звѣрь... И вотъ если вы, Чарли, подумаете о дѣтяхъ...

• — Позвольте!—сказалъ Чарли, вынувъ руку изъ кармана и проводя ею по лицу.

Мэнъ плотно сжалъ губы, поднялъ плечи на высоту ушей, опустилъ ихъ и, глядя на Джэка сверху внизъ, внушительно спросилъ:

— Почему вы, Джэкъ Круксъ, думаете, что медвѣдь съѣстъ именно моихъ дѣтей прежде другихъ?

Рыжій Джэкъ былъ пораженъ простой и ясной правдой вопроса. Онъ открылъ ротъ, но почти минуту не могъ ничего сказать отъ удивленія передъ тонкимъ умомъ охотника. Онъ даже всталъ на ноги и замоталъ головой, точно быкъ, уколвшій ноздри репейникомъ. Потомъ онъ воскликнулъ:

— Ну, у васъ ясная голова, мистеръ Мэнъ, убей меня молніей, если это не правда! Въ самомъ дѣлѣ, почему именно вашихъ дѣтей прежде другихъ, э? Вотъ о чемъ я не подумалъ!

— Вы не подумали объ этомъ, дорогой Круксъ!— согласился охотникъ.

Когда рыжій Джэкъ шелъ къ Мэну, ему казалось, что все будетъ сдѣлано просто и быстро. Онъ разскажетъ Мэну о звѣрѣ, Мэнъ возьметъ ружье, пойдетъ въ лѣсъ и застрѣлитъ звѣря. Онъ охотникъ по профессіи, ему выгодно сдѣлать это. Но оказывается, что Чарли Мэнъ имѣетъ свое отношеніе къ такой простой съ виду задачѣ. Джэкъ почувствовалъ себя такъ, какъ будто онъ сбился съ дороги и не знаетъ, куда нужно повернуть, чтобы снова выйти на прямой и краткій путь.

— Да-а,—задумчиво сказалъ онъ,—вы правы, Мэнъ! Совершенно нѣтъ основаній, чтобы ваши дѣти были съѣдены первыми...

Мэнъ утвердительно кивнулъ головой. Они оба долго молчали, думая каждый о своемъ и глядя въ даль по одному направленію, туда, къ лѣсу.

Потомъ Круксу вдругъ показалось, что его голову осянула одна хорошая мысль. Онъ мигнулъ обоими глазами сразу и медленно, вкрадчиво заговорилъ:

— Но, Чарли, говоря вообще, всѣ дѣти очень милы и забавны, когда они играютъ всѣ дома и не больны— правда? Ваши и мои, и Джонсона, они всѣ рискуютъ встрѣтить звѣря... Они бѣгаютъ всюду и... ихъ такъ много!

Мэнъ утвердительно кивнулъ головой и замѣтилъ:

— Да, дѣтей всегда больше, чѣмъ медвѣдсей...

— Что вы хотите сказать? — помолчавъ, спросилъ Круксъ.

Чарли Мэнъ спокойно повернулъ къ нему свое красное лицо и, не двигая глазами, повторилъ:

— Я говорю: во всё времена года дѣтей больше, чѣмъ медвѣдей...

Рыжій Джэкъ опустилъ голову, желая понять тайный смыслъ этихъ словъ. Черезъ минуту онъ спросилъ:

— Значить вы, Чарли, не считаете дѣло съ медвѣдемъ выгоднымъ для себя, такъ?

Чарли Мэнъ, знаменитый охотникъ въ округѣ, положилъ на плечо Джэка свою длинную, твердую какъ желѣзо руку и, хотя безъ обиды, но съ упрекомъ въ голосѣ, сказалъ:

— Это нехорошо, Круксъ, съ вашей стороны, считать меня идиотомъ! Мнѣ не кажется, чтобы я заслужилъ такое отношеніе.

— Меньше всего я хотѣлъ-бы оскорбить васъ, Чарли Мэнъ! — искренно и торопливо воскликнулъ Круксъ.

Мэнъ воткнулъ свои сѣрые глаза въ смущенное лицо рыжаго Джэка и закончилъ рѣчь такъ:

— Но, дорогой мой, нужно или самому быть болваномъ или считать осломъ меня, чтобы предлагать мнѣ убить медвѣдя въ августѣ, когда его шкура ничего не стоитъ... Гуд-бай, Джэкъ Круксъ!

И Чарли Мэнъ ушелъ въ домъ, оставивъ рыжаго Джэка измѣрять глубину своей глупости...

А медвѣдь, послѣ того, какъ онъ сломалъ кости старухѣ Джонстонъ, собиравшей въ лѣсу ягоды, исчезъ изъ округа.

Изумительно тонкій умъ Чарли Мэна всего ярче проявился въ знаменитой охотѣ за чернобурой лисцей. Объ этой охотѣ писали во всѣхъ газетахъ штата, а одна изъ нихъ даже послала къ Мэну репортера.

Только подробный рассказъ объ этой борьбѣческаго ума съ хитростью звѣря можетъ освѣтить фигуру Чарли Мэна.

Началось съ того, что однажды, бродя по лѣсу,

Мэнъ нашелъ слѣдъ лисы и тотчасъ, по слѣдамъ, опредѣлилъ, что это именно чернбурая лиса. Онъ не хотѣлъ испортить ея дорогой мѣхъ и твердо рѣшилъ поймать звѣря капканомъ.

Раньше всего необходимо было заставить лису не ходить туда, гдѣ она привыкла пить воду и охотиться за птицей и гдѣ, Мэнъ это зналъ, она могла попасть въ капканъ другого охотника, который тоже слѣдилъ за ней.

Чарли Мэнъ нѣсколько дней не выходилъ изъ лѣса, тщательно изучая путь лисы. И когда онъ зналъ это, какъ линіи своей ладони, онъ выкопалъ изъ земли молодую ель и посадилъ ее на тропѣ звѣря, посадилъ такъ хорошо, что этого никто не могъ-бы замѣтить, кромѣ лисы. Это дерево, внезапно выросшее на пути, которымъ звѣрь еще вчера прошелъ свободно, сегодня испугало лису предчувствіемъ опасности; для звѣря было ясно, что это не природа вдругъ выростила дерево, а какая-то иная сила,—природа ничего не творитъ сразу, даже въ Америкѣ.

Лиса измѣнила свой путь къ ручью, чего и хотѣлъ Чарли Мэнъ. Онъ продолжалъ слѣдить за ней, какъ тѣнь ея, какъ смерть за осужденнымъ. Высокій, тонкій и сухой, онъ дни и ночи шагаль по лѣсу легкими, длинными ногами, не отрывая сѣрыхъ глазъ отъ земли, слѣдя за изгибами каждой былинки, замѣчая каждую вновь сломанную вѣтку и каждый слѣдъ. Онъ совершенно забылъ о всѣхъ звѣряхъ, кромѣ лисы, о домѣ, о женѣ, о дѣтяхъ, похудѣлъ, оборвался и такъ ходилъ, полуголодный, угрюмый, почти больной отъ напряженія.

Черезъ двѣ недѣли онъ зналъ мѣсто, гдѣ лиса переходитъ ручей. Онъ взялъ камень и положилъ его въ воду ручья. Дней черезъ пять онъ положилъ другой камень, а первый покрылъ тонкимъ слоемъ мха. Еще пять дней—онъ положилъ въ воду третій камень, по.

крылъ мхомъ второй и добавилъ слой мха на первомъ...

Такъ незамѣтно, одинъ за другимъ, онъ клалъ въ воду ручья камни и одѣвалъ ихъ мхомъ, подражая медленной работѣ природы. Онъ положилъ ихъ пять. И такъ онъ создалъ для своей лисы мостъ черезъ ручей. Она нашла его, конечно,—лиса не любитъ мочить въ водѣ свои лапы,—она воспользовалась работой Чарли Мэна.

Когда онъ замѣтилъ ея слѣды на мху своихъ камней,—онъ вынулъ первый изъ нихъ и поставилъ на его мѣсто капканъ, прикрытый мхомъ.

И на утро, придя къ ручью, онъ съ радостью увидѣлъ, что великолѣпный звѣрь сидитъ въ капканѣ, съ перебитой лапой, оскаливъ зубы отъ нестерпимой боли въ раздробленныхъ костяхъ.

Сунувъ руки глубоко въ карманы, Чарли Мэнъ съ тихой улыбкой всталъ на берегу, высокій, худой, съ краснымъ лицомъ, густо покрытымъ сѣдою щетиной. Потускнѣвшіе отъ боли глаза лисы вспыхнули краснымъ и желтымъ огнемъ, она рванулась изъ капкана, хрустнули кости, на водѣ ручья засверкали тонкія струйки крови, звѣрь залаялъ, взвизгнулъ и замеръ.

Тогда Чарли Мэнъ подошелъ къ нему и умѣлой рукой сломалъ лисѣ позвонки шеи...

Семь недѣль онъ упорно трудился, чтобы сдѣлать это!..

Но—недавно старый Чарли Мэнъ убилъ свою репутацію умнаго человѣка. Было такъ. Черный ястребъ явился въ деревнѣ и сталъ таскать куръ. Его видѣли не однажды, стрѣляли въ него не разъ, но все неудачно: хищная птица невредимо улетала, спокойно раскинувъ на воздухъ широкія крылья и какъ-бы презирая вражду людей.

Но Чарли Мэнъ—опъ счастливъ, вѣренъ его глазъ, и мѣтко бьетъ ружье! Чарли Мэнъ однажды увидалъ,

какъ ястребъ, охвативъ когтями большую курицу, тяжело взмываетъ съ нею надъ деревней. Мэнъ выстрѣлилъ; птица, вздрогнувъ всѣмъ тѣломъ, упала на землю.

Чарли поднялъ ястреба; оказалось, что дробь оглушила птицу, но даже не ранила ее. Полузакрывъ глаза, ястребъ смотрѣлъ въ лицо охотника, и брови хищника вздрагивали, когти слабо шевелились.

Велика была эта птица, велика и тяжела. Ея полузакрытые глаза смотрѣли безъ испуга, порой она вздрагивала всѣмъ тѣломъ; руки Чарли Мэна ощущали ея теплоту, слышали бѣненіе хищнаго сердца.

Сбѣжались дѣти, женщины и ругали гордую птицу, грозя ей кулаками, и каждый хотѣлъ нанести ей ударъ, въ отмщеніе за курицъ.

Жена рыжаго Джэка предложила:

— Отдайте этого разбойника дѣтямъ, Чарли Мэнъ! Они ужъ справятся съ нимъ теперь!

— Онъ можетъ выпарапать имъ глаза!—испуганно возразила другая.

Старая Клэръ, самая религіозная женщина общины, сказала своимъ голосомъ, охрипшимъ отъ молитвъ:

— Вы говорите вздоръ, дорогая Круксъ! Дѣти могутъ выпустить эту страшную птицу... и она снова начнетъ похищать нашихъ куръ... Слѣдуетъ отнестись серьезнѣе къ ней и сейчасъ-же убить ее...

И такъ какъ всѣ очень уважали Клэръ, то всѣ согласились съ необходимостью убить...

Мэнъ снялъ свои пальцы съ шеи ястреба, спокойно и молча посмотрѣлъ на шумъ вокругъ себя, онъ посмотрѣлъ не на лица, своими сѣрыми глазами, а сквозь людей и черезъ нихъ, поэтому-то я и говорю: онъ посмотрѣлъ на шумъ. Потомъ онъ поднялъ птицу съ земли, взявъ ее подъ мышку и понесъ домой.

Сначала дѣти шумно бѣжали за нимъ, спрашивая, что онъ думаетъ сдѣлать съ ястребомъ, но онъ шагаль наклонивъ голову къ землѣ, по своей привычкѣ, и его

неподвижное лицо, его каменное молчаніе оттолкнуло дѣтей...

Онъ былъ интересный человѣкъ для дѣтей, но они не любили его и, предпочитая говорить о немъ между собой, рѣдко и неохотно разговаривали съ нимъ.

Когда Мэнъ пришелъ домой, птица очнулась. Сильнымъ движеніемъ всего тѣла она попробовала вырваться изъ рукъ стараго охотника, но онъ снова схватилъ шею ястреба желѣзными пальцами и тиснулъ ее такъ, что круглые глаза птицы странно повернулись и налились кровью. Чарли Мэнъ приблизилъ голову ястреба къ своему лицу и сказалъ ему кратко и просто:

— Убью, дружище...

Ястребъ, изогнувъ шею, вцѣпился клювомъ въ тылъ ладони Чарли Мэна; охотникъ вздрогнулъ отъ неожиданности и боли, сжалъ зубы и, приподнявъ птицу надъ головой, съ силой бросилъ ее на землю.

Хищникъ упалъ на бокъ, но тотчасъ-же повернулся на спину, распласталъ по ней крылья и вытянулъ ихъ передъ собой.

Его глаза, круглые и горящіе, неподвижно остановились на длинной фигурѣ охотника и на его красномъ лицѣ, остановились и сверкали, ожидая нападенія. Ястребъ приподнялъ голову, напрягая шею, и смятыя перья на его шеѣ грозно встали, вздрагивали, каждое и всѣ...

Мэнъ взглянулъ на разорванное мясо руки, изъ нея обильно текла густая, темная кровь. Тогда онъ снялъ здоровой рукой ружье изъ-за плеча и приложилъ его къ щекѣ...

Птица еще больше вытянула когти, приподняла голову и съ дрожью въ крыльяхъ, простертыхъ по землѣ, съ огнемъ въ глазахъ смотрѣла, ждала...

Чарли Мэнъ медленно поднималъ голову и сѣрыми глазами взглянулъ въ небо, такое высокое, обширное, въ этотъ ясный день. И опустилъ ружье къ ногѣмъ...

Подумалъ, спокойно разсматривая птицу...

Потомъ онъ положилъ ружье на землю, взялъ въ сторонѣ ящикъ, подошелъ къ птицѣ, ожидавшей минуту послѣдней для нея борьбы, накрылъ ее ящикомъ и не спѣша ушелъ въ домъ.

Его жены и дѣтей не было дома; они, какъ всегда лѣтомъ, уѣзжали къ дѣду, на озеро. Они, какъ это извѣстно въ деревнѣ, не очень любятъ Чарли...

Минуть черезъ десять онъ вышелъ снова, рука его была перевязана грубо и наскоро полотенцемъ, которое уже успѣло пропитаться кровью, въ другой рукѣ онъ несъ тонкую и крѣпкую веревку.

Снявъ ящикъ съ тѣла птицы, онъ опустился передъ ней на колѣни и сказалъ угрюмо:

— Не будемъ ссориться...

Ослѣпленная темнотой подъ ящикомъ, разбитая ударомъ о землю, птица лежала все въ той-же готовой къ бою позѣ, но голова ея теперь безсильно опустилась на землю, только одинъ желтоватый, круглый глазъ смотрѣлъ въ лицо Чарли...

И презиралъ его.

Чарли Мэнъ удалось накинуть на ногу птицы веревку и туго завязать ее. Ястребъ клекоталъ, точно кровь кипѣла у него въ горлѣ... Но онъ былъ слишкомъ обезсиленъ и униженъ, чтобы драться.

Другой конецъ веревки Мэнъ привязалъ къ дереву, потомъ посмотрѣлъ на птицу, кивнулъ ей молча головой и, поднявъ съ земли ружье, ушелъ въ домъ.

Ястребъ повернулъ свой желтый, круглый глазъ вслѣдъ ему...

Потомъ приподнялъ крылья. Но они безсильно опустились...

Тогда птица подобрала одно крыло и, сдѣлавъ сильное движеніе всѣмъ тѣломъ, опрокинулась на бокъ... встала на ноги...

Опустила крылья; опираясь ими на землю и низко

наклонивъ голову, точно Чарли Мэнъ на-ходу, прыгнула разъ... два... свалилась на бокъ.

Заклекогала злобнымъ клекотомъ, негромко, хрипло, и снова сѣла на землю, упираясь крыльями въ пыль ея. Такъ сидя, измятая, разбитая, она, опустивъ хищную голову, смотрѣла круглымъ глазомъ на веревку, которая длинной, сѣрой и тонкой змѣей тянулась отъ ея ноги къ дереву... изломанныя перья дрожали мелкой дрожью.

Чарли Мэнъ стоялъ у окна и смотрѣлъ на ястреба сѣрыми глазами...

Птица оправилась дня черезъ три; она прыгала по двору, тяжело влача за собой измятое крыло и длинную веревку, прыгала и смотрѣла на все желтыми глазами,—острымъ взглядомъ тонко отточенной, холодной злобы...

Каждый день Чарли Мэнъ бросалъ ей куски сырого мяса, но ястребъ не дотрогивался до нихъ при охотникѣ: когда кусокъ падалъ около его клюва, птица расправляла здоровое крыло и прыгала прочь отъ куска, никогда не глядя на него... Послѣ куски мяса незамѣтно исчезали...

Для дѣтей деревни было большимъ удовольствіемъ забавляться съ ястребомъ Чарли Мэна. Они приходили къ его дому каждый день веселой ватагой, кричали на ястреба, хлопали руками и бросали камни въ угрюмую птицу, стараясь попасть ей въ этотъ желтый, строгій глазъ, почему-то раздражавшій ихъ.

Если камень падалъ близко отъ ястреба, птица косилась на него, оставаясь неподвижной; если камень попадалъ ей въ тѣло, она, вздрогнувъ, отскакивала прочь отъ удара. И всегда молчала...

И всегда Чарли Мэнъ сидѣлъ на крыльцѣ своего старого, маленькаго дома, встрѣчая дѣтей и молча

слѣдя за игрой съ ястребомъ. Стѣсная ихъ веселье, онъ ничего не говорилъ имъ, но всѣ чувствовали на себѣ его мертвый, охлаждающій взглядъ, и каждому онъ казался лишнимъ здѣсь... Избѣгая ударовъ камнями, по травѣ передъ домомъ прыгала большая, угрюмая и злая птица; на крыльцѣ сидѣлъ, положивъ скулы на ладони, длинный, худой человѣкъ и смотрѣлъ на ястреба, на дѣтей, смотрѣлъ все время, пока они играли съ птицей, стараясь выбить мѣткимъ ударомъ камня ея злой глазъ.

Чарли Мэнъ молчалъ. Но было хуже, когда онъ неохотно и медленно бросалъ дѣтямъ нѣсколько словъ, одинаково скучныхъ и, пожалуй, даже глухихъ.

— Вы, ребята, могли-бы, если-бъ захотѣли, бросить этой птицѣ пару цыплятъ. Для нея, я думаю, цыплята будутъ пріятнѣе камней и палокъ...

Въ другой разъ, когда маленькій Джонстонъ ловко ушибъ ногу ястреба, Чарли Мэнъ поднялся и почему-то заявилъ дѣтямъ:

— Я полагаю, — съ него довольно на сегодня... Вы могли-бы уже идти домой, ребята...

— Когда вы убьете дьявола, Мэнъ? — спрашивали его дѣти.

— Чтобы убить, не нужно много времени... — отвѣтилъ онъ.

Все это было скучно и охлаждало враждебный пылъ дѣтей, ненавидѣвшихъ вредную птицу со всею силой и искренностью чистыхъ сердецъ. И было странно, что съ той поры какъ Мэнъ привязалъ ястреба, онъ самъ почти пересталъ выходить изъ дому.

Порою дѣти, раздраженные птицей, бросались на нее; тогда она быстро опрокидывалась на спину, вытягивала когти, открывала клювъ и такъ ждала борьбы — вся взъерошенная и дрожащая, точно живой комъ дикой злости.

Въ такой моментъ возбужденія Чарли Мэнъ всг-

валъ, вытягивался и, казалось, готовился къ чему-то, что сразу отвлекало вниманіе дѣтей отъ ястреба. Они смотрѣли на Чарли Мэна, онъ на нихъ.

Имъ становилось холодно и жутко, подъ взглядомъ сѣрыхъ глазъ...

И тогда они уходили прочь отъ непріятной сѣрой птицы и отъ чудака...

Однажды, послѣ такой сцены, они ушли, а Чарли Мэнъ остался на крыльцѣ. Положивъ, какъ всегда, свои скулы на ладони, онъ пристально смотрѣлъ на птицу, утомленную прыжками; она прижалась вплотъ къ стволу дерева, около котораго запуталась ея веревка, и голова ея опустилась къ землѣ, точно на ней невидимо лежало бремя долгой жизни или многихъ страданій.

Чарли Мэнъ смотрѣлъ на нее, пока стемнѣло, потомъ онъ всталъ и медленно подошелъ къ дереву. Птица вздрогнула, насторожилась, ея перья злобно встали...

— Это... не то, дружище! — пробормоталъ Чарли Мэнъ, отрицательно кивая головой.

И онъ пошелъ на птицу такъ, чтобы она, отступая передъ нимъ, распутала веревку. Сначала ястребъ противился, взмахивая крыльями, но когда онъ понялъ, что каждый новый кругъ около дерева, удлиняя веревку, отдаляетъ его отъ человѣка, онъ запрыгалъ по землѣ быстрее, еще быстрее... И вдругъ, взмахнувъ крыльями, поднялся, полетѣлъ, крикнулъ...

Веревка дернула его назадъ, онъ почти упалъ снова на землю, косо махая крыльями. И когда онъ сѣлъ на травѣ, его желтый, круглый глазъ уставился въ лицо Мэна, стоявшаго въ двухъ шагахъ.

Чарли Мэнъ осмотрѣлъ птицу, круто повернулся и не спѣша ушелъ въ домъ.

Онъ вышелъ оттуда сейчасъ-же и вынесъ ружье. Такъ-же не спѣша, онъ подошелъ къ ястребу, приложилъ ружье къ плечу...

Туго натянувъ веревку, птица сидѣла неподвижно, и круглый глазъ ея блестѣлъ во тьмѣ, глядя на Чарли Мэна, въ его каменное, какъ всегда, лицо. Голова ястреба была немного скошена направо. Мэнъ вдругъ усмѣхнулся, опустилъ ружье и сказалъ:

— Это — глупость, дружище... Не нужно это, я знаю...

Онъ качнулъ головой, и птица тоже какъ будто пошевелилась...

Мэнъ опустилъ ружье на землю и вынулъ изъ кармана ножъ, потомъ осторожно взялъ веревку и потянулъ ее къ себѣ. Ястребъ вздрогнулъ, взмахнулъ крыльями, готовый опрокинуться на землю и защищаться...

— Не дури...—тихо сказалъ Чарли Мэнъ.—Довольно глупостей... довольно для обоихъ насъ...

Онъ все подвигалъ птицу ближе къ себѣ, осторожно потягивая веревку; ястребъ, не спуская съ него взгляда, уступалъ силѣ и вытягивалъ клювъ, медленно открывая его, готовый вырвать сѣрый глазъ человѣка.

Но Чарли Мэнъ короткимъ, быстрымъ ударомъ перерѣзалъ веревку у самой ноги птицы и тотчасъ отскочилъ.—Испуганная его движеніемъ, птица взмыла въ воздухъ... Радостно, громко крикнула и снова, какъ бы не вѣря свободѣ, опустилась на землю...

Чарли Мэнъ, не глядя на нее, поднялъ ружье и пошелъ въ домъ...

Онъ слышалъ, какъ сзади него грузно хлопнули въ воздухъ крылья—разъ, два и три... Потомъ, во тьмѣ, раздался мягкій шумъ полета большой, тяжелой птицы...

Человѣкъ наклонилъ голову и не оглядываясь скрылся въ домъ...

...На утро снова явились дѣти, но птицы не было, а Чарли Мэнъ, одѣтый на охоту, усердно смазывалъ ружье.

— А гдѣ-же одноглазый дьяволъ?—вскричали дѣти.

Это не относилось къ Чарли Мэну, и онъ молчалъ.

— Гдѣ ваша птица, мистеръ Мэнь?—спросили дѣти, окружая охотника.

Онъ поднялъ свое красное лицо въ небо и не спѣша отвѣтилъ:

— Улетѣла птица... какъ это было необходимо для нея.

— Вы отпустили ее?—изумленно и разочарованно закричали дѣти.—Чтобы она опять таскала куръ? Теперь, когда у всѣхъ—цыплята?.. Ого-го, мистеръ Мэнь!

— Я ей сказалъ,—странно двигая губами, заговорилъ Чарли Мэнь,—я сказалъ ей, чтобы она не встрѣчалась со мной еще разъ... Но о томъ, какъ надо вести себя по отношенію къ домашней птицѣ... я, кажется забылъ сказать ей?.. Да, я позабылъ...

...Съ той поры знаменитаго охотника Чарли Мэна, весь округъ называетъ, за глаза, не иначе, какъ—старымъ осломъ...

СЕМЕНЪ ЮШКЕВИЧЪ.

ВЪ ГОРОДЪ.

ПЬЕСА ВЪ ЧЕТЫРЕХЪ ДѢЙСТВІЯХЪ.

Семенъ Юшкевичъ. Въ городѣ.

Право собственности внѣ Россіи закрѣплено за авторомъ во всѣхъ странахъ, гдѣ это допускается существующими законами.

Гл. переводчиковъ просятъ обращаться за разрѣшеніемъ на переводъ и за справками къ представителю автора, Ив. П. Ладыжникову, по слѣдующему адресу:

*Berlin W, 15, Uhlandstrasse, 145;
„Bühnen-und-Buch-Verlag russischer Autoren
J. Ladyschnikow“.*

С. Юшкевичъ. Въ городъ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

ГЛАНКЪ, 50 лѣтъ.

ДИНА, его жена, 38 лѣтъ.

СОНЯ, 21 годъ. } Ихъ дѣти.
ЭВА, 18 лѣтъ. }

ДѢДЪ, отецъ Гланка, глуховатъ.

ВОЙМЪ, 25 лѣтъ. Учитель изъ самоучекъ.

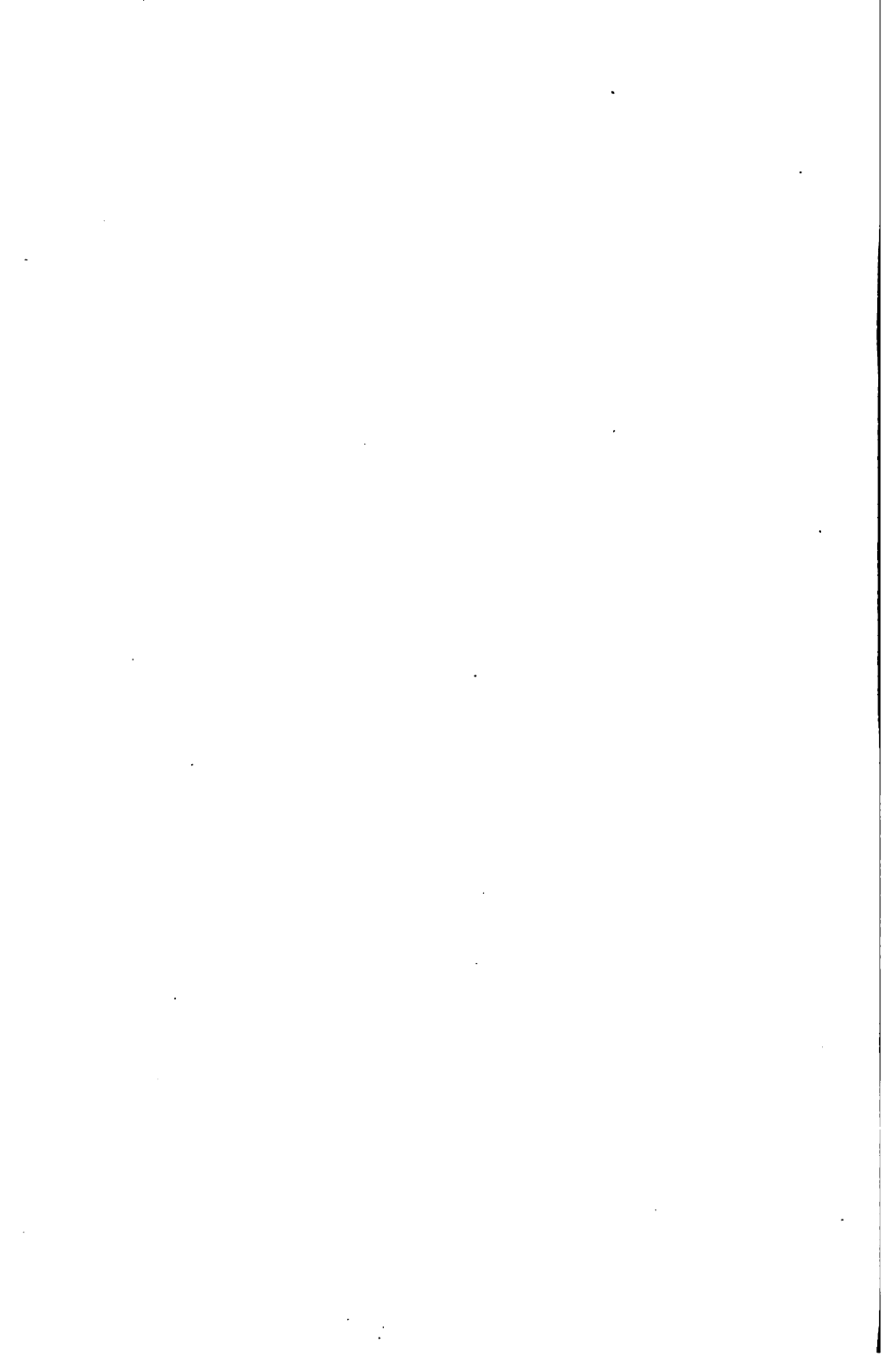
АРНЪ, 25 лѣтъ.

БЕРЪ, 45 лѣтъ.

ЭЛЬКА, 18 лѣтъ.

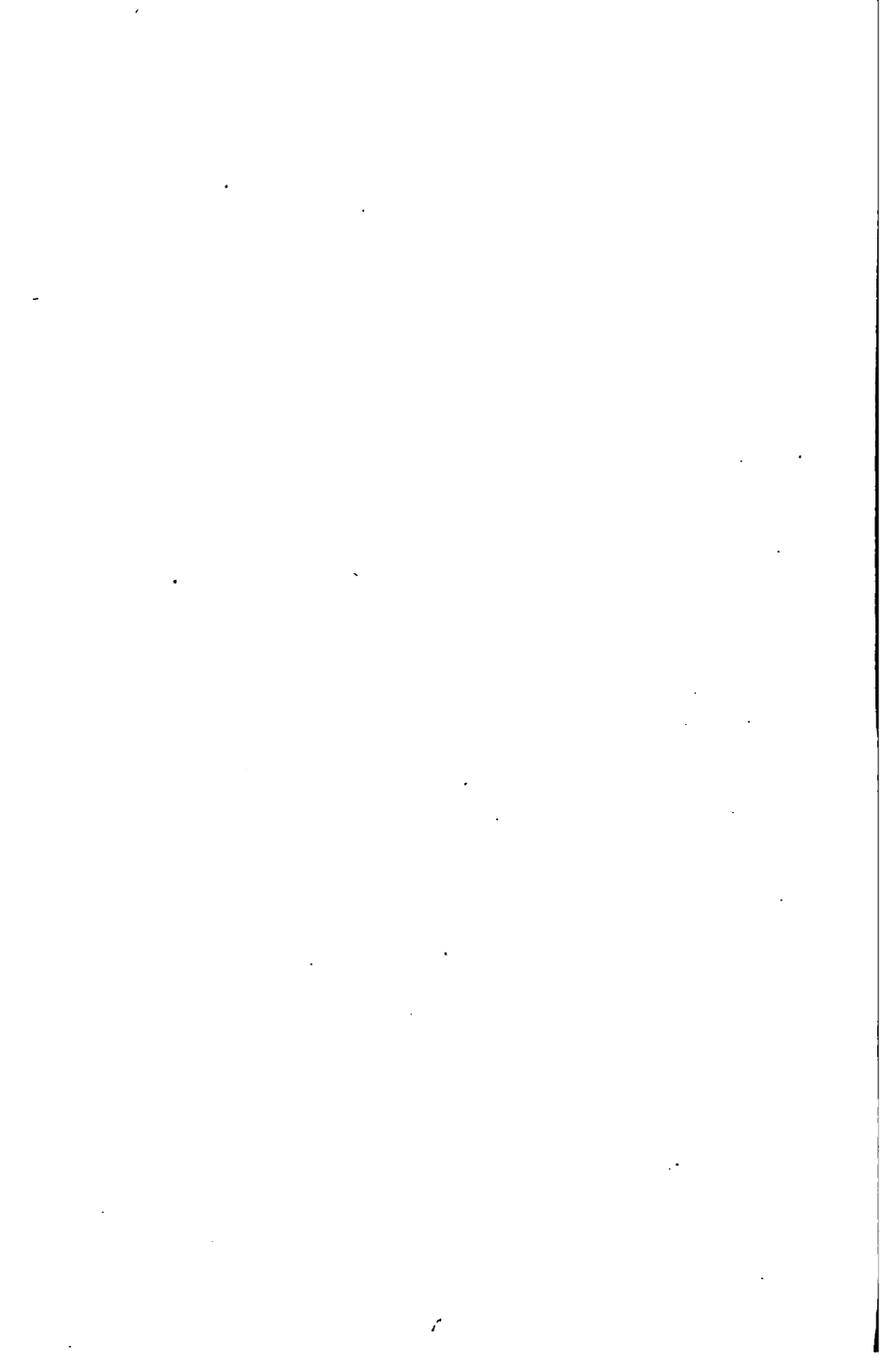
МАШКИ, старуха.

Дѣйствіе происходитъ въ большомъ городѣ



С. Юшкевичъ. Въ городъ.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.



Просторный стеклянный корридоръ, замѣняющій столовую. Справа дверь въ комнату Войма. Слѣва двѣ двери: одна ведетъ во дворъ, другая въ столовую. Соня, одѣтая къ выходу, сидитъ передъ зеркаломъ и внимательно оглядываетъ себя. Недовольно вздыхаетъ. Въ комнатѣ уютно. Шкафчикъ для посуды, столъ, стулья, кушетка. Въ правой половинѣ корридора спущены зеленныя шторы, такъ что со двора Сони не видно. Слѣва двустворчатое окно открыто, и въ него виденъ сосѣднй флигель напротивъ и нѣсколько деревьевъ во дворѣ. Ранняя весна. Теплый вечеръ. На столѣ горитъ лампа. Дина стоитъ у открытой двери, ведущей во дворъ, и съ кѣмъ-то разговариваетъ.

ДИНА.

Просила я тебя, Элька, чтобы ты не стояла у оконъ, а ты все свое дѣлаешь. Какая ты... Если тебѣ что-нибудь нужно, можешь зайти. Зачѣмъ подсматривать? Что? Тебѣ Соня нужна? Зачѣмъ?

ЭЛКА

(со двора, робко).

Я хотѣла, Дина,—только не сердитесь на меня,—и зачѣмъ вамъ сердиться,—я хотѣла, чтобы Соня зашла ко мнѣ на... одну минутку. Только на одну, вѣдь это не много, правда?

СОНЯ (гордо).

Я — къ ней? Ни за что!

ДИНА (смягчаясь).

Вотъ Соня не хочетъ. И отчего тебѣ не зайти къ намъ? Красота твоя останется при тебѣ. Да, да, останется! А если хочешь, можно и хорошій совѣтъ подать.

ЭЛЬКА.

Ну, хорошо, зайду.

СОНЯ (тихо).

Лучше бы ты не звала ея... лучше!

(Входитъ Элька. На ней свѣтлое платье. Носить косу. Вся въ ленточкахъ. Очень красива)

ЭЛЬКА.

Вотъ и я! Добрый вечеръ, Дина! Добрый вечеръ, Соня, хорошая Соня! (Кланяется обѣмъ) Какой красивый вечеръ сегодня! (Молчаніе. Элька смущается. Засмѣялась гармонично, длительно) Какой красивый вечеръ!..

ДИНА.

Чему ты засмѣялась? Пусть красивый!

ЭЛЬКА (съ мольбой).

Вы не сердитесь на меня... Я смѣюсь, а кто знаетъ, почему я смѣюсь? Можетъ быть, заплакала бы... Что-то само смѣется, а душа не хочетъ. Вотъ стою и думаю: хорошо бы убѣжать отсюда, гордо убѣжать, а не бѣгу... Не сердитесь же на меня, умоляю васъ...

(Соня отвернулась и не смотритъ на нее)

ДИНА

(пожимаетъ плечами).

Во дворѣ говорятъ: чудная Элька! Я никому не вѣрю.

ЭЛЬКА (грустно).

Да, говорятъ!.. Чудная Элька! А, можетъ быть, это правда! А, можетъ быть, Дина, никого въ мірѣ нѣтъ,— я кружусь одна и страдаю, такъ страдаю!..

ДИНА

Почему?

ЭЛЬКА.

Кто знаетъ? Чудная Элька!.. Вотъ когда мы жили въ большой улицѣ, пришли люди и убили моего отца, а слѣпую бабушку не тронули. И теперь я должна жить со слѣпой бабушкой. Вы знаете эту исторію? Нѣтъ? Ахъ, какая это грустная, печальная исторія!

ДИНА.

А, можетъ быть, ты неправду рассказываешь, или тебѣ это показалось?

ЭЛЬКА (задумчиво).

Кто знаетъ, что человѣку можетъ показаться? И развѣ не все равно, Дина, показалось ли, или было?

(Ходить по комнатамъ и робко поглядываетъ на Соню)

ДИНА.

Что же ты все ходишь? Присядь. Ты хотѣла Соню видѣть... Вотъ Соня.

ЭЛЬКА

(оживленно и радостно).

Да, да! (Голосъ ея становится нѣжнымъ-нѣжнымъ) Вотъ, Соня, я пришла, чтобы сказать тебѣ: добрый вечеръ! Добрый вечеръ, хорошая, милая Соня!

соня (гордо).

Я уже отвѣтила тебѣ. И зачѣмъ ты пришла?

элька.

Ты ласково не хочешь говорить со мной! Смотри, какъ я гнусь отъ ласки. Я дѣлаюсь больше, я дѣлаюсь меньше...

дина (вдругъ).

Ты такъ красива, Элька. Красота твоя даже поражаетъ.

элька

(быстро обернулась).

Да? А вотъ другимъ не нравится. Одному не нравится. (къ Сонѣ) Я пришла, хорошая Соня, осторожно напомнить тебѣ... Вотъ, Соня, мы были подругами... не долго.

соня.

Оставь меня.

дина (нетерпѣливо).

Договаривай же и уходи, если Сонѣ непріятно...

элька.

Вотъ мы были подругами!.. (Соня опять не слушаетъ ея) и обѣ полюбили Арна. (Вдругъ, къ обѣмъ) Прошу. я васъ, Дина, и тебя, Соня, отдайте мнѣ его. Зачѣмъ оны вамъ?

соня (хмуро).

Можешь взять его себѣ, Элька. Онъ мнѣ не нуженъ.

ЭЛЬКА.

Ты сердишься, Соня, а я пугаюсь. Кто знаетъ, что въ душѣ? Какъ цвѣтокъ, увядаетъ душа! (Грустно) Какъ цвѣтокъ, увядаетъ душа...

СОНЯ.

Я спрашиваю себя: почему ты меня мучишь? Гдѣ ни встрѣтишь, когда ни увидишь, все просишь, все просишь... Развѣ онъ мнѣ нуженъ? Мнѣ? (Съ ужасомъ) Мнѣ? Я гоню его отъ себя. Теперь сижу и дрожу: сейчасъ онъ придетъ и тоже начнетъ умолять. Мать, отвернись, сейчасъ отвернись: не могу я видѣть твоего лица.

ДИНА.

Не говори такихъ словъ, Соня, не говори!..

ЭЛЬКА.

Милая Соня, дорогая Соня! Скажи ему: ступай къ Элькѣ! Ты скажи ему: есть дѣвушка, которая любитъ солнце! Есть дѣвушка, которая будетъ молиться солнцу! Соня, я вижу его каждый день, но не смѣю подойти къ нему. Какъ тѣнь, хожу за нимъ, и такъ въ душѣ прекрасно, такъ въ душѣ печально...

СОНЯ (гнѣвно).

Зачѣмъ рассказывать мнѣ объ этомъ? Молчи, Элька!

ДИНА.

Ты бы ушла, Элька. Посмотри, что ты сдѣлала. И на меня она разсердилась! Иди, Элька! Намъ надо жить...

ЭЛЬКА (испуганно).

Вотъ и вы кричите.

СОНЯ (мрачно).

Уйди, Элька, уйди...

ЭЛКА (покорно).

И вотъ меня уже нѣтъ. Гдѣ я? Вотъ меня уже нѣтъ. Улетѣла я! А что въ душѣ, а что въ сердцѣ? Улетѣла я!..

(Засмѣялась длинно, гармонично. Тихо выходитъ. Дина и Соня не смотрятъ на нее)

ДИНА.

Ушла чудная!..

СОНЯ.

Она не чудная... Она прекрасная, мать! Я ей завидую.

(Дина машетъ рукой, подходитъ къ окну и выглядываетъ во дворъ. Молчаніе)

СОНЯ

(смотрится въ зеркало; монотонно).

Глаза мои уже стали подлыми...

ДИНА (нехотя).

Опять!

СОНЯ.

Щеки мои уже стали подлыми. Каждый день отнимаетъ у меня что-нибудь. Я это вижу и дрожу...

ДИНА.

Онъ отнимаетъ у всѣхъ насъ.

соня.

Но два мѣсяца тому назадъ было иначе. Мать, какъ ты можешь смотрѣть на меня, какъ ты можешь сидѣть за столомъ со мной? Со мной! Если бы ты была моей дочерью, я выгнала бы тебя изъ дому. Ты видѣла меня тамъ? Ты чувствуешь, какъ я дрожу, когда сижу тамъ?.. Еще я дрожу! Но вѣдь перестану, перестану...

дина.

Мнѣ скучно тебя слушать, Соня.

соня.

Молчи же, мать, молчи.

ДИНА (возмущенно).

Почему я должна молчать? Или есть въ домѣ другой, кто позаботится о насъ? Отецъ ходитъ годъ безъ службы; все падаетъ, все рушится кругомъ. Молчи ты! Камни насъ давятъ, скалы насъ давятъ... Молчи ты! Въ темнотѣ мы сидѣли по вечерамъ. Ты пошла, и стало свѣтло,—забота улетѣла изъ дому...

соня.

А моя душа?

ДИНА.

Какое мнѣ дѣло до души? Души нѣтъ... Намъ нужно жить

соня.

А моя любовь? Я люблю Арна, мать, я умираю отъ любви къ нему! Пропало!.. По вечерамъ мы сидѣли вдвоемъ и мечтали. Пропало!

ДИНА.

Это меня не трогаетъ.

СОНЯ (въ гнѣвѣ).

Что же тебя тронетъ? Ты камень!

ДИНА.

Намъ нужно жить, Соня. Пусть намъ не мѣшаютъ жить. Я стою тутъ и смотрю кругомъ... Я смотрю! Все для жизни! Ни одного отказа! Люди крадутъ, лгутъ, люди убиваютъ, грабятъ, люди продаются... Все для жизни! Что такое любовь? Ничего! Что слезы? Ничего!

СОНЯ.

Весь этотъ годъ ты меня такъ мучила. Все ты разрушала, разрушала... А кто-то, мать, смотритъ въ душу, съ укоромъ смотритъ, качаетъ головой и говоритъ: не такъ, не такъ! Кто-то, мать!

ДИНА.

Мнѣ все равно!

СОНЯ.

Все равно? Не человѣкъ ты!

ДИНА.

Кто человѣкъ? И что такое человѣкъ?

СОНЯ.

Все время я съ тобой боролась... Покорила ты меня. Я иду по улицѣ и чувствую, что люблю. Душа тянетъ къ Арну, и стыдно мнѣ... Я слышу его добрый голосъ. Я сижу тамъ... и дрожу... дрожу...

ДИНА.

Меня это не трогаетъ. (Хмуро) Оставайся дома, если не хочешь...

СОНЯ.

Теперь ты это говоришь. А почему ты раньше не сказала: умремъ, Соня, но останемся честными.

ДИНА.

Умремъ! (Разсмѣялась) Пусть умираютъ другіе. Мы хотимъ жить. Я хочу жить! Я хочу дышать, я хочу видѣть... Для жизни нѣтъ большой жертвы! Все для жизни! Посмотри, что кругомъ происходитъ. Жизнь приказываетъ, люди слушаютъ. Какъ жаль, что я раньше этого не знала. Вышла замужъ за ничтожество Гланка. Рожала дѣтей! Стояла подлѣ вѣсовъ и смотрѣла, чтобы ни одна чашка не перетянула...

СОНЯ.

Если бы отецъ это зналъ...

ДИНА.

Кто ему скажетъ? А если узнаетъ, я поговорю съ нимъ, я... Слова мои станутъ подобны камнямъ... Я высыплю ихъ ему на голову, я брошу ихъ ему подъ ноги... Ничтожество Гланкъ будетъ молчать. Одѣвайся, Соня, и иди. Тамъ тебя ждутъ. О чемъ жалѣешь ты? Кого боишься ты, дѣвушка? Вотъ нищета, грязь, несчастья! Ты вышла, подняла голову и крикнула: подходите всѣ вы, старые, молодые, пожилые и дѣти. Я дѣвушка! Я хочу шелка! Я дѣвушка! Я хочу золота! Если бы я была молода! Дѣвушка! Ты царишь надъ всѣми!..

СОНЯ (съ грустью).

Минутная царица!

ДИНА.

Но—царица! Скорѣе одѣвайся и иди! Тебя ждутъ. Забуди Арна. Растолкай всѣхъ и иди. Прогони трусливыхъ со своей дороги и иди. Идетъ дѣвушка, которая никого не боится. Всѣ склонятся передъ тобой. Идетъ дѣвушка, которая хочетъ жить и все возьметъ отъ жизни.

СОНЯ (упоенно).

Это мнѣ нравится. Вотъ такъ ты вскружила мнѣ голову. Вотъ такъ съ закрытыми глазами я подошла къ безднѣ. Я сейчасъ пойду, мать. Я буду улыбаться, и все-таки въ душѣ моей смерть. Мнѣ жалко своей молодости, мнѣ жалко своихъ глазъ, своихъ щекъ. Мои губы дрожать, когда ихъ цѣлуютъ...

ДИНА.

Зачѣмъ меня мучить, Соня? На насъ навалены горы, и мы, маленькія, слабыя, должны ихъ тащить. Ну такъ потащимъ, Соня. Не испугаемся. Развѣ мы одни въ мірѣ? Всѣ тащутъ. Придетъ отецъ и скажетъ, какъ весь годъ говорилъ: ничего не заработалъ и службы нѣтъ! Мы напоимъ его чаемъ, и онъ будетъ сладокъ, онъ будетъ священнымъ, этотъ чай: дочь заработала для отца, и отецъ не знаетъ. Придетъ Эва... Невинно выпьетъ Эва чай. А мы съ тобой ночью, смотря во тьму, кому-то погрозимъ. Отдадимъ лучшее, но будемъ жить, будемъ жить...

•
СОНЯ.

Ты говоришь страшно! Ты опьяняешь меня. Я, какъ игрушка, въ твоихъ рукахъ... (Со вздохомъ) Пойду!..

(Встаетъ и оглядывается. Въ сосѣдней комнатѣ Боймъ настраиваетъ скрипку)

ДИНА.

Боймъ собирается играть... Вотъ кого я боюсь. И за-
чѣмъ я его впустила? Развѣ намъ нужно, чтобы Эва
влюбилась въ него?

СОНЯ

(машетъ рукой).

Эва, Эва!

(Входитъ Эва, рыжеволосая дѣвушка. Нѣжный
цвѣтъ лица. Стройная, тонкая. Тяжелая коса.
Снимаетъ шляпу, кофточку. Видимо, устала отъ
быстрой ходьбы. Садится на первый попавшійся
стулъ)

ДИНА (равнодушно).

Ну, что?

ЭВА

Опоздала! Мѣсто дали другой.

ДИНА

Я на Бойма не рассчитывала. Я и раньше не вѣ-
рила.

ЭВА (недовольно).

Боймъ просилъ, и ему обѣщали это мѣсто для меня.
Но Боймъ не виноватъ, если его обманули.

ДИНА.

Никуда Боймъ не годится.

ЭВА.

Что же мнѣ дѣлать? (Повернулась къ Сонѣ. Удивленно)
Ты уходишь, Соня?

соня.

Да, ухожу.

эва.

Опять! Опять, Соня! Каждый вечеръ ты исчезаешь.

соня.

И завтра пойду, и послѣзавтра, и черезъ годъ. Никому нѣтъ дѣла

эва.

Я не говорю, что это мое дѣло.

соня.

Что же ты говоришь?

эва.

Я уже молчу... Мать, я тебѣ скажу!..

соня.

И молчи. Никогда не спрашивай... Вотъ напудрилась. Никому нѣтъ дѣла!

дина.

Перестань, Соня.

эва.

Не знаю, почему ты разсердилась. Богъ съ тобой! Вотъ, мать, я шла по улицѣ... Что слышала и что мнѣ говорили! Столько мужчинъ на улицахъ...

дина.

Я думала, ты скажешь что-нибудь. Мужчины! Развѣ они звѣри?

СОНЯ (угрюмо).

Они звѣри, мать. Они звѣри!

ЭВА (къ Сонѣ).

Одинъ, Соня, меня взялъ за руку. Такой высокій... красивый, кажется. Я дрожала. Не ходи, Соня, по вечерамъ, умоляю тебя.

ДИНА (смѣется).

Ну, и взялъ твою руку, и говорилъ ласково... Развѣ ты не красива, развѣ на головѣ твоей волосы, а не золотыя нити?..

СОНЯ (сурово).

Что ты дѣлаешь, мать? (Киваетъ головой) Ну, можетъ быть, такъ и нужно. Можетъ быть, такая наша судьба. Ахъ, Эва, Эва! (Быстро уходитъ)

ЭВА (испуганно).

Почему она это сказала, мать? Что это значить?

ДИНА.

Спроси ее. Такъ она любить... Бросить слово и убѣжить. (Поднимаетъ шторы) Ушла Соня, и какъ будто свѣтлѣе стало.

ЭВА.

Я не вижу

ДИНА.

Свѣтлѣе. Я говорю, что свѣтлѣе. (Подходить къ ней. Радостно) Эва, гдѣ-то пекутъ хлѣбъ! Для кого? Для насъ! Гдѣ-то ткутъ полотно! Для кого? Для насъ!.. Соня ушла, и если къ ней подойдетъ мужчина и скажетъ...

ЭВА

(персбивая, съ мольбой).

Нѣтъ, нѣтъ, не говори, мать! Если бы ты знала, что дѣлается на улицѣ, привязала бы насъ къ себѣ и съ глазъ не спускала бы...

ДИНА.

Я уже знаю, что сдѣлала бы. (Уходитъ въ комнату слѣва и выносить самоваръ. Ставить его на столъ) И сказала бы, Эва, такъ: слава Тому, кто создалъ мужчину и женщину и сдѣлалъ такъ, что мужчина любить женщину.

ЭВА.

Мнѣ страшно тебя слушать.

ДИНА.

Надо привыкнуть. Кто знаетъ, что ждетъ человѣка черезъ минуту, завтра? (Достала изъ шкафчика чашки и разставила ихъ на столѣ)

ЭВА.

Всегда ты говоришь такъ, что я не понимаю: мать ли ты, или держишь ножъ въ рукахъ?

ДИНА.

А ты посмотри хорошенько.

ЭВА.

Когда я разговариваю съ отцомъ или съ Боймомъ, или съ дѣдомъ,—мнѣ легко. Я говорю громко и не боюсь. Я смѣюсь! А съ тобой голосъ мой становится тихимъ и... страшно.

ДИНА (гнѣвно).

Ну такъ покажите мнѣ ваше счастье! Покажите свое

богатство, своего отца, который можетъ изъ камня дѣлать золото!..

ЭВА.

Довольно, мать. Вотъ я уже молчу...

ДИНА (сурово).

Такъ пей чай. Это мать его нашла. Никто,—не отецъ, не вы... мать! И сахаръ я нашла...

(Обѣ садятся за столъ. Молча пьютъ чай. Мимо открытаго окна проходить Арнъ и заглядываетъ въ комнату)

ДИНА.

Арнъ! Онъ идетъ сюда. Не можетъ этотъ человѣкъ умереть.

(Съ досадою ставитъ чашку на столъ. Входитъ Арвъ)

АРНЪ

(подаетъ руку Динѣ).

Добрый вечеръ, Дина. (Снимаетъ шляпу) Здравствуйте, Эва.

ДИНА (хмуро).

Добрый вечеръ. Что скажете, Арнъ?

ЭВА.

Здравствуйте, Арнъ. Хотите чаю?

АРНЪ (добродушно).

Вотъ я въ окно посмотрѣлъ и Сони не увидѣлъ.

ЭВА.

Да, Соня ушла. Сядьте, Арпъ.

ДИНА

(гѣмъ же тономъ).

Что скажете, Арнъ?

АРНЪ.

Такъ, ничего! Что я скажу? Да пичего! (Садится)
Ушла Соня? И какія у нея дѣла могутъ быть ночью?
Не понимаю!

ДИНА.

Это ея дѣло!

АРНЪ.

А я беспокоюсь, честное слово. Такой у меня трусливый характеръ, честное слово! Беспокоюсь!..

ЭВА.

Возьмите вашу чашку, Арнъ. (Къ матери) Я позову Бойма, мать... хорошо?

ДИНА.

Не надо. Когда захочетъ, самъ придетъ.

ЭВА.

Онъ не придетъ. Онъ скромный и никогда самъ не попросить. Скажу и дѣду. Вотъ вижу, какъ они сидятъ и думаютъ: скоро насъ позовутъ чай пить.

ДИНА (хмуро).

Не падо.

(Эва встаетъ и ходитъ по комнатѣ. Останавливается у дверей Бойма. Хочетъ зайти къ нему и не рѣшается. Оглядывается на мать и опять ходитъ. Прислушивается къ разговору)

АРНЪ

(пьетъ чай).

Хорошо тутъ у васъ, Дина, честное слово. Скромно, тихо, чисто! Душа отдыхаетъ. Приду изъ конторы домой,—не весело. Не отдохнешь у насъ, честное слово. Отецъ съ матерью ругаются, сестра всегда о чемъ-то кричить, честное слово! Непокойно у насъ. А тутъ скромно, хорошо.

ДИНА.

Это стоитъ крови...

ЭВА.

У васъ, Арнъ? А гдѣ лучше? Вездѣ кричатъ! Боймъ говорить, что вездѣ кричатъ.

ДИНА.

Боймъ говорить! Много понимаетъ Боймъ!

АРНЪ.

Я, какъ собака, привязался къ вамъ. Честное слово! Сидишь въ конторѣ, пишешь, отвѣчаешь, и все думаешь: когда же вечеръ? Пойду я къ Сонѣ и хорошихъ, честныхъ людей увижу. Чистыхъ людей увижу. Знаете, Дина, васъ тутъ всѣмъ въ примѣръ ставятъ. Честное слово! У кого хорошо, какъ у Гланка? Тихіе, гордые люди... Дѣвушки—радость! А я, Дина, смѣюсь про себя. Одна изъ дѣвушекъ вѣдь моя.

ДИНА.

Не понимаю васъ, Арнъ. Одна ваша? Что значить—ваша?

АРНЪ.

О бѣ этомъ вы не спрашивайте, Дина. Это уже наше дѣло, честное слово.

ДИНА.

Даже слушать не хочу.

АРНЪ.

Почему? Честное слово, это нехорошо. Я вѣдь васъ уважаю, Дина. Я васъ очень почитаю. Вы мать Сони, по это вы нехорошо говорите... Я люблю Соню...

ДИНА

(прерываетъ его).

И что будетъ изъ этого? (къ Эвѣ) Зачѣмъ ты возлѣ его дверей вертишься? Что тебѣ тамъ нужно? Сядь здѣсь.

ЭВА

(быстро отходить отъ дверей).

Ничего! Я такъ.

ДИНА.

И незачѣмъ тебѣ тамъ стоять. Подумаешь, кто тамъ! Боймъ! Человѣкъ Боймъ! Сядь возлѣ меня. (къ Арну) Что выйдетъ изъ этого?

АРНЪ (удивленно).

Какъ—что выйдетъ? Честное слово?..

ДИНА (къ Эвѣ).

О чемъ онъ говорить, Эва? (къ Арну) Какъ вы ска-зали? Полюбили Соню? Кто вы? Баронъ или графъ? Не отвѣчайте лучше.

АРНЪ.

Вотъ что вы говорите! А я не зналъ, честное слово! (Смущенно) Налейте мнѣ, Эва, еще чашку чаю.

ДИНА.

Чего вы не знали? Какъ вамъ не стыдно не знать! А о родныхъ вы подумали? Кажется, у васъ есть сестра? Ваша сестра, кажется, всегда кричить...

ЭВА.

Мать, маты!..

ДИНА.

Нѣтъ, пусть онъ послушаетъ, если я слушала. Ты не знаешь, Эва, что у нихъ дома, а я знаю...

АРНЪ.

Не говорите объ этомъ, Дина,—я все самъ хорошо знаю... Но вы подумайте, кто меня полюбилъ? Кто! Соня! Такая чистая дѣвушка, такая гордая! Честное слово, я начну просить васъ. Никогда я никого не просилъ, честное слово. Добрая Дина, дорогая Дина...

ЭВА.

Когда я слышу отъ мужчинъ такія слова...

ДИНА

(перебила ее, сурово).

Молчите, Арнъ! Что говорить жизнь? Хотите сдѣлать что-нибудь, Арнъ,—откройте книгу жизни и почи-тайте ее. Перелистайте страницы... Кто не хочетъ, Арнъ, чтобы эти уста прижимались къ этимъ устамъ, или чтобы эта дорога шла прямо, а не въ гору, или чтобы „да“ находило свое „да“, а „нѣтъ“ находило свое „нѣтъ“? Кто не хочетъ? Но есть книга жизни, Арнъ! Въ этой книгѣ сказано, что не быть Сонѣ вашей женой.

АРНЪ.

Не можетъ быть, честное слово! Соня мнѣ клялась. Она мнѣ клялась, Дина...

ЭВА.

Когда я слышу отъ мужчины такія слова,—я страдаю. Мужчина долженъ говорить иначе. Зачѣмъ, Арнъ, спрашивать мать? И рассказывать! Не застали Соню,—сидите и молчите. Пейте чай.

ДИНА.

Если я промолчала, Арнъ, то это еще ничего не значить. Когда правый молчитъ въ отвѣтъ, тогда бойтесь его. Посмотрите, какъ пріятно въ моей комнатѣ: горитъ лампа, свѣтло; самоваръ шипитъ, поетъ... Хотѣли бы вы, чтобы здѣсь стало темно? И грязно? И страшно? Уйдите отъ насъ, Арнъ, я прошу васъ, я! Дайте намъ жить. Не трогайте насъ. Мы что-то завалили на плечи и поднимаемся въ гору. Отойдите отъ насъ, не толкайте насъ...

АРНЪ.

Что вы говорите, Дина, дорогая! Развѣ я хочу вамъ зла? Честное слово, я какъ будто перестаю понимать васъ. Вѣдь я бы отдалъ жизнь за васъ, за ваши стѣны, за эту дверь... Эва, налейте мнѣ еще чашку.

ЭВА.

Пейте чай и молчите.

ДИНА.

А вотъ тутъ есть дѣвушка, Арнъ. Она тоже любитъ васъ.

АРНЪ.

Перестаньте, Дина, честное слово.

ЭВА

(съ любопытствомъ).

Кто это, мать? Хорошо, Арнъ, я расскажу Сонѣ.

ДИНА.

И отчего вамъ не жениться на ней? Она такъ любить васъ, она такъ красива.

ЭВА.

Элька! Я угадала?

ДИНА.

Элька, чудная Элька...

АРНЪ (быстро).

Зачѣмъ смѣяться надъ ней?

ДИНА.

Я не смѣюсь. Но не надо приходить къ намъ и просить, чтобы мы отдали ей Арна.

АРНЪ.

Такъ она сказала? Бѣдная Элька!

ЭВА (ревниво).

А Соня?

ДИНА (вдругъ).

Посмотри-ка, Эва, кто стоитъ у окна! Сложила руки и смотреть на насъ.

ЭВА

(быстро оборачивается; съ сожалѣніемъ).

Это Элька! Элька, Элька, что ты тамъ дѣлаешь?

АРНЪ.

Зачѣмъ ты пришла, Элька? Хорошо ли стоять у окна? Что люди скажутъ? Скажутъ: чудная Элька! И зачѣмъ?

ЭЛЬКА (улыбаясь).

Что люди еще могут сказать?

АРНЪ.

Нехорошо это, Элька, честное слово.

ЭВА (къ Элькѣ).

Войди! У насъ спокойно, пьемъ чай.

ЭЛЬКА.

Мнѣ здѣсь хорошо. Я стою и вижу васъ всѣхъ, какъ во снѣ. И такъ хорошо на душѣ, такъ хорошо. Вотъ сидитъ Арнъ. Я васъ вижу, Арнъ...

АРНЪ

(сконфуженно).

Что же ты говоришь, Элька? Развѣ такъ можно? Посмѣются надъ тобой люди. Ступай, Элька, домой.

ЭЛЬКА (наивно).

Гдѣ мой домъ? (Тихо смѣется)

ДИНА.

Видите, Арнъ! Ну скажи, Элька, кого ты любишь?

АРНЪ.

Зачѣмъ вы это дѣлаете, Дина?

ДИНА

(съ досадой).

Хочу!.. Кого ты любишь, Элька?

ЭЛЬКА (покорно).

Я люблю Арна. Я люблю васъ, Арнъ! Мое сердце

полно вами. Я стою, прикованная къ землѣ, и не могу уйти. Я люблю васъ, Арнѣ!

АРНѢ.

Зачѣмъ ты это говоришь, Элька, зачѣмъ?

ЭВА (удивленная).

Тебѣ не стыдно, Элька? (Подходить къ ней) Дѣвушкамъ нельзя говорить объ этомъ громко.

ЭЛКА

(киваетъ головой).

Почему? Развѣ я неправду сказала?

ДИНА.

Она права. (Насмѣшливо) Говори всегда правду, Элька. Это хорошая дорога.

ЭВА.

А мнѣ не нравится. Когда дѣвушка любитъ, она молчитъ объ этомъ. Когда говорятъ о любви, уходятъ въ сторону и ищутъ ночи. Такъ хороша любовь ночью... Войди, Элька!

ЭЛКА.

Арнѣ будетъ недоволенъ. Я постою здѣсь и буду смотрѣть на васъ. И будетъ, какъ во снѣ: далеко—и правда.

АРНѢ.

Ахъ, Элька, Элька! Отчего же ты не понимаешь?

ЭЛКА

(съ страданіемъ).

Развѣ я сдѣлала дурное? Если вамъ не нравится, я

уйду... я уйду, Арнѣ, останусь во дворѣ, буду ходить и даже не посмотрю сюда, клянусь вамъ. И когда вы выйдете, я не обернусь, клянусь вамъ. И когда вы скажете: подойди ко мнѣ, Элька,—я подойду, клянусь вамъ.

ДИНА

Чудная Элька! Странная дѣвушка.

ЭВА.

Она мнѣ нравится, мать. Элька, я люблю тебя. Хотѣла бы быть такой, какъ ты. Хотѣла бы одну минуту чувствовать твое сердце въ себѣ, слушать, какъ оно бьется, знать, чего оно хочетъ.

ЭЛЬКА

(меланхолично).

Всѣ говорятъ обо мнѣ: чудная Элька, чудная Элька!

АРНѢ.

Ступай, Элька, домой. Я приду и позову тебя. Вотъ уже люди собрались и сюда заглядываютъ. Ступай домой, прошу тебя.

ЭЛЬКА (тихо).

И вотъ меня уже нѣтъ... Я не обижаюсь, Арнѣ. Нѣтъ, нѣтъ... (Не слыша уходить)

ДИНА

(подходить къ окну).

Зачѣмъ окно облѣпили? Своихъ оконъ нѣтъ? Ступайте отсюда.

(Сердито закрываетъ окно и опускаетъ шторы. Входятъ дѣдъ и Боймъ. Дѣдъ старый, очень старый, толстый. Большая сѣдая борода. Нависшія брови, угасающій взглядъ. Носитъ шапочку

и длинный кафтанъ. Говорить медленно, тянеть слова. У Войма въ одной рукѣ скрипка, а въ другой книжка. Носить бороду клиномъ. Въ пенснѣ. Мягкіе глаза, пріятный голосъ. При видѣ Войма, лицо Эвы проясняется. Она улыбается. Даже голосъ у нея мѣняется отъ радости. Дина тихо разговариваетъ съ Арномъ)

ВОЙМЪ

(на-ходу, дѣду).

Да, дѣдушка, собираюсь въ Берлинъ.

ДѢДЪ.

Какъ? Не слышу!

ВОЙМЪ (смѣется).

Въ Берлинъ, въ Берлинъ!

ДѢДЪ (подумавъ).

Не знаю, не слыхалъ. А далеко это отсюда?

ВОЙМЪ.

Три дня ѣхать нужно. (Считаетъ на пальцахъ) Одинъ, два, три!

ДѢДЪ.

Сколько? (Останавливается)

ЭВА.

Три дня, дѣдушка, три дня...

ДѢДЪ (подумавъ).

Да, это долго. А какъ туда ѣдутъ? Лошадьми?

ВОЙМЪ (смѣется).

По желѣзной дорогѣ.

ЭВА.

По желѣзной дорогѣ, дѣдушка...

ДѢДЪ.

Говорять, что есть желѣзныя дороги... не знаю, не видѣлъ. Ихъ-и!

ДИНА (сухо).

Иди, дѣдъ, чай пить.

ЭВА

(подходить къ нему и беретъ его подъ руку).

Пойдемъ, дѣдушка, я тебѣ чаю дамъ.

ДѢДЪ (смѣется).

Большую чашку дашь?

ЭВА.

Самую большую.

(Усаживаетъ дѣда подальше отъ матери. Дина косится на него)

ВОЙМЪ

(обращается ко всѣмъ).

Господа, я собираюсь въ Берлинъ!

ДИНА (равнодушно).

Все собираетесь?

ВОЙМЪ.

Нѣтъ, теперь уже навѣрное. Вотъ даже книжку купилъ. (Показываетъ ее съ торжествомъ)

ДИНА.

Не нашли другого мѣста, куда деньги бросать! Вы сумасшедшій. Лучше отдали бы ихъ нищему.

БОЙМЪ

(смѣется; Эва тоже).

Послушать васъ, Дина,—и дышать не нужно. Вы не знаете, какая это книжка! Это божественная книжка! Вотъ закрою глаза, и пропадаетъ этотъ жалкій городъ, эти угрюмые, грязные дома... Перестаютъ кричать... перестаютъ кричать. (Вдыхаетъ) Я упиваюсь ею...

ЭВА.

Разскажите намъ, Боймъ! Мы всѣ васъ слушаемъ жадно.

ДѢДЪ (смѣется).

И многого уже не вижу... Ихъ-и! Исчезли разные предметы. (Пьетъ чай. Всѣ обернулись къ нему) Теперь лампы завели, а прежде горѣли сальные свѣчи. Ножницы такія были для свѣчей. И ихъ не вижу. Ихъ-и! Да! Это было... (Задумывается. Смѣется) Не могу вспомнить. Все забылъ, ничего не помню. Прежде молился каждый день, а теперь не молюсь: молитвы забыть. Ихъ-и!

ДИНА

(съ ненавистью).

Довольно, дѣдъ... Пей чай!..

ДѢДЪ.

Положу вещь и сейчасъ не помню, куда ее положилъ. (Пьетъ чай) И спать хочется, только спать. Ихъ-и!

ДИНА

(бросается къ нему).

Замолчи, дѣдъ, говорю, замолчи. Не могу я твоего голоса слышать.

ДѢДЪ (испуганно).

А? Что? Ну хорошо, хорошо! Я ничего не сказалъ...

ЭВА

(обернулась къ Войму).

Мы всѣ васъ слушаемъ жадно. Что же вы видите?

ВОЙМЪ (мечтательно).

Я вижу широкія, большія площади. Онѣ залиты огнями. Тысячи солнцъ разбросаны по всѣмъ угламъ. Кто-то засѣялъ улицы солныцами, и въ ихъ освѣщеніи ходятъ люди, прекрасные, чистые, счастливые. Никто не кричитъ...

ЭВА (какъ эхо).

Никто не кричитъ...

ВОЙМЪ (съ тоской).

Я хочу увидѣть эти прекрасные города, эти божественныя страны, этихъ счастливыхъ людей. Я хочу руками осязать асфальтъ на площадяхъ. Правда ли, правда ли! Хотите, Эва, я вамъ почитаю?

(Кладетъ скрипку на стулъ и открываетъ книжку)

ЭВА (грустно).

Жизнь идетъ, и все остается, какъ было. Живешь съ любопытствомъ и все ждешь, что принесетъ слѣдующій годъ. И ничего! Ничего, Воймъ. Ну, все равно...

ДИНА (строго).

Эва, Эва!

ВОЙМЪ (съ жаромъ).

Нѣтъ, не все равно. Дорогая Эва, такъ не можетъ продолжаться. Не можетъ. Если есть такія страны,

такіе города, то не можетъ все остаться по старому. Придутъ эти страны сюда и постучать каждому въ окно: вставайте. Не кричите, — вставайте! Посмотрите, Эва, на меня. Какъ я росъ? Я дитя навоза. Позвольте мнѣ это сказать, я выкормокъ. А вотъ я выросъ и иду куда-то. Кто меня тянетъ? Это, Эва, тѣ страны, тѣ прекрасные города. Не бойтесь и вы...

ЭВА

(тихо и увѣренно).

Когда вы здѣсь, я никого не боюсь. Я закрываю глаза и говорю: идите на меня всѣ звѣри жизни.

ДИНА (встала).

Замолчи, Эва, я велю тебѣ замолчать.

ЭВА.

Я ничего не говорю, мать.

БОЙМЪ.

Все дикое меня возмущаетъ. Развѣ вы, Дина, сторожъ ея дупи? Развѣ вы мать ея мысли? Почитайте, какъ живутъ люди въ другихъ странахъ. (Дѣлаетъ жестъ) Нѣтъ, Дина, я не Эву защищаю, я васъ защищаю. Я ваше человѣческое защищаю. Хотите, Дина, смягчиться, хотите прикоснуться жаждущими устами къ истинѣ? Хотите? Подождите! (Дѣлаетъ движеніе, какъ бы собираясь побѣжать въ свою комнату) Сейчасъ принесу вамъ Байрона...

ДИНА

(удержала его).

Ну зачѣмъ? Какая вамъ цѣна, Боймъ? Я смотрю на васъ съ жалостью. Зарабатывать вы не умѣете.

даете уроки, играете на скрипкѣ. Что вы за человѣкъ? И человѣкъ ли вы?

ВОЙМЪ (опѣшивъ).

Что такое? Зачѣмъ мнѣ зарабатывать? Я не торгашъ, Дина, я не торгашъ...

ДИНА

(сердито; пожимаетъ плечами).

Какъ съ вами разговаривать? Научите меня. (Эва смѣется) Не смѣйся, Эва! Не люблю я, когда ты смѣешься. (Къ Войму) А когда вы за комнату заплатите? Вотъ мѣсяць прошелъ, а денегъ не вижу.

ЭВА

(съ упрекомъ).

Мать, мать!

ДИНА.

Но за комнату надо заплатить, или нѣтъ? За пустую книжку деньги вѣдь могъ онъ отдать?

ВОЙМЪ.

Что вы говорите, Дина? Я заплачу. Получу на уроки деньги и отдамъ вамъ. Какая вы женщина! Что такое деньги? А вотъ эта книжка! Нѣтъ, вы послушайте, послушайте, что тутъ пишутъ. Сбросьте съ себя на минуту всѣ заботы сѣрой, жалкой жизни. Вы погрузитесь въ прекрасное...

ДИНА (хмуро).

Оставьте меня... Вы сумасшедшій.

АРНЪ (поднялся).

Любопытно, честное слово.

БОЙМЪ

(перелистываетъ книжку).

А гдѣ Соня? И она бы послушала. (Съ волненіемъ читаетъ) „Осмотръ Берлина лучше всего начать съ „Унтеръ день Линденъ“. (Повторяетъ значительно) „Унтеръ день Линденъ“! Эта улица является излюбленнымъ мѣстомъ прогулокъ берлинцевъ“. (Закрываетъ книгу) Подумайте, подумайте! Вотъ въ эту самую минуту, когда мы тутъ стоимъ, мы, простые, дурно одѣтые, въ жалкой комнаткѣ грязнаго домика,—на „Унтеръ день Линденъ“ гуляютъ счастливые берлинцы. Вся эта дивная улица теперь купается въ морѣ электрическаго свѣта. По асфальтовымъ дорогамъ пролетаютъ велосипеды и электрическія конки; лучшіе магазины плѣняютъ взоръ изящныхъ женщинъ своей роскошью... А мы, Дина, говоримъ, Богъ знаетъ, о чемъ, мы кричимъ...

ЭВА (смѣется).

Еще, еще! Читайте, Боймъ...

ДИНА.

А меня это не трогаетъ. Я рада, что въ моей комнатѣ свѣтло, что на столѣ самоваръ...

ДѢДЪ.

Въ дѣтствѣ было такъ. Когда отецъ мой садился за столъ, становилось тихо. Ихъ-и! У насъ жила его сестра, вдова, и маленькія дѣти. (Смѣется) Всѣ должны были молчать. На стѣнѣ висѣло десять кнутовъ: по кнуту на ребенка. Строго было у насъ... Строго. Ихъ-и!..

ДИНА.

Заговорила мельница.

ЭВА.

Молчи, дѣдушка.

ДѢДЪ.

Все мнѣ дѣтство снятся. Ходять мимо меня старые люди... Ихъ-и! Всѣ умерли давно, а вотъ ходять, ходять. Какъ вчера ихъ видѣлъ...

ДИНА

(подходить къ нему и поднимаетъ его).

Ну, ступай, дѣдъ. Выпилъ чай и иди.

АРНЪ

(опять встаетъ).

Какъ мнѣ скучно, честное слово. А Сони все нѣтъ. Почитайте еще-чтонибудь, Боймъ, или сыграйте. Вотъ вамъ, Боймъ, хорошо, вы образованный... Завидую образованнымъ, честное слово.

БОЙМЪ.

Да, хорошо быть образованнымъ. Я знаю прекрасно Гёте, Диккенса, Пушкина.

АРНЪ.

Да? (Зѣваетъ) Гёте? Какъ скучно! Пушкина? (Зѣваетъ и начинаетъ въ нетерпѣнн ходитъ по комнатѣ) Сыграйте что-нибудь.

БОЙМЪ.

Нѣтъ, я играть не буду.

ЭВА.

Пойдемъ, дѣдушка! Ты хочешь спать.

ДѢДЪ.

Ну хорошо, ну пойду...

ДИНЪ.

Пускай самъ идетъ.

(Эва киваетъ головой и нѣжно ведетъ дѣда. Входитъ Глапкъ съ Веромъ. Глапкъ—благообразный старичокъ съ подстриженной бородой, худощавый. Очень доброе лицо. Въ очкахъ. Носить котелокъ. Въ рукахъ тонкая палка. Беръ—высокій, толстый. Очень бѣдно одѣтъ, брюки въ заплаткахъ. вмѣсто воротника носить цвѣтной платокъ. На головѣ шляпа съ широкими полями. Широкая борода съ просѣдью)

ДИНА (громко).

Накрой на столъ, Эва, отецъ пришелъ. Съ кѣмъ это онъ?

(Всѣ съ любопытствомъ смотрятъ. Беръ улыбается)

ГЛАПКЪ

(сдвинулъ очки на лобъ).

Кого я привелъ, Диночка? А ну-ка, посмотри! (Смѣется, какъ ребенокъ) Здравствуйте всѣмъ вамъ! (Киваетъ головой и машетъ руками) Угадай-ка, кого я нашелъ? Что значитъ — нашелъ? Нашелъ — значитъ нашелъ его, и если ты, Диночка, не заплачешь, то будешь крѣпче стали. (Беръ выдвинулся впередъ, Дина внимательно его оглядываетъ) Ну—кто это? Не скажу тебѣ его имени. (Смѣется) Ни за что! Догадайся-ка, вспомни.

ДИНА

(съ нетерпѣніемъ).

Нѣтъ, не узнаю, хоть убей меня. (Беръ смѣется) Не узнаю!

БЕРЪ

Не узнаешь меня, Дина?

ГЛАНКЪ (смѣется).

Вотъ такъ штуку я выкинулъ. Ну, Дина, кто же это? (Заливается, какъ ребенокъ. Опустилъ очки) Это Беръ, Беръ! Вотъ онъ, возьми его!..

БЕРЪ.

Да, я Беръ. Дай мнѣ руку, Дина. Хоть на старости свидѣлись.

ДИНА

(всплеснула руками).

Беръ? Не можетъ быть! (Всматривается въ него) Да, это онъ. Ты посѣдѣлъ. И какъ ты одѣтъ! Беръ! Что жизнь сдѣлала изъ Бера!

БЕРЪ.

И ты, Дина, перемѣнилась. (Смотритъ на нее) Да, да всего этого не было, ни подбородка, ни морщинъ. Лицо у тебя было тоньше... и глаза! Какіе глаза у тебя были!..

ДИНА (растроганная).

Сколько мы съ тобой не видѣлись? Двадцать лѣтъ, двадцать! Ну здравствуй, здравствуй, Беръ. Ахъ, Гланкъ, и это Беръ?.. Вотъ мое зеркало!..

БЕРЪ

(садится за столъ и снимаетъ шляпу).

Ты была, Дина, самой красивой дѣвушкой во дворѣ самой стыдливой, самой скромной...

ГЛАНКЪ.

Помнишь ее, Беръ? Помнишь ея косу и какъ она ее носила? А какъ ея боялись за гордость? Что значить гордость? Ну, ничего! Теперь, Беръ, познакомлю тебя съ моими дѣвочками. Эва, подойди вотъ къ этому человѣку. Что значить—подойди? Подходятъ, подаютъ руку и конецъ!..

ЭВА (робко).

Здравствуйте. (Подаетъ ему руку)

БЕРЪ.

Какъ она похожа на тебя, Дина! Здравствуй, милая дѣвушка.

ГЛАНКЪ.

Это, Беръ, мой бриллиантъ. Двѣ короны у насъ. Это большой бриллиантъ, а вторая—наша звѣзда... (Ищетъ Сою глазами) Гдѣ же Сонечка, Дина?

АРНЪ.

Какъ мнѣ скучно, честное слово. Пойду уже. Спокойной ночи. Вотъ какъ мнѣ скучно!

(Гланкъ, не глядя, подаетъ ему руку и продолжаетъ. Арнъ уходитъ)

ГЛАНКЪ.

Сонечка, Беръ, звѣзда. Гордая, и сердце у нея—какъ алмазъ. Она моя любимица. Гдѣ она, Дина?

ДИНА (хмуро).

Соня ушла...

ГЛАНКЪ.

Такъ поздно! А вотъ это Боймъ, нашъ Боймъ. Ничего себѣ человѣкъ. Играетъ на скрипкѣ. Да, на скрипкѣ. (Недоволенъ. Снимаетъ шляпу, пальто, ставитъ палку въ уголъ)

Я тебѣ, Беръ, Соню хотѣлъ показать. Вотъ кого ты долженъ увидѣть. (Поднимаетъ голову и замѣчаетъ на стѣнѣ картину) А почему эта картина виситъ неровно? (Качаетъ головой) Эва, гдѣ мой молоточекъ? И шапочку принеси.

ЭВА.

Сейчасъ, отецъ.

(Эва уходитъ въ комнату налѣво. Гланкъ все смотритъ на небольшую картину, на стѣнѣ, между двумя дверями слѣва)

ДИНА (тихо).

Какъ же ты живъ, Беръ, все время?

БЕРЪ.

Долго рассказывать. Живъ въ сосѣднемъ городѣ. Разбогатѣлъ. Теперь богатства не имѣю... Былъ женатъ, разошелся съ женой. Два сына есть. Гдѣ-то живутъ съ матерью, или безъ матери—не знаю. Попробовалъ жизни—и хорошей, и дурной, и вотъ все на ногахъ. Хожу. Ничего, Дина! Будетъ хорошо, отлично будетъ. Ничего, Дина... не нужно беспокоиться. (Оглядывается) А у тебя тутъ пріятно!

ГЛАНКЪ (значительно).

Это все она! (Указываетъ на Дину) Не я, Беръ, она! (Входитъ Эва. Гланкъ, не глядя, беретъ у нея молоточекъ. Надѣваетъ шапочку) Безъ Дины всѣ бы пропали. Я уже годъ безъ службы хожу, а все, что нужно, есть, слава Богу. Дай-ка мнѣ стулъ, Эва.

(Становится на стулъ и начинаетъ возиться съ картиной. Эва его поддерживаетъ)

ДИНА (уклончиво).

Сядемъ за столъ. Ужинать пора. Эва, накрой на столъ.

(Объ выходятъ. Беръ встаетъ и ходитъ по комнатѣ. Оглядываетъ Войма)

ГЛАНКЪ

(сошелъ со стула; смотритъ на картину; съ торжествомъ).

Теперь хорошо! Такъ мнѣ нравится. Не присмотришь, Боймъ, то испортится и это испортится. Правду я говорю? Ну, что, Беръ? Хорошо тебѣ у насъ?

(Беръ киваетъ головой. Гланкъ, съ молоточкомъ въ рукахъ, ищетъ, нѣтъ ли еще чего-нибудь не въ порядкѣ)

БОЙМЪ

(оглядываетъ Бера).

Откуда вы сейчасъ?

БЕРЪ (охотно).

Я уже давно живу здѣсь... Года два.

БОЙМЪ (наивно).

Когда я вижу такого человѣка, какъ вы, мнѣ всегда жалко. Я думаю: онъ видѣлъ препятствія и не обходилъ ихъ.

БЕРЪ (добродушно).

Зачѣмъ жалѣть? Человѣкъ можетъ все.

БОЙМЪ

(съ сомнѣніемъ).

Что-то не вѣрится... Все?

ГЛАНКЪ (смѣется).

Ударяйтесь головами. Покажите другъ другу кулаки.

БЕРЪ.

Почему такъ тихо: все! Скажите громко, сильно: все! Я не знаю васъ, но мнѣ кажется, что жизнь вы прожили тяжело...

ВОЙМЪ (задумчиво).

Да, тяжело.

БЕРЪ.

Такъ ободритесь. Раньше всего ободритесь. Придетъ садовникъ въ садъ, перевяжетъ всѣ больныя деревья, и они выздоровѣютъ. Такъ думайте. Черезъ пять, десять лѣтъ мы увидимъ много новаго. Мы увидимъ чудеса...

(Входитъ Эва съ тарелками въ рукахъ. Поставила на столъ и слушаетъ)

ВОЙМЪ

(съ удивленіемъ).

Откуда вы знаете?

БЕРЪ (увѣренно).

Мы увидимъ чудеса. Вездѣ, гдѣ я ни работалъ, съ кѣмъ ни говорилъ, я слышалъ одно: будутъ чудеса! Пройдетъ пять, десять лѣтъ, и все станетъ другимъ. И оттого я говорю: ободритесь. Раньше всего—ободритесь. Вотъ этотъ грязный, мерзкій городъ снесутъ и бросятъ въ большой ровъ, который выкоплютъ въ полѣ. Всѣ эти улицы, всѣ эти гнѣзда слезъ, эти гнѣзда печали тоже снесутъ и бросятъ въ большой ровъ. Всюду шепчутся, всюду объ этомъ говорятъ,—тихо... но говорятъ!

ДИНА

(вноситъ ужинъ).

Сядемъ за столъ.

ВОЙМЪ.

Я не вѣрю, и почему мнѣ вѣрить?

БЕРЪ.

Надо вѣрить... Всѣ, которые крадутъ, перестанутъ

красть; всѣ, которые кричатъ, перестанутъ кричать. И всѣ, которые плачутъ, перестанутъ плакать. Пройдетъ пять, десять лѣтъ, и этого не будетъ. Люди станутъ свободны, какъ при созданіи міра. Такъ шепчутъ кругомъ, такъ говорятъ кругомъ,—тихо... но говорятъ. Въ домахъ будутъ сидѣть счастливые, спокойные люди, и разговоры будутъ не о страданіяхъ или о скорби, а о высшихъ радостяхъ. Такъ говорятъ вездѣ. И я повторяю: будетъ хорошо, ничего, отлично будетъ!..

ЭВА.

Это пріятно, какъ сказка.

ДИНА.

Это меня смягчаетъ, Беръ. Это примиряетъ меня съ жизнью. Ты говоришь, что такъ будетъ? Будетъ? (Сурово) Нѣтъ, это неправда, Беръ... это обманъ. Это тѣ проклятые, прекрасные сны, послѣ которыхъ просыпаешься еще несчастнѣе. Сядемъ ужинать. Посмотри, Беръ, какъ хорошо у насъ. Тепло, тихо, уютно. Сядемъ ужинать...

ВОЙМЪ.

Я готовъ былъ обнять васъ, Беръ. Но вотъ Дина разбудила меня. Это неправда! Это неправда! Зайдите ко мнѣ послѣ ужина. Я почитаю вамъ о заграницѣ...

ДИНА (радостно).

Завтра пойду купить Гланку новый сюртучокъ. На столѣ стоитъ водка. Хорошо у насъ, Беръ! Сядь возлѣ меня. Я дамъ тебѣ самую большую тарелку супа.

БЕРЪ (смѣясь).

Люди—всегда люди. Кушать! Какія прекрасныя существа!

ГЛАНКЪ.

Ну что, Беръ, выпьемъ съ тобой по рюмочкѣ, только по одной!

БЕРЪ.

Нѣтъ, я не пью.

БОЙМЪ.

А я выпью. (Наливаетъ себѣ водки) За ваше здоровье, Гланкъ, за всѣхъ! (Поднимается; торжественно) Пью еще за процвѣтаніе прекраснаго города Берлина, пью за изящныхъ женщинъ Берлина, пью за Берлинъ!..

(Всѣ смотрятъ на него съ изумленіемъ)

ДИНА (улыбается).

Пустой вы человѣкъ, Боймъ.

(Боймъ смѣется)

ГЛАНКЪ (къ Беру).

Видишь этотъ молоточекъ? (Вынимаетъ его изъ кармана) Это мой другъ. Хожу съ молоточкомъ и посматриваю. И посматриваю!

(Входитъ Соня. При видѣ чужого человѣка, въ недоумѣніи останавливается)

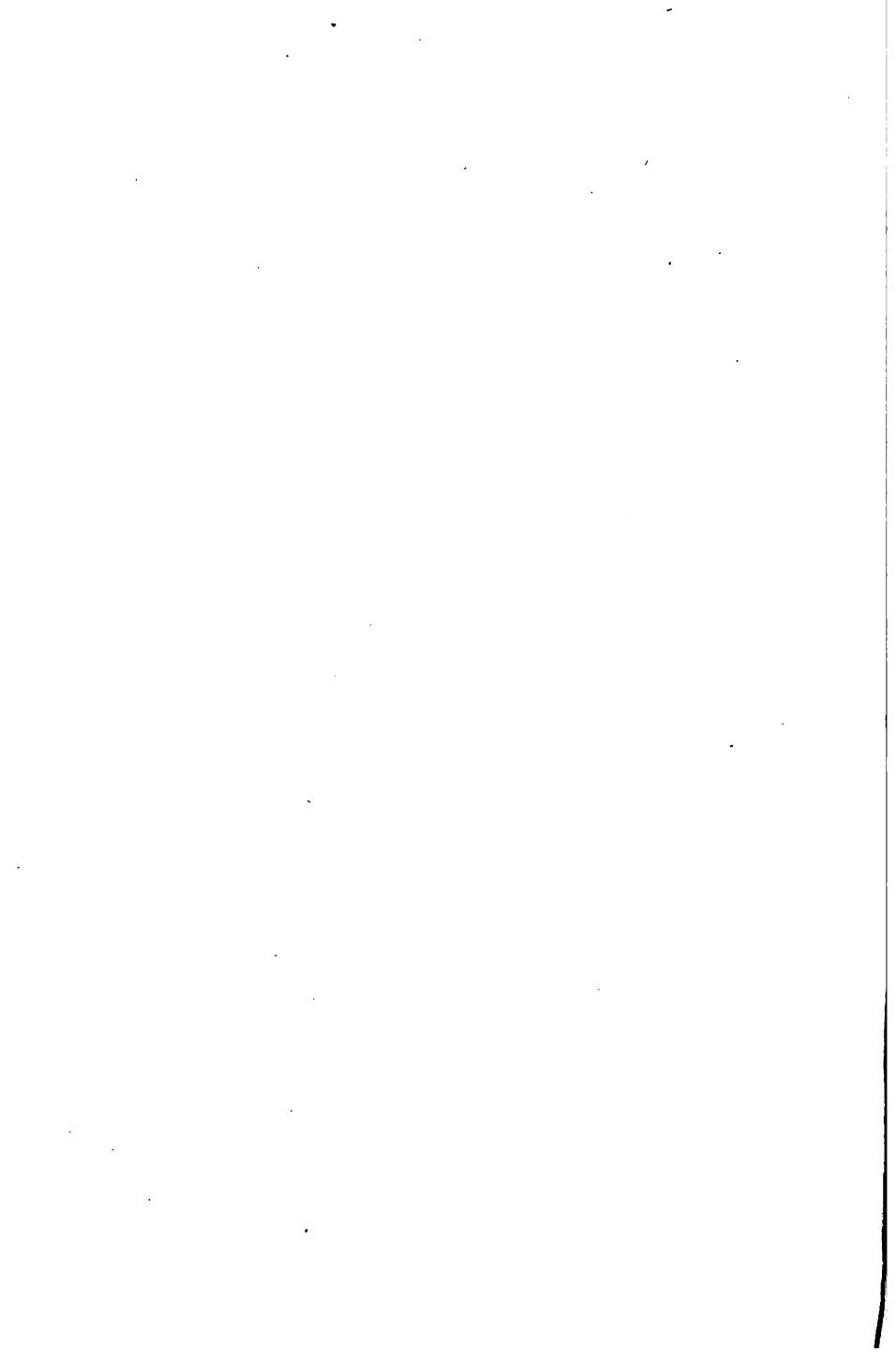
ГЛАНКЪ

(встаетъ, съ радостью).

Соня пришла, Соня пришла!..

Занавѣсъ.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.



Небольшая комната. Темные обои. Два окна на улицу. Дверь налево и дверь направо. Мещанская обстановка. Бездѣлушки, фотографическія карточки, альбомъ. Буфетъ и длинный столъ. Этажерка съ книжками. Широкая кушетка. Двѣ-три картины на стѣнахъ. Пара креселъ, остатки бывшей гостиной. Тѣсно вато. Теплый солнечный день. Гланкъ, съ молоточкомъ въ рукахъ, ходитъ по комнатѣ, внимательно осматриваетъ стѣны, поднимаетъ стулья. Постукиваетъ молоточкомъ и подмигиваетъ Беру, который сидитъ на кушеткѣ. Соня стоитъ у окна и выглядываетъ на улицу.

ГЛАНКЪ (торжествующе).

Вотъ ты не вѣришь, Беръ! Полна комната гвоздями, и никто не знаетъ. Еще одинъ! (Переворачиваетъ стулъ) И откуда они берутся, Беръ? Не досмотришь, и хозяйство пропадаетъ. (Стучитъ молоточкомъ) Дай-ка я тебя поглажу по головкѣ. Будешь портить платья, будешь?

БЕРЪ (смѣется).

Покрѣпче, Гланкъ!

СОНЯ (обернулась).

Хоть бы ты, отецъ, стучать пересталъ: голова болитъ. Весь день стучишь-стучишь...

ГЛАНКЪ (смѣясь).

Видишь, Беръ, всѣ онѣ такія. Нашелся старый дуракъ, который даромъ оберегаетъ всѣхъ, а онѣ недовольны. (Тычетъ въ воздухъ молоточкомъ) А кто на прошлой недѣлѣ вотъ на этомъ стулѣ платье оборвалъ? Ну кто, кто? Кто кричалъ?

СОНЯ.

Будто только гвозди мѣшajúть, отецъ?

БЕРЪ

(посмотрѣлъ на нее).

Ничего, Соня, все будетъ хорошо. Милая дѣвушка, не надо беспокоиться.

ГЛАНКЪ

(испуганно повернулся къ ней).

Беспокоиться? Что такое? Что случилось, Соня? Звѣзда моя!

СОНЯ.

Ахъ, отецъ... (Хочетъ броситься къ нему. Сдержалась) Нѣтъ, ничего! Все хорошо, все въ порядкѣ.

ГЛАНКЪ

(подходить къ ней и гладить ея голову).

Ничего?—И я уже доволенъ! Что мнѣ нужно? Звѣзда горитъ, брилліантъ блеститъ, и я спокоенъ. Ничего мнѣ больше не нужно.

(Опять ходитъ и ищетъ. Шаритъ руками по стѣнѣ. Входитъ Дина. Увидѣвъ Гланка съ молоточкомъ въ рукахъ, всплеснула руками)

ДИНА.

Ты еще не ушелъ, Гланкъ? Еще ты здѣсь? Съ ума ты сошелъ. Ступай въ городъ...

ГЛАНКЪ (вздрогнувъ).

Какъ ты меня испугала!.. Милая Дина, зачѣмъ кричать? Беръ, посмотри на нее. Какая женщина, какая работница, какая мать!

ДИНА

(съ отчаяніемъ).

Что же ты все съ молоточкомъ ходишь? Помѣшался ты на молоточкѣ? Другого дѣла у тебя нѣтъ, другой заботы? Или ты думаешь, что всѣ эти чаи, ужины, обѣды съ неба падаютъ? Или намъ ихъ дарить кто-нибудь? Позволила я тебѣ до обѣда дома остаться, уйди хоть теперь. Иди, ищи!

БЕРЪ.

Пусть онъ ужъ дома посидитъ. (Выглянулъ въ окно) Солнце спряталось; кажется, и дождь будетъ... Куда онъ пойдетъ теперь?..

ДИНА.

Куда? Какое мнѣ дѣло? Хочетъ ѣсть, пусть принесетъ обѣдъ. Годъ—какъ онъ не зарабатываетъ. Что же онъ усѣлся на моей шеѣ?

ГЛАНКЪ (растерянно).

Куда же я пойду, дорогая Дина? Развѣ ты не видишь, что мнѣ некуда идти, развѣ не понимаешь? Кому нуженъ старикъ, когда есть столько молодыхъ? Приду въ контору, и мнѣ стыдно... вѣдь мнѣ стыдно. Куда я лѣзу, что дѣлаю? Посмотрятъ тамъ на меня, на мою сѣдую бороду и какъ хожу... встанетъ кто-нибудь и скажетъ: куда суетесь, старичокъ? (Отвернулся) Куда лѣзете, старичокъ?

БЕРЪ.

Ему можно повѣрить, Дина! Я знаю...

ДИНА.

Никому не вѣрю, ничего я знать не хочу. Живой человѣкъ вездѣ нуженъ. Положи молоточекъ, Гланкъ!

(Онъ не двигается) Отдай молоточекъ! (Вырываетъ у него молоточекъ и бросаетъ на полъ)

ГЛАНКЪ

(стыдливо и робко).

Не знаю, Дина, почему ты сердишься?

ДИНА.

Почему сержусь? Разсказать тебѣ? Раскрыть? Переодѣнъся и ступай въ городъ, какъ всѣ мужчины. Пусть мои глаза не видятъ тебя здѣсь. Всѣ работаютъ, всѣ дѣло дѣлаютъ...

ГЛАНКЪ (умоляетъ).

Диночка, дорогая Дина, зачѣмъ кричать на меня? Не надо кричать на меня. И что такое крикъ? И что такое ты? И я, Дина, и я? Позволь мнѣ сегодня остаться дома. Хоть сегодня! Что я въ городъ буду дѣлать? Я и улицъ боюсь, и людей боюсь! Позволь мнѣ!..

СОНЯ.

Что же ты дѣлаешь, мать? Съ кѣмъ? Съ нимъ!

ДИНА.

Не мѣшай мнѣ, Соня! Пусть онъ пойдетъ. Вотъ и Эва пошла... знаю, что даромъ, но пусть... Пусть видятъ, что у насъ не сидятъ сложа руки... что люди работаютъ, что есть мужчина въ домѣ, мужскія руки. (Къ Гланку. Говорить, какъ съ ребенкомъ) Иди, Гланкъ! Ты зарабатываешь. Стань на главной улицѣ и смотри направо, налево... Жди! Придетъ кто-нибудь и спросить: какъ пройти въ ту улицу? Привяжись къ нему, не отставай.

ГЛАНКЪ (покорно).

Можетъ быть, и спросить... Почему не спросить? И что значить—спросить?

БЕРЪ

(съ сожалѣніемъ).

Какъ ты перемѣнилась, Дина! Куда твоя молчаливость дѣвалась, твой тихій голосъ? Двѣ недѣли смотрю я, какъ ты живешь,—не нравится мнѣ, обидно мнѣ. Какъ будто хорошій, честный человѣкъ обманулъ меня.

ГЛАНКЪ

(съ живостью).

Она—хорошая, Беръ. Нѣтъ, нѣтъ, она хорошая.

СОНЯ.

Беръ! Какъ славно вы говорите! Нѣжно... Душа утихаетъ, боли уходятъ... и пріятно...

ДИНА.

Безъ ножа ты меня рѣжешь, Беръ. Богъ съ тобой! Старый ты уже, а какъ былъ ребенкомъ, такимъ и остался. Ну, Гланкъ, нечего тебѣ стоять и слушать. Даже Боймъ и тотъ началъ работать: на скрипкѣ не играетъ,—работаетъ...

ГЛАНКЪ.

Работа? Да, работа. Надо работать...

ДИНА.

Иди же. Смотри. (Выходитъ)

ГЛАНКЪ (жалобно).

Выдумали работу. И зачѣмъ надо работать? Когда я молодымъ былъ—другое дѣло. А теперь? (Вздыхаетъ) И я еще хотѣлъ съ тобой въ домино сыграть. Дуракъ—хотѣлъ! Сѣли бы хорошо и сыграли бы хорошо. А ты работай! Ахъ, Дина, почему у тебя нѣтъ жалости ко мнѣ?

ВЕРЪ.

Не огорчайся, Гланкъ: будемъ вечеромъ играть... я тебѣ и десять очковъ дамъ впередъ.

ГЛАНКЪ (радостно).

Дашь? Честное слово? И отчего тебѣ не дать? Ты таки правъ. Ну если такъ, то хорошо... я уже доволенъ. Пойду.

СОНЯ.

Ребенокъ ты, отецъ. Ничего ты не знаешь! Дорогой ребенокъ.

ГЛАНКЪ (замѣшкался).

Хорошій ребенокъ! Вотъ и ребенокъ. (Смѣется) Алмазъ мой!..

ВЕРЪ

(съ улыбкой).

Опять ты заговорился! Иди, а то она придетъ и опять начнетъ кричать.

ГЛАНКЪ (торопливо).

Да, пойду,—боюсь я ея...

(Уходитъ въ комнату направо. Веръ провожаетъ его глазами)

ВЕРЪ.

Люди — всегда люди. Прекрасные и трогательные, какъ дѣти. Всѣ они такіе...

СОНЯ.

Откуда вы все это знаете, Беръ? Вы, должно быть, очень страдали?

БЕРЪ.

Страданія ничего не даютъ, Соня,—они только озлобляютъ... только. Я въ доброе вѣрю...

(Возвращается Гланкъ. Онъ въ жилеткѣ)

ГЛАНКЪ (тайнственно).

Я, Беръ, что-то придумалъ. И отчего мнѣ не придумать? Развѣ это трудно? Я одѣнусь, выйду и какъ будто пойду въ городъ. Но я не пойду... (смѣется) нѣтъ, я не пойду. Все равно вѣдь, идти или не идти. Ноги болятъ, улицъ боюсь, людей боюсь. Хочешь пойти со мной, Беръ? Сядемъ на скамеечкѣ на углу и посидимъ. А потомъ вернемся...

БЕРЪ (улыбнулся).

Ну и хорошо. Отлично ты придумалъ, Гланкъ.

ГЛАНКЪ.

Я могу придумать! (Съ торжествомъ уходитъ. Весело смѣется)
Я могу...

(Соня сосредоточенно ходитъ по комнатѣ. Беръ не спускаетъ съ нея глазъ)

БЕРЪ (ласково).

Отчего ты все такая грустная, дѣвушка моя?

СОНЯ.

Когда невесело, Беръ, грустна; когда весело,—смѣюсь.

БЕРЪ

(качаетъ головой).

Что-то у тебя есть на душѣ, милая дѣвушка. Что—не знаю, не придумаю! Такая молоденькая, а не смѣется: все грустная, грустная. И когда это вижу, хочется сказать: ничего, все будетъ хорошо, — примѣнится.

СОНЯ (тихо).

Нѣтъ, не перемѣнится.

БЕРЪ.

Когда ледъ треснулъ, рѣка очистится. Это вѣрно. Вотъ, Соня, передо мной вся жизнь. Иду и смотрю... Есть трещина,—иду дальше... спокоенъ я: очистится.

СОНЯ

(съ недовѣрчивымъ любопытствомъ).

Да? Всегда?

БЕРЪ.

Всегда... Вотъ я расскажу тебѣ о себѣ. Когда-то у меня мастерская была. Двадцать человѣкъ въ ней работало. Потихоньку, потихоньку сталъ богатѣть! Пони-маешь? И тутъ это началось... Развѣ я родился, чтобы деньги выжимать? Изъ кого? Изъ людей? Изъ живыхъ? Развѣ я здѣсь, чтобы деньги беречь? (Съ презрѣніемъ) Деньги! Посмотрѣлъ: есть трещина! Сказалъ я себѣ: отдай мастерскую, освободи людей!.. Такъ и было. Отдалъ рабочимъ мастерскую и ушелъ. Хорошо мнѣ стало...

СОНЯ (пораженная).

Что же вы сдѣлали, Беръ? Зачѣмъ? И теперь вы... бѣдный, работаете на фабрикѣ, Богъ знаетъ, какъ живете! Бѣдный...

БЕРЪ (задумчиво).

Кто богатый?

СОНЯ.

Никогда бы мать этого не сдѣлала. Никто бы такъ не сдѣлалъ. Деньги вѣдь все.

ВЕРЪ (улыбается).

Это кто сказалъ?

СОНЯ.

Всѣ говорятъ, жизнь говорить.

ВЕРЪ.

Всѣ? Жизнь? (Качаетъ головой) Когда у меня мастерская была, я еще съ женой жилъ. Двое дѣтей было... Вотъ я увидѣлъ, что втягиваюсь... думай о женѣ, о дѣтяхъ, а о людяхъ забудь. А мнѣ, Соня, люди дороги. Не я себѣ,—люди мнѣ дороги. Посмотрѣлъ: трещина. Вотъ и сказалъ я: идите вы направо, а я налево.

СОНЯ

(всплеснула руками).

И жену и дѣтей? Какой вы, Беръ! И не жаль вамъ ихъ, и не скучно?

ВЕРЪ.

Теперь не скучно, а раньше трудно было... Такъ и ушелъ, Соня. Теперь мнѣ хорошо. Душа спокойна. Работая, слушаю, что говорить... Хорошо люди говорить, сильно... Что-то будетъ, Соня, что-то будетъ...

СОНЯ

(съ недоумѣніемъ).

Не понимаю, ничего не понимаю. Отъ богатства отказались, отъ семьи отказались, одежда ваша въ заплахахъ... Даже страшно съ вами! Но хорошо, Беръ, хорошо. (Останавливается у окна и выглядываетъ на улицу) А я какъ жила? (Обернулась къ нему) Что же я сдѣлала?

ВЕРЪ (ласково).

Отчего же ты все такая грустная, дѣвушка моя? Что съ тобой?

СОНЯ (вдругъ).

Беръ! Вамъ я могу сказать, какъ отцу... У васъ я могу спросить. Вотъ говорятъ: все для жизни?

БЕРЪ

(съ живостью).

Отвѣчай: это неправда.

СОНЯ

(не слушаетъ).

Все для жизни, ни одного отказа. Говорятъ такъ: если нужно украсть, укради; если нужно убить, убей! Правда ли это? Что сказать, что отвѣтить?..

БЕРЪ (горячо).

Нѣтъ, нѣтъ... Всѣ отказы жизни, Соня! Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Ни одной уступки. Она требуетъ: люби,—скажи „не хочу“—и ненавидь. Она требуетъ: жертвуй,—скажи „не хочу“—и спасайся. Все наоборотъ, все наоборотъ. Если она подставить камни и скажетъ: не ходи, разобьешься,—скажи: „не хочу“—и иди и разбейся. (Встаетъ) Нѣтъ, нѣтъ... всѣ отказы, ни одной уступки. Кто разъ наклонилъ голову, тотъ оставался въ цѣпяхъ,—такъ я видѣлъ. (Дѣлаетъ жестъ) Вотъ дорога человѣка.

СОНЯ

(съ отчаяніемъ).

Отчего же я послушала мать? Отчего же я сдѣлала?.. Беръ, крикните мнѣ: жалкая, проклятая, что же ты сдѣлала?

БЕРЪ (ласково).

Ничего, Соня! Конецъ будетъ прекраснымъ... прекраснымъ! Пройдетъ пять-десять лѣтъ, и ты увидишь... будетъ прекрасно! Кругомъ говорятъ объ этомъ, тихо...

но уже говорить. Кругомъ шепчуть: будетъ другая жизнь. Еще недолго! Черезъ пять-десять лѣтъ...

СОНЯ.

Черезъ пять-десять лѣтъ? Правда ли? А что будетъ со мной?

БЕРЪ.

Хорошо будетъ. Всѣмъ хорошо будетъ. Пройдетъ пять-десять лѣтъ, и, какъ люди говорятъ, уже не будетъ несчастныхъ. Трудно это сдѣлать, но ничего,—сдѣлаютъ. Скрутятъ люди жизнь по рукамъ и по ногамъ и скажутъ ей: молчи! Разведутъ большой костеръ и положатъ на него старую жизнь,—кругомъ будутъ пѣть и танцовать, и она сгоритъ.

СОНЯ

(съ удивленіемъ).

Сгорить? И мнѣ простятъ? (Взволнованно) Такъ я поднимусь, Беръ! Вѣрьте мнѣ, клянусь! Всѣ отказы жизни, ни одной уступки больше. Только бы, только бы...

(Заплакала. Входитъ Гланкъ. Возится съ галстукомъ, котораго завязать не можетъ. При видѣ плачущей Сони останавливается въ испугѣ)

ГЛАНКЪ.

Отчего же она плачетъ? Что тутъ случилось, Беръ? Отчего же ты плачешь, звѣзда моя?

БЕРЪ.

Пусть она поплачетъ, Гланкъ. Ничего, это хорошо.

ГЛАНКЪ.

Почему же, почему? (Подходить къ ней и беретъ ее голову)

СОНЯ (улыбаясь).

Если-бы ты зналъ!..

ГЛАНКЪ.

Что?.. А я пришелъ, чтобы ты мнѣ галстухъ завязала. Я долженъ носить галстухъ. И что такое галстухъ? А руки дрожать, и я боюсь, что прибѣжить Дина и начнетъ кричать.

СОНЯ

(смѣется и плачетъ).

Дорогой отецъ! Телѣжка наша... (Завязываетъ галстухъ)

ГЛАНКЪ (смѣется).

Вотъ я одѣвался и думалъ: къ чему эта бѣлая рубаша, чистенькій скюрточокъ? Сейчасъ надѣну шляпу и стану похожимъ на банкира. Даже стыдно...

БЕРЪ.

Надо идти, Гланкъ...

ГЛАНКЪ (задумчиво).

Всего и всѣхъ боюсь: улицъ, людей, лошадей, собакъ, и никто этого не знаетъ. Даже смѣшно. Кому я скажу, а похожъ на банкира. (Виновато смѣется. Къ Сонѣ) Не будешь больше плакать? Не плачь, звѣда моя. Старичокъ одинъ тебя просить объ этомъ, очень просить.

(Бѣгомъ уходитъ въ комнату направо. Входитъ Элька. Въ розовомъ платѣ. Волосы повязаны ярко-красной лентой)

ЭЛКА.

Вотъ и я. Здравствуй, Соня! (Съ восхищеніемъ отступаетъ отъ нея) Какъ ты похорошѣла! А я все худѣю, все худѣю. Здравствуй, хорошая, милая Соня!

СОНЯ

(тихо смѣется).

Здравствуй, Элька.

ЭЛКА.

Ты смѣешься! Можно тебѣ сказать? Ты смѣешься, и я думаю про себя тихо, тихо: сегодня Соня не будетъ гордой.

СОНЯ.

Теперь мнѣ хорошо, Элька. Беръ, на душѣ радостно, и чего бы я сейчасъ не сдѣлала...

ЭЛКА (обернулась).

Это Беръ? Вы Беръ? (Отступаетъ и оглядываетъ его) Такой страшный! (Смѣется длинно) Такой смѣшной, толстый!.. (Вдругъ) Дайте мнѣ вашу руку.

БЕРЪ (тихо).

Зачѣмъ?

ЭЛКА (серьезно).

Одна бѣдная душа подастъ руку другой бѣдной душѣ. (Задумалась) Такія руки были у моего отца: толстыя, теплыя. Его убили! Вы тоже несчастный, Беръ?

БЕРЪ

(гладить ея руку).

Ты хорошая дѣвушка! Хорошая...

ЭЛКА

(вдругъ подносить его руку къ своимъ губамъ. Съ упрекомъ).

Отчего же вы не даете? Если одинъ хочетъ у другого руку поцѣловать, такъ онъ знаетъ, за что. Одна бѣдная поцѣловала руку у одного бѣднаго... за ласку, за ласку. (Цѣлуетъ его руку)

СОНЯ (вдругъ).

Элька! Ты говоришь, и вотъ уже уходятъ мои радости. И вотъ мнѣ уже трудно. И вотъ становится гора на моей дорогѣ, и я уже не могу идти.

(Входитъ Гланкъ. Онъ уже одѣтъ, въ шляпѣ, въ рукѣ палка)

ГЛАНКЪ.

Идемъ, Беръ. А, Элька! Здравствуй, Элька.

ЭЛЬКА.

Здравствуйте... Я къ вашей Сонѣ пришла...

(Входитъ Дина. Принесла лампу и ставитъ ее на столъ)

ДИНА (сердито).

Ты все еще здѣсь? Когда же ты уйдешь?

ГЛАНКЪ (робко).

Я переодѣвался, Дина.

ДИНА.

Такъ ступай. (Замѣтила Эльку) И Элька здѣсь? Опять пришла?

ЭЛЬКА

(виновато улыбается).

Я, какъ бабочка, влетаю въ комнату, покружусь и улетаю...

ДИНА.

А работать не хочешь? Все летаешь?..

ГЛАНКЪ.

Идешь, Беръ? И о чемъ ты всегда думаешь? У меня бы голова разболѣлась.

ВЕРЬ (улыбается).

Думаю о томъ, Гланкъ, что будетъ отлично... И какъ славно тогда размѣстимся, какъ удобно! (Серьезно) Дина не будетъ кричать. А Элькѣ отведутъ золотую комнату... золотую.

(Послѣднее слово уже слышно за дверью. Дина взяла оба кресла и выносить ихъ. Пауза)

ЭЛЬКА.

Тихо стало... (Смѣется гармонично, длинно)

СОНЯ

(занята собой; неохотно).

Какъ поживаешь, Элька? Что подѣлываетъ твоя бабушка?

ЭЛЬКА.

Бабушка? Все слѣпая, все слѣпая. Теперь съ ней трудно стало. Ноги у нея распухли, и ей нельзя выходить. Плачетъ она много, долго. По ночамъ она привязываетъ меня къ себѣ, чтобы я не убѣжала, и такъ мы лежимъ до утра.

СОНЯ.

Какъ ты это переносишь?

ЭЛЬКА

(не слушаетъ ея).

Я пришла, милая Соня, попросить тебя... Не смотри такъ на меня. (Съ мольбой) Соня, Соня...

СОНЯ (ласково).

О чемъ?

ЭЛЬКА

(садится подлѣ нея).

Не будешь сердиться? Не скажешь Элькѣ: уйди, Элька!

СОНЯ (нетерпѣливо).

Говори же.

ЭЛЬКА

(вдругъ рѣшается).

Не мучь, Соня, Арна. Я не могу видѣть... я не могу. Я дарю его тебѣ, я отказываюсь.

СОНЯ (вспыхнула).

Онъ еще помнитъ меня?

ЭЛЬКА

(съ страданіемъ).

Онъ мучится, Соня. Вотъ я пришла просить за него, пришла отдать его. Развѣ мнѣ нужны его слезы? (Какъ эхо) Его слезы! Его вздохи? (Какъ эхо) Его вздохи!

СОНЯ

(съ любопытствомъ).

Расскажи, Элька, расскажи...

ЭЛЬКА.

Кого я люблю? Его или себя? А онъ любить Соню. Лежала всю ночь и думала: онъ любить Соню! Милая Соня, позови его, скажи ему: Соня тебя любить.

СОНЯ

(въ упоеніи).

Я позову его! И развѣ я скажу ему: Арнѣ, я...! Это

возможно, Элька? И ничего онъ не увидить на мнѣ?
Я скажу ему: Арнѣ, я...! Онъ пойметъ, Элька?

ЭЛКА (тихо).

Онъ пойметъ.

СОНЯ.

Сброшу горы съ себя и вздохну легко. Элька, я люблю тебя, я васъ всѣхъ люблю. Вотъ стѣна,—я люблю стѣну! Вотъ небо,—я люблю небо! Пусть придетъ Арнѣ!

ЭЛКА.

Я уйду, Соня. Даже не вздохну, даже не заплачу... А если заплачу, ты не будешь сердиться? Сидить гдѣ-то въ углу дѣвушка и плачетъ... Пусть плачетъ!

СОНЯ

(не слушаетъ ея).

Посмотри, Элька, на меня и скажи, какая я? Въ глазахъ моихъ ничего не видно?

ЭЛКА.

У тебя прекрасные глаза.

СОНЯ.

Какое у меня лицо? (Встаетъ) Посмотри еще разъ. Тронь мои руки. Ничего не видно?

ЭЛКА

(въ недоумѣніи).

Я не понимаю, Соня.

СОНЯ (нетерпѣливо).

Чего я хочу! Ничего я не хочу. Посмотри, какъ я хожу. Ничего не видно? Элька, я сбрасываю съ себя горы. Элька, я опять поднимаю голову!

ЭЛЬКА (встаетъ).

Пойду я. Какъ хорошо, Соня! Я счастлива, я счастлива! Дай мнѣ тебя поцѣловать. Какъ ты пахнешь! Закружится голова у Арна отъ радости. Какъ хорошо... Спрячется дѣвушка въ углу и будетъ думать: счастливъ Арнъ, счастливъ...

СОНЯ (вслушалась).

Какая ты, Элька! Что я передъ тобой?

(Провожаетъ ее къ дверямъ. Входитъ Дина и вноситъ кресла)

ДИНА.

Только эта пара кресель осталась, а когда-то имѣла ихъ дюжину. И эта пара пропадаетъ. (Ставить ихъ по бокамъ кушетки) Ушла сумасшедшая? О чемъ она говорила съ тобой?

СОНЯ (сухо).

Ни о чемъ.

ДИНА.

Можетъ быть, опять объ Арнѣ? Могла бы сказать ей, чтобы она перестала ходить сюда.

СОНЯ.

Могла бы! (Смѣется) Да, могла бы. Все такъ, ты всегда права.

(Ходить по комнатѣ. Смѣется, поетъ. Иногда задумывается)

ДИНА

(прибираетъ въ комнатѣ).

Куда пошелъ Беръ?

СОНЯ

(машинально повторяетъ).

Куда пошелъ Беръ? (Смотрится въ зеркало, достаетъ изъ шкафа платье и осматриваетъ его. Поетъ) Куда пошелъ Беръ? (Заглядываетъ въ комнату Бойма, налѣво) А Боймъ все работаетъ?

ДИНА.

Теперь я уважаю Бойма. (Перестаетъ прибирать) Зачѣмъ ты платье вынула? Ты уходишь?

СОНЯ.

Куда я пойду? Буду сидѣть и смотрѣть на тебя. (Поетъ) Куда пошелъ Беръ?..

(Входитъ дѣдъ. Ступаетъ тяжело, медленно. Дина отвернулась отъ него)

ДѢДЪ.

Тяжелые сны мнѣ снятся. Ихъ-и! Не могу я уйти отъ нихъ.

СОНЯ (обернулась).

Дѣдушка! Какіе сны? О чемъ ты говоришь?

ДѢДЪ.

Старые сны, старая жизнь. Выползаютъ люди изъ земли, плачутъ и душатъ меня... Ихъ-и! Да, тяжело было когда-то, не то, что теперь. Ихъ-и! (Садится на кушетку)

ДИНА.

Встань съ кушетки! Сейчасъ встань! Можешь на стулѣ сидѣть.

СОНЯ.

И теперь не лучше, дѣдушка.

ДѢДЪ (оторопѣлъ).

Что, какъ? На стулѣ? Ну хорошо! (Садится у окна и ищетъ Соню глазами) Когда-то людей на эшафотѣ сѣкли, сквозь строй прогоняли... Сплю и эшафотъ вижу... кровь на землѣ... Ихъ-и! (Вадохнулъ) Плачетъ старое и душитъ меня...

СОНЯ

(съ состраданіемъ).

Когда ты умрешь, дѣдушка? Никому ты не нуженъ, никто тебя не любитъ, самъ мучишься!

ДѢДЪ.

Что? Я то прошу: Господи, пошли мнѣ смерть!—Не посылаетъ.

ДИНА

(выглянула въ окно).

Вотъ Эва идетъ. (Всматривается) Опустила носъ. А я раньше знала.

СОНЯ

(подходить къ окну и выглядываетъ на улицу).

Бѣдная Эва! Все ищетъ, ищетъ...

ДѢДЪ.

Поднимаются туманы, ползутъ, ползутъ и душатъ... Ихъ-и!

ДИНА (нетерпѣливо).

Молчи!

(Дѣдъ испуганно умолкаетъ. Входитъ Эва. Мрачно снимаетъ шляпку. Садится)

ДИНА (насмѣшливо).

Опять ничего! А что я предсказывала?

ЭВА.

Такъ не посылай, не гони. Это кончится плохо. Говорю тебѣ: кончится плохо.

ДИНА.

Не пугай меня. Кончится-кончится... (Сейчасъ же) Почему?

ЭВА.

Посмотри въ окно, узнаешь!

ДИНА

(бросается къ окну).

Смотрить сюда... Какой красивый и какъ одѣтъ. Въ-роятно, богатый...

ЭВА.

Спроси у него!

ДИНА.

И спрошу. Меня не испугаешь. (Дѣлаетъ движеніе, чтобы выйти)

СОНЯ (грозно).

Не смѣй ходить! Я не велю. Знаю, знаю, зачѣмъ ты пойдешь...

ДИНА.

Мнѣ лучше, если знаешь.

(Выходить. Соня хочетъ удержать ее)

ЭВА (устало).

Пусть идетъ, все равно. Кто меня спасетъ? Убѣгала отъ него и думала: куда я бѣгу? Къ кому я приду? Отведетъ меня мать въ сторону и начнетъ шептать...

СОНЯ (тихо).

Начнетъ шептать...

ЭВА.

И для этого нужно жить... для этого, Соня?

СОНЯ.

Ты не можешь сказать ей—„не хочу“?

ЭВА.

Сказать? Я? Нѣтъ, не могу, я боюсь ея. Тебѣ, Соня, хорошо,—тебя никто не можетъ заставить... А меня...

СОНЯ

(странно смотреть на нее).

Да? Ты такъ думаешь?

ЭВА.

Кто со мной считается? Ты гордая, тебя всѣ боятся. Отецъ тебя любить...

СОНЯ (растерянно).

Вотъ ты и заплакала. Какія мы несчастныя, Эва, какія одинокія!

ЭВА.

Я ненавижу ее. Погубить меня и скажетъ: нужно жить! Будетъ шелкъ, золото... Шепчетъ-шепчетъ, и голова кружится, и сама не знаешь, чего хочешь.

СОНЯ.

Вотъ это, Эва, страшно, этого нужно бояться.

ЭВА (вдругъ).

Я убью себя!

СОНЯ.

Ну вотъ! Какая ты! Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!

ЭВА.

Надо вѣдь знать, что у меня въ головѣ! Не хочу я ей покориться. Ни за что, ни за что!

СОНЯ (съ ужасомъ).

Что у насъ происходитъ? Если бы люди знали! Что съ нами стало. А вѣдь когда-то и у насъ было весело... приходили гости... Помнишь, Эва? Танцевали... Помнишь, Эва? Смѣялись...

ЭВА.

Если-бы ты, Соня, была моей матерью! Я положила бы голову къ тебѣ на плечо и такъ бы поплакала, такъ бы поплакала. Обними меня, Соня. Развѣ я дурная? Все хорошее еще осталось во мнѣ. Но страшно: камнями мать выгоняетъ.

СОНЯ.

Перестань, Эва. Не выдержу я и заплачу.

ЭВА.

Вотъ, Соня, у насъ живетъ Боймъ... ты никому не расскажешь? живетъ Боймъ, и я полюбила его. Отвернись, Соня! Но онъ молчить. Боймъ молчить... Обо всемъ говорить, только объ этомъ молчить. (Вдругъ) Зачѣмъ я рассказала тебѣ? Не будешь смѣяться надо мной: Эва любить!

СОНЯ (съ порывомъ).

Тебѣ плохо, и ты мучишь меня. Можетъ быть, меня нельзя уже мучить... можетъ быть, въ моемъ сердцѣ столько ранъ, что даже нельзя и посмотрѣть на меня.

ЭВА (испуганно).

Соня, Соня! Не говори такъ: мнѣ больно. Ты гордая, ты не должна такъ говорить.

соня.

Ну такъ будемъ молчать. Стиснемъ зубы и будемъ молчать. (Хочетъ заплакать) Нѣтъ, нѣтъ, не буду плакать.

(Входитъ Дина, недовольная, мрачная)

ДИНА.

Уѣхалъ! Не могла я съ нимъ поговорить. Такъ одѣтъ! Ты, Эва, смотри, смотри!

ЭВА (тихо).

Что же я дѣлаю?

соня (гнѣвно).

Замолчи, мать! Я прокляну тебя! Не довольно съ тебя одного?..

ДИНА.

Что это ты? Ты съ кѣмъ говоришь?

соня (изступленно).

Замолчи! Или я сейчасъ выбѣгу на улицу и начну кричать: Дина продаетъ своихъ дочерей!

ДИНА (испуганно).

Тише, проклятая: Боймъ услышать...

соня.

Такъ не будешь, не будешь!

(Долгая пауза)

ДѢДЪ (смѣется).

Вотъ кричали, и опять тихо стало. Тихо, тихо... Ихъ-и!

СОНЯ.

Ну и хорошо, дѣдушка! Ну, радуйся.

(Входитъ Боймъ. Видъ усталый. Глаза лихорадочно горять)

БОЙМЪ.

Пальцы перестали дѣйствовать, до того я заработался съ этой перепиской. (Ходить по комнатѣ. Эва слѣдить за нимъ) Забросилъ скрипку. Все это будетъ потомъ, потомъ! Теперь уроки, переписка и деньги. (Оглядывается) Что это вы всѣ какъ будто недовольны? Милая Соня, милая Эва!

СОНЯ

(съ любопытствомъ смотреть на него).

Вы замѣтили? Развѣ вы что-нибудь замѣчаете? (Оглядываетъ себя въ зеркалѣ) Скажите, Боймъ, вы меня видите?

ЭВА

(тихо смѣется).

Онъ никого не видитъ.

БОЙМЪ (смѣется).

Я васъ вижу, Соня. Сегодня у васъ хорошее лицо, гордое!

СОНЯ.

Да? А Эву видите? Гдѣ Эва? Покажите мнѣ ее.

ЭВА (смущенно).

Соня!

БОЙМЪ

(все ходить).

Господа, сегодня я счастливъ!

ДИНА (насмѣшливо).

Когда вы не были счастливы?

БОЙМЪ.

Нѣтъ, Дина, это что-то другое, новое. Знаете, какъ я себя чувствую въ этомъ городѣ? Какъ мертвый въ могилѣ. Я всѣмъ чуждъ,—все мнѣ чуждо. Страданія меня не трогаютъ. Не чувствую любви ни къ людямъ, ни къ домамъ. Хожу по улицамъ: все пусто, все умерло. Вотъ у Гёте это хорошо сказано... (Декламируетъ грустно)

„Горныя вершины спятъ во тьмѣ ночной;

Тихія долины полны сѣрой мглой.

Не скрипитъ дорога, не шумятъ листья“...

И все же, Дина, я счастливъ! Всей душой, Соня, я чувствую себя тамъ, въ прекрасныхъ странахъ, въ волшебныхъ городахъ...

ЭВА.

Я завидую вамъ, Боймъ!

ДИНА.

Я не понимаю этого и не хочу понять...

БОЙМЪ.

Можетъ быть, вы правы, Дина, и лучше быть глухимъ, слѣпымъ, не мечтать, не жаждасть!.. Но сегодня я счастливъ, безумно счастливъ. Я рассчиталъ, что если такъ буду работать, то къ осени уже смогу уѣхать за границу. Я буду за-границей, Дина! Мнѣ хочется обнять васъ и кружиться по комнатѣ.

ЭВА

(тихо, съ отчаяніемъ).

За-границей?

СОНЯ (грустно).

За-границей?

ДИНА.

Я всегда говорила, что тотъ, кто играетъ на скрипкѣ, не имѣетъ мозговъ въ головѣ. Что же вы, Боймъ, будете дѣлать за-границей? Вы вѣдь съ голода умрете. Или вы думаете, что найдете другую Дину, которая будетъ кормить васъ и мѣсяцами ждать денегъ?

ВОЙМЪ.

Деньги! Все деньги!.. Нѣтъ, вы подумайте: этотъ городъ, гдѣ такъ кричатъ, и заграница. Это страшное—и спокойное, радостное. Небо — и открытая кровотокающая рана! Оглянитесь, что вы видите кругомъ себя? Длинные грязныя улицы, грязные дома, плачущихъ людей... Подождите, Дина, я вамъ что-то прочитаю.

(Бѣжитъ въ свою комнату)

ДИНА

(кричитъ ему вслѣдъ).

Не надо, не надо. Мы вѣримъ вамъ.

ВОЙМЪ

(изъ комнаты).

Не надо вѣрить. Я вамъ прочту, чтобы вы могли сравнить. (Выходить съ книжкой въ рукахъ) Я хочу, чтобы у васъ закружилась голова. Это преобразаетъ чело-вѣка, это дѣлаетъ его красивымъ, благороднымъ, воз-вышаетъ его. Смотрите, Дина, вотъ нашъ городъ, наши улицы; вспомните наши переулки, грязь, ночную

тѣму... А потомъ слушайте. (Читаетъ съ пафосомъ) „Королевская площадь! Памятникъ Бисмарка. Широкий пьедесталъ изъ краснаго мрамора. Тамъ, на его вершинѣ, во весь свой могучій ростъ гордо и твердо стоитъ первый канцлеръ въ длинномъ кирасирскомъ мундирѣ. Бисмаркъ сурово и пристально всматривается въ даль. Его выскочившіе почти изъ орбиты глаза горятъ. Широкий плащъ едва держится на богатырскихъ плечахъ“...

ДИНА.

Довольно, Боймъ, довольно. Какіе пустяки! Вѣроятно, это написалъ какой-нибудь другой Боймъ.

БОЙМЪ

(машетъ руками).

Умоляю васъ, умоляю.

ЭВА.

Читайте, читайте.

БОЙМЪ (читаетъ).

...„Направо отъ монумента—безжизненный сфинксъ въ своей обычной классической позѣ. На лѣвомъ фронтѣ въ гордой и воинственной позѣ, съ остроконечнымъ шлемомъ на головѣ, стоитъ молодая, стройная германка и безжалостно давить своей сильной, закованной въ латы ногой голову издыхающей пантеры“. (Закрываетъ книгу. Опускаетъ голову) Если это васъ не тронуло, Дина, вы не человѣкъ! Все возвышенное, что поднимаетъ человѣка надъ этой жалкой землей, надъ этими скорбями, не находитъ въ васъ отклика. Зачѣмъ же вы живете? Зачѣмъ вы ходите по землѣ?

ЭВА (вдругъ).

Вамъ ничего не нужно было сказать мнѣ, Боймъ?

СОНЯ.

Это нѣжно, какъ музыка, и хочется подняться, улѣтѣть куда-нибудь.

БОЙМЪ.

Я изнемогаю... какъ каторжный работаю теперь день и ночь. Я долженъ уѣхать отсюда.. мнѣ страшно здѣсь, мнѣ тяжело. Скорѣй, скорѣй подальше отъ этихъ больныхъ, искалѣченныхъ, замученныхъ, — отъ этихъ ужасовъ, тьмы, дикости...

СОНЯ

(захватила платье и выходитъ въ комнату направо. Къ матери).

Пойдемъ, мать, ты поможешь мнѣ. Я хочу переодѣться.

ДИНА (сурово).

Не хочу!

СОНЯ (настаиваетъ).

Пойдемъ, пойдемъ!

ДИНА (недовольно).

Идешь, Эва?

СОНЯ.

Нѣтъ, нѣтъ, пусть Эва останется. Эва мнѣ не нужна.

(Дина недовольно качаетъ головой и выходитъ)

ЭВА

(послѣ паузы; тихо)

Вы такъ хорошо рассказываете, Боймъ,—нельзя слушать равнодушно. Душа томится, чего-то хочетъ душа. Эти прекрасныя страны!. Зачѣмъ рассказывать? Развѣ не лучше не знать о нихъ? Эти прекрасныя

страны! Я молюсь на нихъ... Я вижу эти площади, залитыя свѣтомъ: они мнѣ снятся. (Вдругъ) Вамъ ничего не нужно было сказать мнѣ?

БОЙМЪ (подумалъ).

Нѣтъ, ничего...

ЭВА (печально).

Вотъ льются слова, текутъ, и среди нихъ не вижу своихъ. Но ничего, Боймъ. Можетъ быть, это лучшее, что дарить мнѣ судьба?

БОЙМЪ.

Вы иногда говорите непонятно.

ЭВА.

Посмотрите кругомъ себя. Нѣтъ, вы не видите, вы ничего не понимаете! Мнѣ, Боймъ, 18 лѣтъ... Что дальше? Мнѣ будетъ 19. Что дальше? Мнѣ будетъ 20. А еще дальше? Длинный, тяжелый рядъ годовъ безъ цѣли, безъ радости... Зачѣмъ? Посмотрите, вѣдь мы падаемъ въ бездну! Раскрыла бездна свой черный ротъ.

БОЙМЪ (задумчиво).

Да, бездна подъ нами...

ЭВА (грустно).

Кто въ жизни не ударить меня? Кто, пройдя мимо, не бросить меня къ ногамъ своимъ, чтобы растоптать? Придетъ ли кому-нибудь въ голову мысль: вотъ дѣвушка, она хочетъ жить, какъ человѣкъ, Боймъ, какъ человѣкъ.

БОЙМЪ (растроганный).

Да, да, милая Эва, вы правы. На всемъ здѣсь ле-

жить проклятіе, и оттого я бѣгу отсюда. (Эва смѣется)
Почему вы засмѣялись?

ЭВА

(сквозь слезы).

Я права, да, я права!..

ДИНА

(изъ комнаты).

Эва, ступай сюда, довольно разговаривать!

ЭВА.

Вы слышите, Боймъ? Ну, думайте скорѣе. Вамъ ничего не нужно было сказать мнѣ?

БОЙМЪ (удивленно).

Нѣтъ, ничего! (Выглядываетъ въ окно) Дождь идетъ! Почему это вамъ пришло въ голову? Какая вы странная, Эва... странная.

ЭВА.

Ну, такъ хорошо! Я рада, Боймъ... рада!

(Изъ комнаты Бойма показывается голова Гланка)

БОЙМЪ

(замѣтилъ Гланка).

Посмотрите, Эва! Вашъ отецъ!

ЭВА (удивленно).

Да, отецъ. (Подбѣгаетъ къ Гланку) Почему ты не приходишь?

ГЛАНКЪ

(виновато улыбается).

Я ея боюсь. Она не сердита? Полилъ дождь, и я вернулся.

ЭВА

(къ Воймѹ).

Какой человѣкъ! (Къ отцу) Войди же! Ахъ ты, бѣдный...

БЕРЪ (входитъ).

Вотъ дождь, такъ дождь!

(Гланкъ все стоитъ у дверей и опасно выглядываетъ. Входитъ Дина)

ДИНА (недовольно).

Позвала въ комнату и не выпускаетъ. А, Беръ! Ты весь мокрый! Что это, дождь? Ступай-ка въ корридоръ, ты загрязнишь всю комнату. Эва, сдѣлай чай. (Замѣчаетъ Гланка въ дверяхъ) Какъ, ты уже вернулся?

ГЛАНКЪ (жалобно).

Вернулся, вернулся...

ДИНА.

Не могъ гдѣ-нибудь переждать? (Подходить къ дверямъ) Ну войди, хлѣбодатель!

ГЛАНКЪ.

А ты не будешь кричать?..

ДИНА (въ гнѣвѣ).

Онъ еще торгуется... Войди, старый пень, войди, ничтожество.

ГЛАНКЪ (входитъ).

Вотъ ты посылаешь меня, гонишь: ступай, Гланкъ! Что значить—ступай? И куда ступай? А если уже пошелъ? Обрадовался городъ! Сказали всѣ: ну если уже Гланкъ пошелъ, такъ дадимъ ему службу. Вотъ я

шляпу испортилъ. Завтра я не пойду покупать новую, нѣтъ, нѣтъ! Никому я этого удовольствія не сдѣлаю. (Снимаетъ пальто) Вотъ и пальто... Пальто таки ничего себѣ пальто, а оно мокрое. (Бережно раскладываетъ его на кушеткѣ)

ДИНА

(сердито вырываетъ у него пальто изъ рукъ).

Въ землю иди съ твоимъ пальто! Все залилъ водой, не жалко тебѣ Дины! Что такое Дина? Лошадь, вошь?.. Пусть трудится! Ничтожество!

ГЛАНКЪ (смиренно).

Я таки не говорю, что значу много. Развѣ я это говорю? Нѣтъ, нѣтъ!

(Входитъ Беръ)

БЕРЪ.

Вотъ мы и дома. Все кончается хорошо. И чего ты, Гланкъ, боялся? Я вѣдь тебѣ говорилъ, что Дина хорошая, разсудительная.

ДИНА.

Ты могъ бы помолчать, Беръ! (Выходитъ въ досадѣ. Уноситъ пальто Гланка)

ГЛАНКЪ (повеселѣлъ).

Ну, слава Богу! Ахъ, Богу слава! Какъ я люблю свой домъ. И что такое домъ? (Спохватился и смѣется) Нѣтъ, я не то хотѣлъ сказать. Беръ, какъ тутъ пріятно. Сейчасъ будемъ чай пить. Диночка таки сердита,—ну ничего! Дѣточки дома, не мскро, не падаетъ съ неба. И почему Богъ сдѣлалъ такъ, что я долженъ зарабатывать? Сдѣлалъ бы меня женщиной... (Воймъ уходитъ къ себѣ, Эва къ комнатѣ налѣво) и какой бы я женщиной былъ! Думаешь, какъ Дина? Нѣтъ... (Беръ киваетъ головой) я

былъ бы добрымъ, какъ теленочекъ... Я варилъ бы обѣдъ, смотрѣлъ бы за дѣточками. И всѣхъ бы любилъ, только любилъ... (смѣется) и жалѣлъ бы мужа. Какъ бы я его жалѣлъ! (Беретъ Бера подъ руку и выходитъ съ нимъ)

ДѢДЪ (поднимается).

Тяжело мнѣ. Охъ, тяжело.

(Медленно выходитъ. Входитъ Соня. На ней новое платье. Садится на кушетку, опустила голову на руки. Изъ комнаты Бойма выходитъ Арнъ. Закрываетъ дверь за собой)

АРНЪ.

Вотъ я тебя и засталъ.

СОНЯ (испуганно).

Арнъ! Ты меня испугалъ!

АРНЪ.

Чѣмъ это кончится, Соня?

СОНЯ

(овладевъ собой).

Не знаю...

АРНЪ.

Кто же знаетъ? Мать тебѣ не позволяетъ? Такъ я войду и выпрошу тебя у матери. Сяду возлѣ нея, какъ сынъ, и расскажу все самыми дорогими словами, и она отдастъ тебя.

СОНЯ.

Нѣтъ, это не то...

АРНЪ.

Можетъ быть, стѣна стоитъ между нами,—я сломаю стѣну. Можетъ быть, люди стоятъ между нами,—я отброшу ихъ въ сторону.

СОНЯ.

Почему ты не посмотришь на меня? Ничего тебѣ не говорить мое лицо?

АРНЪ.

Ты стала еще красивѣе. Ты какъ будто возмужала... честное слово.

СОНЯ.

Всмотрись хорошенько. Можетъ быть, измѣнились мои глаза?

АРНЪ.

Какъ ты спрашиваешь? Никогда ты такъ не спрашивала! (Подходить къ ней и внимательно смотреть на нее) Нѣтъ, ты все такая же. Нѣтъ, ты стала лучше. Руки у тебя пополнѣли. Мнѣ хочется поцѣловать ихъ...

СОНЯ

(оглядывается на дверь; быстро).

Нѣтъ, нѣтъ, Арнъ, этихъ рукъ тебѣ нельзя цѣловать. Я ненавижу ихъ.

АРНЪ

(съ упрекомъ).

Соня!

СОНЯ.

Развѣ все еще возможно? Можно вернуть вчерашнй день и прожить его иначе?

АРНЪ.

Я не знаю, чего ты хочешь? Прежде мы иначе разговаривали. Помнишь? По вечерамъ мы сидѣли на скамѣ, въ концѣ улицы... О чемъ мы говорили? Развѣ я помню? Кажется, птицы летали вокругъ насъ... кажется, мы разговаривали о свадьбѣ. Вотъ это бѣлое платье къ вѣнцу, что мы видѣли, все ждетъ тебя... въ концѣ улицы, подъ деревомъ.

СОНЯ.

Не надо вспоминать объ этомъ.

АРНЪ.

По вечерамъ мы сидѣли на скамейкѣ подъ деревомъ, въ концѣ улицы...

СОНЯ (откровенно).

Мнѣ пріятно, что ты пришелъ, что ты засталъ меня...

АРНЪ.

Ты говоришь правду?

СОНЯ.

Какъ мнѣ пріятно, что ты стоишь здѣсь, и я не могу убѣжать. Какъ мнѣ пріятно, что ты можешь схватить меня и поставить передъ собой на колѣни.

АРНЪ.

Вотъ я уже забылъ все, и эти три мѣсяца. Вотъ я забылъ и слезы, и ревность. (Беретъ ее за руку и притягиваетъ къ себѣ) Дай мнѣ твои руки. Какъ ты возмужала, Соня. (Обнимаетъ ее)

СОНЯ.

Можетъ быть, это сонъ... но это сонъ хорошій. Если

бы я могла быть достойной тебя! Я такъ тосковала... По утрамъ было трудно, невыносимо. Знала,—будетъ вечеръ, но не увижу Арна.

АРНЪ.

Почему же? Нѣтъ, не буду спрашивать. (Въ опьяненіи) Ты выйдешь сегодня вечеромъ?.. Пройдетъ дождь, будетъ свѣтло, деревья будутъ пахнуть, мы сядемъ на скамѣ, въ концѣ улицы...

СОНЯ.

Не будемъ думать. (Цѣлуетъ его) Зачѣмъ намъ думать? Если-бы люди не могли думать! Если-бы у нихъ не было совѣсти, если-бы человѣкъ былъ камнемъ... Все—если-бы, если-бы... (Вдругъ) Вотъ ты узналъ что-нибудь дурное обо мнѣ,—ты бы простилъ?

АРНЪ.

Ничего дурного ты не можешь сдѣлать.

СОНЯ.

Да, ничего не могу. Не будемъ думать. Вотъ, если бы семьи не было, отца, дѣда... Если-бы, если-бы...

АРНЪ.

Мнѣ пріятно. Мнѣ нравится все, что ты говоришь...

СОНЯ.

Посмотри въ мои глаза: въ нихъ ничего не видно?

АРНЪ.

Честное слово, ничего. Славные у тебя глаза.

СОНЯ.

Мы вернули вчерашній день. Придешь, Арнъ, домой

и скажешь своей матери: черезъ мѣсяцъ моя свадьба съ Соней,—и мать твоя обрадуется... Не будемъ думать!

(Сидятъ обнявшись. Входитъ Дина. Увидѣвъ Арна, останавливается, пораженная)

ДИНА

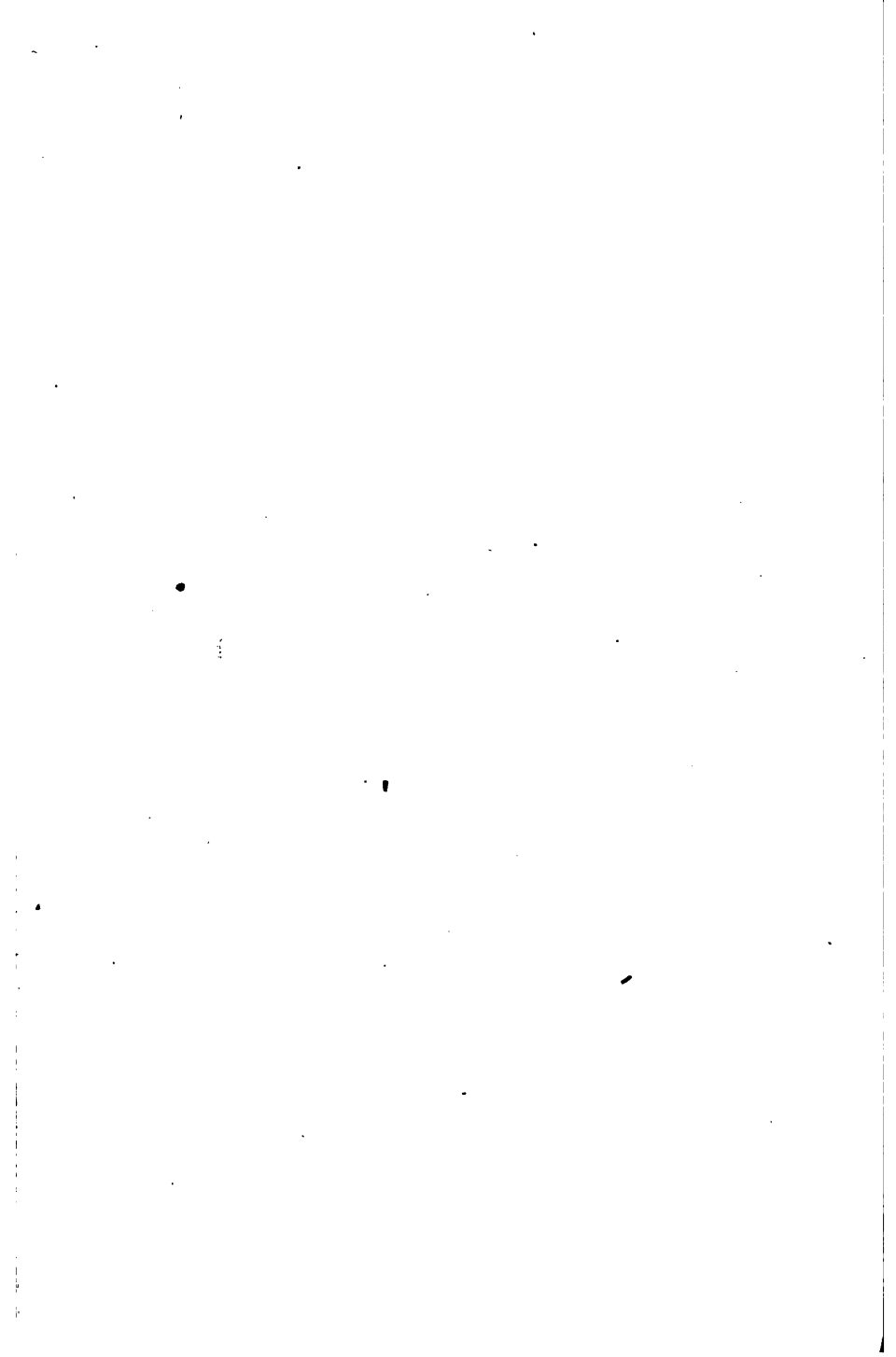
(съ крикомъ).

Что же ты сдѣлала, Соня? Что ты сдѣлала? (Оба вскакиваютъ въ испугъ) Никогда этого не будетъ. Нѣтъ, нѣтъ. Я не допущу. Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!

Занавѣсъ.

С. Юшкевичъ. Въ городъ.

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.



Комната Бойма. Деревянная кровать, возлѣ крошечный столикъ, На кровати сидитъ дѣдъ. Небольшой шкафчикъ, комодъ. Въ одномъ углу деревянный пюпитръ. На полу валяются коробки отъ папирсъ, ненужныя бумаги и другой соръ. Посреди комнаты. Беръ возится съ корзиной. Эва, присѣвъ на корточкахъ, укладываетъ вещи въ чемоданъ. Вечеръ. Въ комнатѣ холодно. Горитъ лампа. Ранняя зима. Выпалъ первый снѣгъ. Въ окна глядитъ луна. Соня въ шали, которая скрываетъ ея фигуру. Она стоитъ у окна и выглядываетъ въ освѣщенный дворъ. Боймъ, взволнованный, вертится по комнатѣ.

БОЙМЪ.

Что мнѣ еще нужно взять? Какъ бы не забыть... (Поднялъ пюпитръ и осматриваетъ его. Подходить съ нимъ къ Эвѣ) Этотъ пюпитръ, милая Эва, я рѣшилъ подарить вамъ на память. Куда я его повезу?

ЭВА.

Я его буду беречь, и когда вы вернетесь...

БОЙМЪ.

Я никогда не вернусь сюда. Опять, въ этотъ городъ? Нѣтъ, никогда! (Наклонился къ чемодану) Я даже не вспомню о немъ. Поскорѣе, поскорѣе бы забыть, что гдѣ-то на земномъ шарѣ есть такой городъ.

ЭВА (вздыхнувъ).

Вы правы! (Пожимаетъ плечами).

БЕРЪ

(возится съ корзиной).

И зачѣмъ вы уѣзжаете? Теперь?

БОЙМЪ

(поднимаетъ съ пола книги).

Да, теперь. (къ Эвѣ) Вы, кажется, забыли книги вложить? Боже мой! Мои книги! Положите ихъ вотъ здѣсь.

ЭВА.

Кто же кладетъ книги сверху? Вы ничего не понимаете. Какъ вы тамъ будете жить? (Беретъ у него книги. Онъ смѣется) Ахъ, это тѣ книги! Что вы сдѣлали книги, что вы сдѣлали...

СОНЯ

(съ сожалѣніемъ).

Вотъ и зима пришла! (Кутается въ шаль)

ЭВА.

А потомъ весна будетъ. Кто доживетъ?

БЕРЪ.

Всѣ доживемъ. Ничего, доживемъ.

БОЙМЪ.

Не увижу я здѣшной весны съ ея грязью, съ заму-ченными людьми, съ умирающими дѣтьми... Слава Богу!

СОНЯ.

Вотъ и зима пришла...

БЕРЪ.

И хорошо. Дышать легче.

БОЙМЪ

(запираетъ ключикомъ чемоданъ).

Ну теперь съ чемоданомъ готово. А вы, Беръ, все еще возитесь? (Ласково смѣется) Хорошій вы, Беръ. Когда нужно—поможете, когда нужно—упрекнете... Хорошій вы! Чемоданъ, ступай-ка въ ту комнату! (Къ Эвъ) Напьемся чаю—и въ путь. (Смотритъ на часы) Черезъ полчаса я уѣду. Какъ это странно: уѣду навсегда. Думалъ, что эти пять мѣсяцевъ никогда не кончатся, а теперь какъ будто ихъ и не было... (Поднимаетъ чемоданъ)

ЭВА.

Я помогу вамъ, Боймъ. Позвольте мнѣ.

БОЙМЪ.

Зачѣмъ? Что я—чемодана не подниму? Я два такихъ понесу.

ЭВА.

А я хочу. Мнѣ это пріятно!..

БОЙМЪ (смѣясь)

Понесемъ вмѣстѣ. (Оба выходятъ)

СОНЯ

(смотреть Эвъ вслѣдъ).

Бѣдная Эва, бѣдная Эва!

БЕРЪ.

Ничего! Все будетъ отлично... Накроетъ земля сѣмя,—выростетъ хлѣбъ.

СОНЯ.

Когда же, когда? Выпаль уже первый снѣгъ, а все

стало хуже. Чего-то ждешь отъ дней, какъ отъ людей, и, какъ люди, они обманываютъ. Всегда обманъ, во всемъ обманъ.

БЕРЪ.

Чѣмъ жаловаться, помогла бы мнѣ корзину завязать.

СОНЯ.

А мнѣ никто не помогаетъ. (Подожла, приподняла корзину и опустила) Нѣтъ, не хочу. Буду ходить и чувствовать, что страдаю.

БЕРЪ (ласково).

Я и самъ сдѣлаю.

(Завязываетъ корзину. Входитъ Боймъ)

БОЙМЪ.

Беръ, Соня, пойдемте чай пить! Чай уже на столѣ.

БЕРЪ.

Придемъ. Вотъ сейчасъ кончу съ корзиной.

(Боймъ выходитъ)

СОНЯ

(къ Веру).

Ничего вы не видите, Беръ. (Махнула рукой) Нѣтъ, буду молчать.

БЕРЪ.

Зачѣмъ мнѣ видѣть? И что я пойму, если увижу? (Дѣлаетъ видъ, что прислушивается) Слышишь, гдѣ-то уже стучать! Слышишь, гдѣ-то что-то валится!..

СОНЯ.

А если уже нѣтъ силъ? (Подходитъ къ окну и выглядываетъ во дворъ) Если сердце вотъ такимъ маленькимъ

сдѣлалось и нужно жить? Зачѣмъ жить, кто мнѣ велитъ? А я должна!..

БЕРЪ.

Что такое человѣкъ,—одинъ человѣкъ? (Отходить отъ корзины) Ну вотъ, корзина и готова.

СОНЯ

(отступаетъ отъ окна).

Опять Арнъ гуляетъ во дворѣ съ этой дѣвушкой! Каждый вечеръ онъ гуляетъ подъ моими окнами, и я должна это видѣть. Посмотрите: вотъ они идутъ. Они! Беръ, помогите мнѣ теперь. Всѣмъ хорошо съ вами... Беръ! Я не смѣю выйти и сказать ему: что ты дѣлаешь, Арнъ! Я не смѣю разсердиться на него... Я ничего не смѣю. Зачѣмъ я васъ тогда послушала? Новые ножи вонзила я въ свое тѣло.

БЕРЪ.

Зато вырвала старые.

СОНЯ.

Гдѣ же справедливость, гдѣ правда? За что, Беръ? Вотъ Элька приходитъ теперь ежедневно ко мнѣ, и обѣ мы плачемъ... А вотъ я... Нѣтъ, буду молчать... А вотъ я... Нѣтъ! О чемъ Арнъ говоритъ съ ней? Беръ, такими же словами, тѣ же уста говорятъ: скоро будетъ наша свадьба? Мнѣ хотѣлось бы посмотрѣть ему въ глаза. Только на одну минуту. (Смотрить въ окно)

БЕРЪ

(тихо, съ сарказмомъ).

Справедливость? Страданія дѣлаютъ нетерпѣливымъ... Справедливость! Гдѣ она? Хочешь взять ее руками и поставить передъ собой, хочешь хочешь тря-

сти ее. Справедливость, почему ты молчишь? Гдѣ твой законъ? (Съ ироніей) Зablужденіе!..

СОНЯ

(тихо, съ ужасомъ).

Зablужденіе!

БЕРЪ.

Справедливость! Она тамъ, она здѣсь—и нѣтъ ея и есть она! Кричишь, зовешь: справедливость, справедливость!.. Кто слышитъ?.. Вотъ тѣнь! Что тѣнь? Она больше, она меньше, вотъ она и нѣтъ ея! Поймай ее!.. Кого? Но кого? (Смѣется съ ироніей) Оглянись назадъ!

СОНЯ.

Я не понимаю, Беръ! (Сжимаетъ голову руками)

БЕРЪ.

Оглянись назадъ, ибо все отъ вещей! Вотъ вещи, вотъ тѣнь отъ нихъ, вотъ справедливость! Станутъ вещи такъ,—посмотри,—справедливость! Поставь ихъ иначе,—уже другая! Ага, поймали! Ага! Новой вѣрой загорается наша кровь. Поймали? Что человѣкъ, одинъ человѣкъ? И что два человѣка? И что три человѣка? Повернемъ вещи, и всѣ засмѣются...

СОНЯ.

Никогда я не буду смѣяться...

БЕРЪ.

Будешь, я говорю—будешь. Посмотри на меня. Это тѣло живетъ, эти ноги ходятъ, эти руки работаютъ. Червь среди червей, хожу, работаю, смѣюсь, ибо станутъ вещи иначе другъ противъ друга черезъ пятьдесятъ лѣтъ. Что человѣку нужно? Четыре аршина

земли. И что человѣкъ хочетъ? Весь міръ! Но ни весь міръ, ни четыре аршина... Кривыми улицами шли мы, и широкими улицами шли мы. Куда? Но куда? Черезъ пять, десять лѣтъ всѣ узнають.

соня.

Ариъ ушелъ! Какъ хорошо въ теплой комнатѣ говорить о счастьѣ. Никогда я этого уже не буду знать... Почему я, почему не другія? (Обернулась къ Беру) Ну переставьте вещи... для меня, Беръ! Пусть и меня коснется счастье. Не можете? Такъ я смѣюсь надъ вами. Черезъ пять-десять лѣтъ гдѣ буду я? Принесутъ мнѣ, замученной, и мою радость. (Угрюмо) Пусть не приносятъ, или крикну имъ: отдайте ее своимъ собакамъ,—мнѣ она не нужна.

дѣдъ (вдругъ).

Боймъ уѣзжаетъ! Ихъ-и! Поднялся и уѣзжаетъ! У меня былъ дядя. Давно уже онъ умеръ. Давно!.. (Вспоминаетъ. Смѣется) Ничего не могу вспомнить... Умеръ онъ. Ихъ-и! (Вспоминаетъ)

соня.

Оставъ, дѣдушка.

дѣдъ.

А? Что? Гдѣ Боймъ? Онъ придетъ проститься со мной?

соня.

Придетъ, дѣдушка, только помолчи.

дѣдъ

(не слышитъ).

А я Бойма больше не увижу. Ихъ-и! Когда онъ вернется, я уже буду въ землѣ... Хорошо будетъ.

(Входитъ Дина. Пришла изъ города. Мрачная. Оглядываетъ комнату. Снимаетъ пальто)

ДИНА.

Боймъ еще не уѣхалъ? Какъ тутъ набросано! (Поднимаетъ коробки съ полу) А гдѣ Эва? Закружилась Эва! Ну, я съ ней поговорю.

ВЕРЪ.

Зачѣмъ ты, Дина, кричишь? Скажи тихо, мы пойдемъ.

ДИНА.

Такъ състь мнѣ, сложить руки и пѣть? Развѣ въ груди у меня пять сердець? Въ одномъ танцуютъ, въ другомъ поютъ, въ третьемъ играютъ, и только въ одномъ маленькомъ плачутъ? Вѣдь я должна все обнять, однимъ сердцемъ, одной душой.

СОНЯ

(въ отчаяніи).

Начинается вечеръ! Куда мнѣ дѣваться? Куда уйти?

ДѢДЪ

(подходить къ Динѣ).

Какъ теперь на улицѣ, Дина? Холодно?

ДИНА.

Уйди отъ меня, ненужный, ничтожный! Расскажи ему, что на улицѣ! (Подбираетъ бумажки съ пола) Съ кѣмъ я должна жизнь проводить!.

ДѢДЪ (испуганно).

Что? Ну такъ я не спрашивалъ... (Отходитъ отъ нея и садится)

БЕРЪ (къ Динѣ).

Не могу я привыкнуть къ тебѣ. Богъ съ тобой!
(Вавалилъ корзину на плечи и выходить):

ДИНА

(вдогонку ему).

А когда плохо, Беръ? Вотъ Расскажи, что хотятъ слѣпыя зрячую вести, а она вѣдь не можетъ идти съ ними

СОНЯ

(со страхомъ).

Знаю, мать, все знаю, что ты хочешь сказать.

ДИНА.

Такъ одѣвайся и иди! Я оттуда, тебя ждуть... Нѣтъ, не хочешь? Что же будетъ? Тебя я спрашиваю, что будетъ? Всю недѣлю бѣгаютъ за тобой. Пойди же. Нѣтъ? Пожалѣй меня. Почему ты заупрямилась? Почему не хочешь?

СОНЯ (мягко).

Вотъ этого не проси у меня, мать.

ДИНА.

Этого? О чемъ же другомъ просить тебя? Вѣдь это все...

СОНЯ.

Ничего не хочу знать.

ДИНА.

Кто же долженъ знать? Твой отецъ? Ничтожество ничего не можетъ... Кровью обливается мое сердце, когда захожу въ лавку. По двору нельзя пройти, всѣ

указываютъ на меня пальцами: Дина уже закладываетъ вещи. Возвращается Главкѣ,—говорятъ: вотъ идетъ ничтожество, мужъ Дины. Изъ-за кого? Изъ-за тебя.

соня.

Не говори больше, мать... Этого я не могу.

дина.

Смотри, Соня! Мои руки уже сами поднимаются. Смотри!..

соня..

Побей меня... Можешь даже убить меня! Больше я не могу.

дина

(съ крикомъ).

Что же ты можешь, что? Проклятая!

соня (упрямо).

Ничего.

дина

(трясетъ ее).

Ну говори же, говори. Ты онѣмѣла? (Бѣжитъ и закрываетъ дверь. Ударяетъ себя) Я убью себя! Возьму веревку и удавлюсь. Не могу я этого вынести. Почему ты заупрямилась? Скажи что-нибудь! Сколько людей прокормить нужно? Развѣ Беръ еще долго будетъ давать намъ деньги? Или онъ можетъ? О чемъ ты думаешь?

соня

(послѣ молчанія).

Я вѣдь тебѣ сказала, что больше не пойду. Пока я

не знала, я могла, а когда почувствовала... мы можемъ умереть даже, а я не сдѣлаю. Не проси меня.

ДИНА.

Соня! А я вырву твои глаза, а я выкручу твои руки!

СОНЯ.

Убей меня... Лучше убей, убей!

ДИНА (сдержанно).

Я не убью тебя, но ты пойдешь! Должна будешь пойти! Что такое человѣкъ, когда онъ хочетъ жить? Ты знаешь? Онъ звѣрь, онъ птица, онъ змѣя! Ты пойдешь!..

СОНЯ (кратко).

Зачѣмъ ты сердилъ, мать? Развѣ я не права? Я все отдала тебѣ и за все твое зло простила. Какъ волѣ, склоняла я голову, и шла туда, куда ты меня гнала. Ты отняла у меня Арна, ты рассказала ему обо мнѣ,—развѣ я не покорилась, развѣ я не простила? Но вотъ когда это случилось, я почувствовала, да, почувствовала, что больше не могу. Посмотри на меня: вѣдь я буду матерью! Пожалѣй меня! Это мое послѣднее. Не трогай его! (Въ забытьѣ) Я буду матерью, я буду матерью!..

ДИНА.

Это даже не дошло до моихъ ушей.

СОНЯ.

У меня будетъ ребенокъ! Чей онъ? Не знаю... Но онъ мой! Какъ изъ камня становится моя душа, когда думаю о немъ. Мой ребенокъ, мой! По ночамъ онъ мнѣ снится. Я говорю съ нимъ, я жалуясь ему,—онъ отвѣчаетъ мнѣ и уже просить: не надо, не надо...

ДИНА (пораженная).

Ты сошла съ ума!

СОНЯ.

И какой это будетъ ребенокъ? Я знаю, я! Вотъ ты сказала: отдай свою чистоту! Я отдала и молчала. Вотъ ты сказала: пусть не будетъ Арна! Не стало Арна. Разорвала ты двѣ души пополамъ и не вздохнула. Я молчала... Теперь долженъ родиться онъ... Мать!.. Пожалѣй же насъ обоихъ, насъ обоихъ!

(Входятъ Боймъ и Эва. Дина грозитъ Сонѣ пальцемъ)

БОЙМЪ.

Чай уже выпили, вещи уложены, все готово, и почему-то не хочется еще разстаться съ вами... (Смотрить на часы) Сейчасъ нужно уѣхать. Какъ много времени иногда въ нѣсколькихъ минутахъ.

СОНЯ (мрачно).

На вашемъ мѣстѣ я давно ушла бы отсюда.

ЭВА (тихо).

Это не такъ-то легко. Я понимаю...

БОЙМЪ

(подходить къ Динѣ).

Вотъ я уѣзжаю. Что вы пожелаете мнѣ, Дина?

ДИНА (угрюмо).

Ничего! Или скажу: не до васъ теперь.

БОЙМЪ.

А вы все сердитесь...

ДИНА.

Не нравится,—не помяните меня добромъ.

БОЙМЪ.

Хоть бы на прощанье улыбнулись мнѣ.

ДИНА.

Не до васъ, Боймъ. На языкѣ лежатъ проклятыя, въ душѣ отчаяніе. Что мнѣ сказать вамъ? Уѣзжаете? Вамъ хорошо,—не мнѣ. Можетъ быть, найдете тамъ другую Дину. (Отвернулась) Что мнѣ вамъ сказать? Ну передайте тамъ, что здѣсь очень плохо, такъ плохо, что пусть уже Богъ сжалятся... Скажите, что здѣсь темно днемъ и ночью, что люди поѣдаютъ другъ друга, что нищета, какъ ножъ, косить людей... Скажите, что здѣсь человекъ носить горы на плечахъ... Скажите... (Заплакала)

СОНЯ.

Мать, что же ты дѣлаешь? Зачѣмъ убивать меня?

ДИНА.

А когда я уже не могу! Вотъ онъ радуется, а мы, а мы... (Машетъ рукой и выходить)

БОЙМЪ (виновато).

Ваша мать права, Соня. И мнѣ немножко стыдно... я радуюсь и мнѣ стыдно за свою радость. Передъ всѣми вами я чувствую себя виноватымъ. Но все-таки, Соня, мнѣ хорошо, мнѣ радостно. Черезъ часъ я буду далеко отъ этого города, отъ этихъ проклятыхъ мѣстъ. Не буду читать по утрамъ о замерзшихъ на улицахъ, о голодныхъ самоубійцахъ, не буду слышать больше криковъ убиваемыхъ, плачущихъ, проклинающихъ. Завтра я увижу новыя страны и счастливыхъ людей... Мнѣ радостно, Соня, простите меня.

ЭВА.

Зачѣмъ, Боймъ, говорить объ этомъ? Развѣ вы не видите, что въ нашей душѣ? Молчите, молчите!

СОНЯ.

Мы прощаемъ вамъ.

БОЙМЪ.

Не разъ я вспомню о васъ и о тѣхъ, которые здѣсь кричатъ, Соня! Мнѣ хочется сказать вамъ, что и въ радости есть печаль, что и въ радости есть стыдъ.

СОНЯ

(съ досадой).

Да? Гдѣ же ваша печаль?.. Нѣтъ, вы ничего не видите, я не могу васъ слушать. Оглянитесь! Посмотрите кругомъ себя хорошенько.

БОЙМЪ (растерянно).

Я... я ничего не вижу.

ЭВА.

Перестань, Соня. Человѣкъ, слѣпой къ близкому, прекрасенъ. Онъ прекрасенъ. Развѣ такъ хорошо внизу? Нѣтъ, пусть то, что радуетъ меня, что держитъ въ рукахъ мою надежду, мое счастье, пусть витаетъ надо мною, пусть летитъ вверхъ. Я буду стремиться вверхъ...

СОНЯ (угрюмо).

Прощайте, Боймъ.

БОЙМЪ (взволнованно).

Я не знаю, о чемъ вы говорите. Не сердитесь, Соня. Можетъ быть, мы никогда больше не увидимся... Если вы недовольны мной, простите меня.

ЭВА.

Никогда!..

СОНЯ.

Ну, развѣ можно на васъ долго сердиться? Слѣпой вы человѣкъ. Но такъ оно должно быть. Дано сердце, чтобы оно разрывалось отъ горя. Пусть разрывается...

БОЙМЪ (радостно).

Какъ я радъ, Соня, что все уже объяснилось, что вы всѣ любите меня. Когда я уѣду, вы вспомните Бойма, который здѣсь игралъ на скрипкѣ. Какъ только переѣду границу, я напишу вамъ письмо; оно будетъ восторженнымъ.

СОНЯ.

А что будетъ съ нами, завтра? Что будетъ здѣсь?

(Входитъ Беръ)

БЕРЪ.

Посмотрите на часы, Боймъ. Думаю, что пора.

БОЙМЪ.

Я заговорился и совершенно забылъ, что уѣзжаю. (Смотритъ на часы) Да, скоро пора. Я здѣсь ничего не оставилъ?

(Соня и Беръ незамѣтно выходятъ)

ЭВА.

Боймъ, вы уѣзжаете, и мнѣ хочется сказать вамъ...

БОЙМЪ (разсѣянно).

Скажите, скажите. Вотъ эти ноты я забылъ...

ЭВА.

Я хотѣла сказать вамъ, что осталась одна...

БОЙМЪ

(свертываетъ ноты).

Почему же одна? Съ вами вѣдь родные...

ЭВА (нетерпѣливо).

Я остаюсь одна, (поднимаетъ палецъ) какъ палецъ... (Боймъ подходитъ къ ней) и никакой опоры, никакой! Я всегда стремилась къ хорошему, къ доброму, и ничего не вышло. Неудачница я! Но это уже не страшно, Боймъ. Ничтожная моя жизнь...

БОЙМЪ (разсѣянно).

Да, здѣсь скверно...

ЭВА

(смѣется, онъ вторить ей).

Какъ съ вами говорить? Вы заняты только собой. Но это хорошо,—мнѣ нравится. Пусть... сказать мнѣ больше нечего... но вотъ моя просьба, Боймъ. Когда будете ходить по этимъ площадямъ, залитымъ огнями, по этимъ роскошнымъ улицамъ, когда будете въ толпѣ счастливыхъ людей, вспомните, что гдѣ-то есть дѣвушка Эва, думаетъ о васъ и радуется за васъ. Общайтесь, Боймъ!

БОЙМЪ (съ жаромъ).

Я вспомню, непременно вспомню о васъ. Я подумаю: какъ жаль, что здѣсь нѣтъ Эвы. Я напишу вамъ.

ЭВА (грустно).

Нѣтъ, не пишите. Вы уѣдете, надо мной опустится ночь, и никто не разгонитъ моей тьмы. Будьте счастливы...

БОЙМЪ.

Что же мнѣ сказать вамъ на прощанье? Лучше всего было бы сыграть. Но уже поздно, скрипка уложена.

ЭВА.

Прощайте, прощайте...

БОЙМЪ.

Да, Эва. (Вдохнулъ легко) Хорошо, я уѣзжаю отъ васъ. Въ этой комнатѣ все родилось. Чего-то жалко. Вотъ тутъ я оставляю часть своей души. Моя тѣнь будетъ бродить здѣсь, когда меня не будетъ. (Молчаніе) Ну, пора!

(Входятъ Соня, Дина, дѣдъ, Беръ и Гланкъ въ пальто)

ГЛАНКЪ.

Весь дворъ собрался у воротъ. Я даже испугался. Думаю себѣ, что это, пожаръ? Гдѣ? У кого? И развѣ это невозможно? И что такое пожаръ? Одна спичка, одна неосторожность... (Добродушно смѣется) А это Боймъ уѣзжаетъ!

ДИНА.

Не говори такъ много, Гланкъ. Не весело, не свадьба.

БОЙМЪ (къ Беру).

Ну, ѣдемъ, Беръ. Прощайте, Дина.

БЕРЪ.

Чемоданъ и корзина уже на извозникѣ. (Выходить)

БОЙМЪ.

Прощайте, Гланкъ. Дина, улыбнитесь мнѣ.

ДИНА

Прощайте, Боймъ. Улыбнуться не могу.

БОЙМЪ.

Пусть такъ... вы правы. Я вамъ добра желаю. Дай вамъ Богъ смѣяться въ жизни.

ГЛАНКЪ.

Я хочу вамъ чѣмъ-нибудь помочь, Боймъ. И почему мнѣ вамъ не помочь? Что значить? Дайте мнѣ вашу скрипку, и я ее понесу. (Беретъ скрипку и выбѣгаетъ)

БОЙМЪ.

Прощайте, Соня. Дай Богъ вамъ счастья.

СОНЯ.

Не люблю я васъ... слѣпой вы человѣкъ, слѣпой.

БОЙМЪ (смѣясь).

А тамъ я стану зрячимъ, я все увижу. Я вамъ напишу, милая, гордая дѣвушка. Прощайте, Эва.

ЭВА.

Прощайте, Боймъ! Навсегда! Ну хорошо, хорошо.

БОЙМЪ.

А съ дѣдомъ! Вотъ кого я съ удовольствіемъ поцѣлую! (Цѣлуетъ его) Прощайте, дѣдушка.

ДѢДЪ.

Что? Прощай, прощай! Вотъ пріѣдешь, а я на кладбищѣ буду. Ихъ-и! Дай Богъ, дай Богъ. Хорошо мнѣ будетъ...

ДИНА.

Довольно, дѣдъ. (Всѣ выходятъ кромѣ дѣда и Эвы)
Вотъ вынеси это. (Даетъ ему столикъ) Хлѣбъ свой зар-
ботай, а не болтай! Ненужный! Живетъ... умереть не
могъ во время? (Къ Эвѣ) Куда ты идешь?

ЭВА.

Я хочу проводить его...

ДИНА.

Еще бы! Сейчасъ я пушу тебя. Надо, чтобы всѣ
видѣли, какъ ты плачешь.

ЭВА.

Я не заплачу, мать... не засмѣюсь больше и не за-
плачу. Пусти меня.

ДИНА.

Нѣтъ! Здѣсь сиди. Не заплачу! Показала бы тебѣ,
какъ плакать. Слава Богу, уѣхалъ Боймъ. Теперь я
поговорю съ тобой.

ЭВА.

Что ни скажешь мать,—все равно. Что меня теперь
можетъ тронуть? И развѣ я не хуже камня, не меньше
камня? Дай мнѣ только посмотрѣть еще разъ... (Бро-
сается къ окну)

ДИНА

(поймала ее).

Нѣтъ, нѣтъ, ни къ окну, ни къ дверямъ. Вотъ тутъ
стой. Стой, я тебѣ говорю. Я тебя сломаю... подожди!

ЭВА

(съ ужасомъ смотритъ на нее; холодно).

Что ни скажешь, мать, уже не страшно, уже не бо-
юсь... Держи меня, держи! Смотрю на тебя и думаю:

почему я тебя боялась? Кого я боялась? А вѣдь чуть уже не погибла. (Отступаетъ отъ нея) Ты мать? Ты мать? Нѣтъ, ты не мать!

ДИНА.

Я холодна, Эва. Кричи! Я стою выше, смотрю выше. Надъ всѣмъ я поднялась и гляжу кругомъ. Радости, печали, любовь,—что они, когда нечѣмъ жить, когда нѣтъ дыханія? Мертвецъ полюбилъ мертвеца... Я смѣюсь!

ЭВА

(затыкаетъ уши).

А я не хочу тебя больше слушать. Опустилась ночь надо мной. Гдѣ ты? Что ты? Ничего нѣтъ! Одна я, одна...

ДИНА

(отнимаетъ ея руки отъ ушей).

Послушаешь! Я хочу! Я...

ЭВА (вырывается).

Не трогай меня... Я не хочу тебя бояться... я не боюсь тебя.

ДИНА.

Возьму тебя за косы и поташу изъ дома. Зарабатывай!

ЭВА.

Къ стѣнѣ ты меня толкаешь, мать! Но дальше стѣны, мать, некуда идти. А я сломаю себѣ голову! А я сломаю себѣ голову. Что меня удержитъ? Посмотри въ мою душу. Какое мнѣ дѣло до тебя, до твоего дома, до нищеты, когда въ душѣ ничего не осталось...

ДИНА.

А я смѣюсь!

ЭВА.

Смѣйся! Но не плачь надо мной, когда умру. Не оскверняй моего тѣла своими слезами. Не подходи ко мнѣ, или я тогда поднимусь и прокляну тебя. Ты мать? Ты! Нѣтъ, ты ужасъ человѣческій...

ДИНА.

Все это слова, красивыя слова! Выучилъ онъ тебя красивымъ словамъ... А дѣло, покажи дѣло! Полюбилъ онъ тебя? Дура, даже на это не была способна.

ЭВА.

Моимъ стыдомъ ты хочешь погрѣться! Никогда этого не будетъ, никогда!

ДИНА.

Твоимъ! Хочу, твоимъ... Размѣняю тебя всю на золото, на серебро и буду смѣяться. Дура! И Гланкъ будетъ смѣяться... И Соня будетъ смѣяться... Кругомъ будетъ тихо, тепло, уютно, а съ тебя будетъ сыпаться золото, серебро...

ЭВА.

Если бы и другія дѣвушки были такъ спокойны, какъ я!

ДИНА.

А какъ онѣ могутъ быть спокойны? Кто-то страшный, старшій надъ нами, стоитъ и приказываетъ... Онъ велитъ! Выйди-ка на улицу и посмотри... Тысячи бѣгаютъ, молятъ, зовутъ: одинъ хлѣбъ въ городѣ остался.

ЭВА.

Разскажи объ этомъ другимъ...

ДИНА.

Ну, такъ молчи. Сожмись и молчи. Какъ стрѣлу, пущу тебя. Куда полетишь, гдѣ упадешь?

(Входятъ Соня, Гланкъ и дѣдъ. Соня бросаетъ быстрый взглядъ на Эву)

ГЛАНКЪ.

Ну вотъ и уѣхалъ Боймъ. Какъ будто скучнѣе стало въ комнатѣ! Правда, Дина? (Снимаетъ пальто)

ДИНА

(прибираетъ въ комнатѣ).

Свѣтлѣ!

СОНЯ (монотонно).

Печальнѣе...

ГЛАНКЪ

(оглядываетъ стѣны).

Смотри-ка, сколько тутъ гвоздей на стѣнѣ! Диночка, подойди-ка сюда! Эва, гдѣ мой молоточекъ?

ДИНА.

Уже началъ, нашелъ свою работу... Не трогай гвоздей, пусть будутъ. Не твое дѣло!

СОНЯ

(съ уныніемъ).

Продолжается! (Къ Динѣ) Зачѣмъ ты на него кричишь?

ДИНА.

Такъ поцѣлуй его, прекраснаго отца своего. Поцѣлуй это ничтожество!

ГЛАНКЪ (смирненно).

Когда я зарабатывалъ четыре тысячи въ годъ, ты цѣловала меня. Тогда я былъ красивый, хорошій.

ДИНА.

Губы свои оторвала бы, когда вспомню. Тебя я цѣловала... посмотри-ка на себя!

ГЛАНКЪ (робко).

А я, Диночка, все думаю, какъ тебѣ угодить... что значить угодить? Угодить! Чтобы ты засмѣялась, чтобы ты веселое слово сказала. Ну, думай, когда ничего не выдумывается... Восемь лѣтъ тому назадъ, когда я зарабатывалъ по четыре тысячи въ годъ, ты умѣла смѣяться. И мнѣ даже ничего не нужно было дѣлать!..

ДИНА.

Потому что тогда ты былъ человѣкомъ, не крался по комнатамъ, какъ воръ, съ молоточкомъ въ рукахъ, потому что ты былъ нужнымъ. А теперь ты ненужный, никому не нужный, какъ всѣ вы. Развѣ вы люди, развѣ въ васъ горитъ огонь человѣка? На мою долю выпало будить мертвыхъ, сонныхъ, ничтожныхъ...

СОНЯ (устало).

Дай хоть передохнуть, мать. Подумай, цѣлый день ты мучаешь, цѣлый день. Вотъ Боймъ уѣхалъ. Что-то не весело, что-то скучно...

ДИНА.

Вотъ сяду и заплачу оттого, что Боймъ уѣхалъ. Ничтожные вы, ничтожные! Эва, принеси съ дѣдомъ столъ изъ столовой. Теперь нужно работать,—можетъ быть, станетъ веселѣе, уютнѣе.

(Эва выходитъ съ дѣдомъ. Гланкъ украдкой вертится подлѣ стѣны. Осматриваетъ гвозди, пробуетъ вырвать нѣкоторые. Замѣтивъ, что Дина слѣдитъ за нимъ, отбѣжалъ отъ стѣны)

ГЛАНКЪ.

Ничего, Диночка, я ничего...

ДИНА.

Не могутъ отсохнуть твои руки! Помоги мнѣ передвинуть кровать... (Эва вноситъ съ дѣдомъ столъ) А гдѣ скатерть, стулья? (Поставила кровать у другой стѣны. Гланкъ суется. Хочетъ чѣмъ-нибудь помочь) Садись гдѣ-нибудь, Гланкъ, ты мнѣ мѣшаешь. Вотъ и опять здѣсь хорошо, какъ въ прошломъ году. (Садится у стола)

ГЛАНКЪ

(сѣдъ возлѣ нея).

Да, хорошо, Диночка. (Невинно) А мнѣ, Диночка, чаю захотѣлось. Не знаю—почему... вдругъ захотѣлось.

ДИНА (холодно).

Гдѣ я чай возьму? Ядъ я могла бы тебѣ дать.

ГЛАНКЪ.

Ну не сердись. Такъ я сказалъ [и уже не сказалъ. Подумаешь, чаю я не видѣлъ, или не пилъ. Пустяки!

(Эва выходитъ. Дѣдъ сѣлъ на кровать. Заснулъ)

СОНЯ

(сѣла у стола).

Даже нельзя повѣрить, что здѣсь жилъ Боймъ. Уѣхалъ, и какъ будто его никогда не было, какъ будто и не жилъ. Теперь онъ уже далеко отъ города.

ГЛАНКЪ.

Навѣрно сидить, бѣдный, въ вагонѣ и скучаетъ. Или думаетъ о томъ, что мы теперь дѣлаемъ. Или развернулъ, бѣдный, корзинку и кушаетъ. Да, кушаетъ. Смотри-ка, Диночка, какъ будто и я немножко голоденъ... (Испугался ея взгляда) Нѣтъ, не голоденъ, я пошутить.

СОНЯ.

Нѣтъ, онъ скучаетъ. Сидить вотъ такъ, подперши голову, и грустно ему, какъ мнѣ. Вотъ такъ онъ смотритъ передъ собой и видитъ эту комнату: сейчасъ войдетъ Эва!

ДИНА

(съ досадой).

Можно перестать говорить о Боймѣ. Надоѣло уже его имя слушать. Боймъ, Боймъ! (къ мужу) Ты заработалъ что-нибудь, Гланкъ?

ГЛАНКЪ (увѣренно).

И гроша не принесъ. Что значить? Развѣ у меня есть товаръ на продажу? Или я продаю свои старыя ноги, которыя никому не нужны? Или вотъ эту бороду, которая всѣхъ пугаетъ? Лучше не спрашивать. Э, Дина, старику лучше умереть...

ДИНА.

Отчего же ты не умираешь? Будешь жить до старости, какъ дѣдъ? Хорошій отецъ и хорошій сынокъ! На твоемъ мѣстѣ подошла бы къ стѣнѣ и ударила бы о нее головой одинъ разъ и конецъ.

(Въ дверяхъ показывается Элька. Соня замѣтила ее)

СОНЯ.

Вотъ Элька! Войди. Что стала въ дверяхъ?

ДИНА (сердито).

Пришла уже? Слезы твои мнѣ нужны! Ее съ ума сводишь. Пошла вонъ!

ЭЛЬКА

(съ ужасомъ бѣжить къ дверямъ).

Что съ вами, Дина?

СОНЯ.

Элька! Останься здѣсь.

ДИНА.

Пошла вонъ отсюда! Ахъ ты, сумасшедшая! Заливаетъ домъ мой слезами. Я ждала только, пусть она придетъ. Гдѣ-то набираетъ слезы, а сюда приносить.

СОНЯ (встаетъ).

Элька! Я говорю, останься.

ГЛАНКЪ

(начинаетъ бѣгать отъ одной къ другой).

Къ чему ссориться? И что такое ссоры? Тебя я прошу, Дина, и тебя прошу, Соня, и тебя, Элька. Ты хорошая дѣвушка... Уйди съ Богомъ. Ты вѣдь видишь, что тутъ? Здѣсь больные люди...

СОНЯ.

Почему же она вмѣшивается? Почему она жить не даетъ?..

ДИНА.

Если бы уже видѣла себя въ землѣ! (Вдругъ, къ Элькѣ) Смотри, Элька, жизнь. Тебѣ я пожалуюсь. Я поднимаюсь высоко, я вижу все. Мой мозгъ горитъ... А они...

съ кѣмъ я живу? Кто эти люди? Ничтожество! Одно ничтожество, другое, третье. Могильные люди, вялые мозги, лѣнныя сердца...

ГЛАНКЪ (испуганно).

Теперь я боюсь тебя, Диночка! Я прошу тебя, перестань! Соня, я ея боюсь.

СОНЯ

(въ отчаяніи).

Иди, Элька. Ты видишь... Зачѣмъ слова? Зачѣмъ жалобы?

ЭЛКА.

Я ухожу... я боюсь васъ, Дина... Черезъ мѣсяць у Арна свадьба. Вы кричите, бабушка плачетъ... И что въ моей головѣ, что въ моей головѣ? (Уходитъ)

СОНЯ.

Черезъ мѣсяць у Арна свадьба... Что, мать? Все хорошо, все отлично.

(Сидятъ мрачно)

ГЛАНКЪ.

А я хотѣлъ сказать, что голоденъ, все-таки голоденъ. (Испуганно) Таки не очень голоденъ, Диночка, но что-то кушать хочется.

ДИНА.

Разскажи стѣнѣ объ этомъ.

ГЛАНКЪ.

Не понимаю, что случилось? Прежде каждый день былъ обѣдъ и ужинъ. Куда это дѣвалось? Чай былъ—когда захочешь. И весело во всѣхъ углахъ. Что значить—весело? Таки весело!

ДИНА

(въ гнѣвѣ).

Прошу тебя, Гланкъ, не мучь меня. Поговори со стѣнами... не спрашивай у меня. Заснешь безъ ужина...

ГЛАНКЪ.

Я таки ничего не говорю. Если нѣтъ ужина, такъ это значить, что нѣтъ ужина, и ты знаешь—почему. Человѣкъ хочетъ ѣсть. Ну такъ онъ хочетъ. Перехочется... Что такое хлѣбъ? Хлѣбъ—это хлѣбъ. Хотѣлъ бы только знать, почему нѣтъ хлѣба? Я вѣдь и прежде не зарабатывалъ. Правда, Диночка? Что же это значить? Если я прежде не зарабатывалъ и былъ ужинъ и былъ обѣдъ, то почему этого нѣтъ теперь? Или оно не должно было раньше быть, или должно быть и теперь. Ставится вопросъ: что же это значить?

ДИНА.

Не мучь головы, не придумашь. И прошу тебя, Гланкъ, не говори мнѣ: кипить во мнѣ все, черезъ край переливается мой гнѣвъ. Сожми губы и сиди тихо. Дыханія твоего пусть не слышу.

ГЛАНКЪ

(робко поднялся).

Такъ я закрылъ ротъ. Уже. Нѣтъ дыханія моего, нѣтъ словъ. Диночка, такъ въ самомъ дѣлѣ мы не будемъ ужинать?

СОНЯ (мрачно).

Оставь ее, отецъ.

ГЛАНКЪ.

Уже, уже! Уже не голоденъ, уже не хочу кушать, уже молчу.

ДИНА.

Ты тоже молчи, Соня! Черезъ край переливается мой гнѣвъ. (Отвернулась отъ нея; къ Гланку) Всѣ спрашиваютъ у меня... Почему у меня? Ты думаешь, что это съ неба падало? Такъ ты думалъ? Сталъ Господь надъ нами и щедрой рукой наливалъ супъ въ тарелки, чай въ чашки... Ничтожество!..

ГЛАНКЪ.

Я таки маленькій, Диночка, да, да, я маленькій... Но пусть будетъ тихо...

СОНЯ

(къ матери).

Ну довольно... Остановись, мать...

(Въ дверяхъ показывается Эва)

ГЛАНКЪ (къ Динѣ).

Я прошу тебя, Диночка. Я уже сытъ, я уже не голоденъ. (Вереть ее за руку)

ДИНА

(вырываетъ руку).

Уйди отъ меня! Я задыхаюсь! Передъ всѣми быть виновной и никого не имѣть въ своихъ рукахъ. Тащить корабли по землѣ, тащить телѣги по водѣ — вотъ мое дѣло. Не хочу больше. Или на колѣни упадите, и я замолчу. Нѣтъ? Нѣтъ! (Съ ироніей) Ты хочешь ужинать, Гланкъ? Я тоже... Станемъ на колѣни передъ Соней... будемъ просить ее: ступай, Сонечка, тебя ждутъ! Принесешь золото, серебро, и будетъ ужинъ.

СОНЯ

(съ ужасомъ).

Мать, мать, замолчи!

ГЛАНКЪ (ошеломленный).

Какъ ты сказала, Дина? (Схватилъ ее за руку. Дрожить) Диночка, что же ты сказала? Какъ? Соня? Моя Соня? Моя корона? (Вскрикнулъ)

ДИНА.

Будемъ просить ее: Сонечка, Сонечка!

(Э ва вскрикнула. Бросилась къ Сонѣ)

ЭВА.

Соня! Ты... Это правда? Нѣтъ, это неправда! Сонечка, что же ты сдѣлала?

(Дѣдъ вскакиваетъ и озирается съ ужасомъ)

ГЛАНКЪ

(подбѣжалъ къ Сонѣ и обнимаетъ ее).

Сонечка! Что? Гордая моя, корона моя... (Бьетъ себя въ голову) Сердце, разорвись! Не могу я этого перенести. Сонечка! (Падаетъ передъ ней) Я ѣлъ твой хлѣбъ, твой хлѣбъ. Убей меня,—убейте меня,—зачѣмъ я живу?..

СОНЯ (плачетъ).

Отецъ, что же ты дѣлаешь? Бѣдный мой, дорогой мой!..

ДИНА.

Молчать! Зачѣмъ слезы? (Съ презрѣніемъ къ мужу) Ты плачешь? Когда ты былъ человѣкомъ? Встань съ колѣнъ! Встань съ колѣнъ! Посмотри на меня... Я говорю: это не страшно. Жизнь велитъ: нагнись! Нагнемся, пополземъ на колѣняхъ. Посмотри, Гланкъ: насъ маленькая кучка... Весь міръ идетъ на насъ. Выставимъ противъ него нашъ мечъ, мечъ хитрости выставимъ противъ него... Звѣри насъ окружили. Встрѣтимъ ихъ... взглянемъ на нихъ прямо и посмѣемся. Они кричатъ: у васъ есть правда, от-

дайте намъ правду!—Отдадимъ имъ правду. У васъ есть Соня, отдайте намъ Соню!—Отдадимъ ее. Они кричатъ: у васъ есть Эва, отдайте намъ Эву.—Отдадимъ ее! Отдадимъ имъ все, все; но зато купимъ жизнь! Встанъ же съ колѣнъ, Гланкъ, встанъ!

(Гланкъ и Соня плачутъ)

ЭВА

(подошла къ матери).

Поговорила! Сдѣлала? Закружила! А ты не знаешь, что пришелъ нашъ конецъ? (На мигъ въ ужасѣ отступаетъ отъ нея) Кто ты? Кто ты? Дай мнѣ посмотрѣть въ твои глаза! Кто ты? Ты продала Соню! Соню! Гордую Соню! Никто не зналъ... Облитый кровавыми слезами и стыдомъ хлѣбъ мы ѣли, а ты молчала. И ты не сказала намъ! Кто же ты? И меня ты гонишь туда же... Кто же ты, кто ты? (Удивленная) И тебя я боялась? (Наступаетъ на нее)

ДИНА.

Возьмите ее отъ меня! Она съ ума сошла!

ЭВА

(въ забытьѣ).

Я еще спрошу тебя... но, все равно. Пришелъ нашъ конецъ. Не живи! Исчезни! Пусть люди забудутъ твое лицо, пусть не вспомнятъ, что жилъ на свѣтѣ звѣрь и звали его Диной. Умри!

СОНЯ

(съ крикомъ).

Оставь ее, Эва! Смотри, что она дѣлаетъ! Отецъ, я прощаю ей все, все! Мать, вотъ я плачу, но не плачусь на тебя! Я прощаю...

ГЛАНКЪ (плачетъ).

Что же мнѣ дѣлать? Эва, Сонечка, мои дѣточки,
мои радости...

ДИНА

(держитъ Эву за руки).

Я свяжу тебя, я побью тебя. На колѣняхъ будешь
ползать передо мной. Голову твою нагну и ткну ее въ
грязь.

ЭВА (умоляетъ).

Не живи... Прошу тебя. Тебѣ лучше не жить. Нѣтъ,
нѣтъ! Кто же ты, кто ты? (Быстро вырывается у нея изъ
рукъ. Схватила ножъ со стола и замахнулась на нее)

ДИНА (въ ужасѣ).

Держите ее, держите! (Дѣдъ крикнулъ)

ЭВА

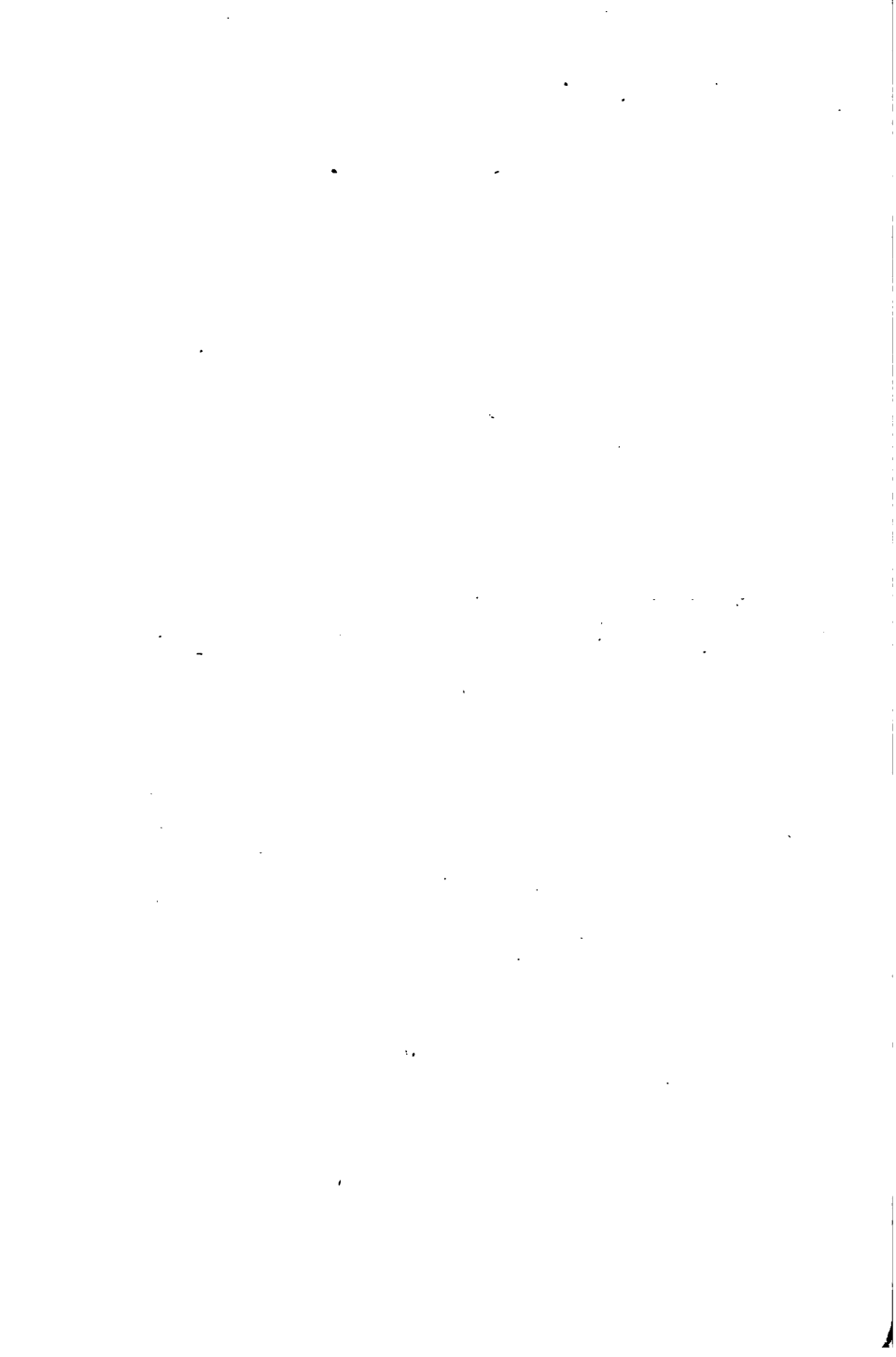
(бросаетъ ножъ на полъ).

Что я сдѣлала? Что я хотѣла сдѣлать! (Падаетъ на
стулъ у стола) Соня, Соня... (Страстно рыдаетъ)

Занавѣсъ.

С. Юшкевичъ. Въ городъ.

ДѢЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.



Неправильной формы компата. Окно на улицу, окно во дворъ. Ставни заперты. Одна дверь. Комната раздѣляется занавѣсью на двѣ половины. Обстановка второго дѣйствія. Не хватаетъ комода и двухъ кресель. Вечеръ. Дѣдъ сидитъ въ углу. Дремлетъ. Соня ходитъ по комнатѣ. Держитъ ребенка въ рукахъ. Ей тѣсно въ комнатѣ, гдѣ ей ходить неудобно. Натывается на стѣны, на стулья.

Дина сидитъ на кушеткѣ и мрачно слѣдитъ за ней.

СОНЯ.

Что ты все жалуешься, дорогой мой? Никто не долженъ знать, что ты родился... (Цѣлуетъ ребенка) Любовь моя!..

ДИНА (хмуро).

Еще не довольно, Соня? Надъ кѣмъ? Надъ кусочкомъ мяса!

СОНЯ.

Я такъ люблю его... и дрожу вся. Вотъ за эти глазки хочется жизнь отдать. Любовь моя!.. Дорогой мой! (къ матери) Съ горы все катится зло, а гдѣ мое добро? Заснуло оно... Спитъ мое счастье, и никто не хочетъ разбудить его...

ДИНА (мрачно).

А я говорю: довольно! Положи его. Сейчасъ положи... Не отвѣчай мнѣ, не плачь... Четыре мѣсяца мучить насъ это проклятіе. Посмотри, что стало съ нами, гдѣ мы живемъ! Въ моей кухнѣ было веселѣе, красивѣе,

свѣтлѣе, чѣмъ здѣсь. И изъ-за кого? Изъ-за него! Все погубило изъ-за этого кусочка тѣла...

СОНЯ.

Нѣтъ, нѣтъ, мать. Онъ не виноватъ,—я виновата, я! Кому онъ можетъ сдѣлать зло? Не проклинай его! Его? Не проклинай! Когда онъ плачетъ или лежитъ тихо и когда онъ спитъ, все одна забота томить меня: о немъ. И когда я цѣлую его или пеленаю, такая радость душитъ меня, что еще готова терпѣть и страдать, лишь бы ему было хорошо. И когда онъ поднимаетъ глазки, я умираю, я умираю...

ДИНА (отвернулась).

Я ненавижу его...

СОНЯ

(съ мольбой).

Посмотри на него! Мать, онъ родился, и вотъ я стала добрѣе. Милосердіе растетъ во мнѣ, когда я посмотрю на него... и руки дрожатъ отъ счастья, и глаза не видятъ изъ-за слезъ. (Подноситъ ей ребенка) Возьми его, возьми его...

ДИНА

(съ гнѣвомъ).

Прими его отъ моихъ глазъ...

СОНЯ

(отошла; покорно).

Ну нѣтъ, нѣтъ. Я не спорю, я молчу. Я все вижу и согласна. Да, да, ты права. Ты несешь правду, ты знаешь ее. Мать, но еще день... подари мнѣ еще одинъ день...

ДИНА.

Я подарила тебѣ цѣлую недѣлю. Зачѣмъ? Скоро девять часовъ, и я пойду за Машки. Все кончится, и мы поднимемъ голову.

СОНЯ (задрожала).

Сегодня? Сейчасъ! Мать, не надо! Не надо... Можетъ быть, завтра, ну хоть эту ночь.

ДИНА.

Нѣтъ, нѣтъ. Даже не говори.

СОНЯ

(съ мольбой).

Еще эту ночь. Я положу его у своей груди и поплачу; мнѣ будетъ хорошо: я подумаю, что прошли уже годы, что онъ уже выросъ, и я отпущу его. Я расскажу ему, какъ люблю его и какъ болитъ вотъ здѣсь, вотъ здѣсь... Наберусь силъ у него... (Плачетъ)

ДИНА (прислушивается).

Перестань плакать. Кто-то пришелъ къ намъ.

(Слышны шаги. Соня быстро уходитъ за перегородку. Входитъ Беръ)

БЕРЪ.

Добрый вечеръ, Дина. Показалось мнѣ, что здѣсь плакали.

ДИНА.

Кто здѣсь можетъ плакать? Можетъ быть, у сосѣдей?

БЕРЪ (садится).

Можетъ быть, у сосѣдей... А гдѣ Гланкъ?

ДИНА.

Спать. Набѣгался за день. Надо было кое-что изъ вещей продать. Спать Гланкъ.

БЕРЪ

(глядитъ на заавѣсь).

А Соня все нездорова? Хотѣлъ бы посмотрѣть на нее, а нельзя. Скучаю я по Сонѣ. (Громко) Добрый вечеръ, Соня! Я принесъ тебѣ хорошія вѣсти: скоро уже будетъ хорошо...

СОНЯ

(за занавѣсью).

Добрый вечеръ, Беръ. Я рада, что вы пришли.

БЕРЪ.

Какъ твое здоровье? Поправляешься?

СОНЯ

(послѣ молчанія).

Да! Мнѣ лучше.

ДИНА.

Она завтра встанетъ, и мы пойдемъ искать новую квартиру.

БЕРЪ.

Здѣсь таки нехорошо. (Качаетъ головой) Приду и дверями путаюсь. Все вспоминаю прежнюю.

ДИНА (вздыхаетъ).

Тамъ было хорошо. Даже о Боймѣ теперь жалѣю, когда вспомню.

БЕРЪ (задумчиво).

Боймъ... Гдѣ-то онъ теперъ? И Эва еще жила... Что

то другое тамъ было, Дина! И всего четыре мѣсяца назадъ.

СОНЯ.

Не вспоминайте Эву, Беръ... вотъ я сейчасъ заплачу.

ДИНА (сурово).

А я забыла о ней. Некогда мнѣ помнить.

СОНЯ.

Подумаю объ Эвѣ—и вспомню мою бѣдную Эльку. Ахъ, Беръ! Тотъ домъ былъ несчастный: Элька умерла, Эва зарѣзалась, я потеряла все, все... (Слышно, какъ она плачетъ)

БЕРЪ (ласково).

Не надо, Соня. Зачѣмъ? Не надо...

ДИНА.

Опять слезы? Довольно слезъ. Посмотри на меня. Гдѣ мои слезы? Что-то въ груди кричить,—я не слушаю: кричи! Что-то въ груди плачетъ,—я не слушаю: плачь!

БЕРЪ (примириительно).

Ну будетъ тебѣ, Дина, будетъ. Вотъ ты уже и кричишь.

СОНЯ.

Я плачу! Кто можетъ съ тобой сравниться, мать?

ДИНА.

Сравнись! Вырѣжь свое сердце и сравнись. Или лечь на землю и ползти, какъ червь? Такъ ты хочешь?

БЕРЪ (тихо).

Какъ человѣкъ...

ДИНА (нетерпѣливо).

А я не хочу! Беръ, когда живой тонетъ, надо перестать говорить... Въ огнѣ сердца нужно сжечь всѣ слова, всѣ слова...

БЕРЪ (неохотно).

Всегда ты споришь со мной. Что тебѣ отвѣтить? (Задумался) Ну вотъ, Дина, посмотри сюда. Стоитъ дерево! Вѣтвистое зеленое дерево, высокое, большое. Изъ земли оно вышло. А теперь посмотри сюда, навѣрхъ... На деревѣ сидитъ птица и поетъ. Да, поетъ! Почему же она поетъ, Дина? И почему дерево зеленое и цвѣтетъ? (Ласково улыбается. Дина молчитъ. Отвернулась)

СОНЯ.

Почему, Беръ, почему?

БЕРЪ.

А кто похвалитъ все, что есть здѣсь, внизу, Соня? Кто, Дина? Поетъ птица, какъ дерево растетъ; растетъ дерево, какъ дождь падаетъ; и дождь падаетъ, какъ звѣрь бѣжитъ. Всѣ хвалятъ, всѣ радуются. Но человѣкъ вѣдь выше? Что же? Что это? Это значитъ: вотъ скверно, но будетъ хорошо, но должно быть хорошо. Птица говоритъ, что будетъ хорошо, и звѣрь, что бѣжитъ, говоритъ, что будетъ хорошо. Такъ должно быть здѣсь, внизу... И человѣкъ не повѣритъ! Вслушайся! Гдѣ-то уже стучать, хорошо стучать. Слышишь? Гдѣ-то уже говорить, хорошо говорить. Слышишь? Радуйся же!..

СОНЯ (печально).

Когда вы говорите объ этомъ, Беръ, еще сильнѣе чувствуешь, что Эва зарѣзалась. Не вынесла, Беръ, она этой жизни, не могла подождать, и, какъ козле-

почекъ, легла, обливаясь кровью... А вѣдь она звѣздой
сіяла надъ здѣшной грязью.

ДИНА (нетерпѣливо).

Не хочу тебя слушать, Беръ. Кто ты? Вѣстникъ радости или посланникъ Божій, которому я должна вѣрить? Или самъ Богъ, который рождаетъ радости и даритъ ихъ? А вотъ почему я должна теперь сидѣть здѣсь? Ты знаешь? Неправда, не знаешь. Эва зарѣзалась! Я берегла ее, и все же она зарѣзалась... Почему? Ты это знаешь? Все я должна смиренно опустить голову и не бороться?

БЕРЪ.

Борись... непременно борись, но честно, Дина. Самое главное—честно!..

(Дѣдъ просыпается и старается разслышать, что говорятъ)

ДИНА.

Съ кѣмъ? Кто нашъ врагъ? Ты, вы, они? Развѣ я знаю? И почему—честно? Что такое—честно? Кому я поклялась быть честной? Меня бьютъ,—кому я поклялась молчать на удары? А если хочу вырвать глаза вотъ этому, котораго не вижу?

БЕРЪ.

Ты не можешь, Дина, ты не смѣешь.

ДИНА.

Почему? Я вырву оба глаза. Я вырву десять, если глазъ будетъ десять. Я хочу жить, я хочу дышать. Я хочу видѣть... Вотъ солнце,—это мое солнце! Вотъ золото,—это мое золото!

БЕРЪ (тихо).

Неправда.

ДИНА.

Правда. Я могу... я все могу... Честность, справедливость! Не хочу знать ихъ! Что такое справедливость? Чья справедливость? Или призвали меня и сказали: согласись, Дина, чтобы мы мучили тебя, портили твою жизнь, держали въ цѣпяхъ, какъ звѣря, Беръ, какъ звѣря... а ты, Дина, обѣщай намъ терпѣть,—и это будетъ справедливостью? Не призывали,—такъ не говори, Беръ. А если бы призвали? Кто надо мною самый старшій въ мірѣ? Я старшій! Я крикнула бы имъ: убійцы, лицемеры! Я буду дѣлать такъ, какъ дѣлаете вы, ибо, какъ вы, хочу жить.

БЕРЪ.

Ты говоришь, какъ говорилъ бы дикій звѣрь, если бы зналъ слова.

ДИНА.

А почему мнѣ говорить, какъ человѣкъ, Беръ? Кто меня этому училъ? И развѣ человѣкъ лучше, и человѣческое выше? И что такое наше человѣческое, Беръ, спрошу тебя? Быть хитрымъ, не говорить, а лаять другъ на друга, всегда проклипать и завидовать, быть жестокимъ, жестокимъ, жестокимъ—развѣ это не человѣческое, что мы знаемъ? Не учи меня, Беръ! Наша справедливость?.. Топчу ее ногами! Честность? Плюю на нее! Моя выгода — вотъ честность! Моя польза — вотъ справедливость!..

(Молчаніе)

БЕРЪ (спокойно).

Да, Дина! Вотъ течетъ рѣка въ городѣ, а черезъ рѣку переброшенъ мостъ... Встрѣчались тамъ люди на

мосту, и такіе, и другіе... Но вотъ буря снесла мостъ. Стоять люди по обѣимъ сторонамъ рѣки и не могутъ уже понимать другъ друга. Они протягиваютъ еще руки одинъ другому, они кланяются, вздыхаютъ, но моста все-таки уже нѣтъ. И кто его вновь выстроить, Дина? Ты была, Дина, когда-то хорошей, скромной дѣвушкой. Посмотри, гдѣ уже ты? Упалъ мостъ... Я стою и смотрю на тебя съ той стороны. Я кричу тебѣ черезъ рѣку: слушай меня, Дина, вслушайся! Напрасно: ты не можешь услышать...

СОНЯ

(протягиваетъ къ матери руки изъ-за занавѣси).

Мать, мать, я прошу тебя...

ДИНА.

Оставь меня, Беръ. (Беръ встаетъ и идетъ къ ней) Все вѣдь во мнѣ, и со мной умретъ. Какое мнѣ дѣло? Мнѣ некогда ждать. Все отъ жизни мнѣ нужно сейчасъ.

БЕРЪ.

Все ты, ты? Что такое ты? Что такое человѣкъ, одинъ человѣкъ?

(Въ раздумьѣ смотритъ передъ собой. Дѣдъ подходитъ къ Динѣ и беретъ ее за руку)

ДИНА (испуганно).

Тебѣ что?

ДѢДЪ (медленно).

Я хотѣлъ сказать, Дина... Ихъ-и! (Смѣется)

ДИНА

(съ гнѣвомъ).

Тебѣ какое дѣло? Зачѣмъ вмѣшиваешься?

ДѢДЪ.

Что? а? (Улыбается)

ДИНА (отступаетъ).

Когда отъ тебя избавлюсь? Сѣлъ на мои плечи, и двадцать лѣтъ не слѣзаетъ съ нихъ.

ДѢДЪ (смѣется).

Да, ихъ-и! Вотъ, Дина, какъ это у насъ было... Вотъ, Дина, отецъ мой...

ДИНА

(разозлилась, кричитъ).

Я тебѣ говорю, что ты двадцать лѣтъ сидишь на моихъ плечахъ и не слѣзаетъ. Слышишь? (Трясетъ его) Слышишь?

ДѢДЪ.

Ну что ты, что ты, Дина!

СОНЯ

(изъ-за занавѣси).

Зачѣмъ ты, мать, на дѣда кричишь?

ДИНА.

Не твое дѣло. (Къ дѣду) Жить ты никому не даешь, ненужный... кормлю тебя, молчи.

БЕРЪ.

Я знаю, почему ты кричишь, Дина. Я здѣсь,—на меня излей гнѣвъ свой.

ДѢДЪ (жестикулируетъ).

Развѣ я тебя трогаю, Дина? Вотъ сидѣлъ, отца вспомнилъ, хотѣлъ я тебѣ рассказать... Я никого не

трогаю, Дина... Ихъ-и! Сижу, сплю. А когда не сплю, шепчу: Господи, возьми меня! И не кушаю я много, птица кушаетъ больше. И мѣста не занимаю,—сплю на полу...

ДИНА (растерянно).

Что же вы всѣ напали на меня? (Оглядывается) Чего же вы хотите? (Вдругъ, дѣду, съ крикомъ) А умереть не можешь? Не можешь растянуться на полу такъ, чтобы тебя унесли на кладбище? Не можешь? Говори!

ДѢДЪ

(отъ испуга начинаетъ трястись).

Чего ты хочешь отъ меня, Дина? Что же я сказалъ? А когда не умираю? А когда Богъ не хочетъ прибрать меня?

ДИНА.

Не хочу знать. Сдѣлай, чтобы прибралъ.

СОНЯ (умоляетъ).

Перестань, мать. Я начну кричать, вотъ начну плакать.

ДѢДЪ.

Замучила ты меня, Дина. Каждый день мучаешь, а я что могу сдѣлать? Я старый! За что? Комнату боюсь перейти. Ну, я старый, ничего уже не знаю. Молиться забылъ, и вижу плохо. Развѣ я виноватъ, что живу долго? Ну, а если я не могу умереть? Что мнѣ дѣлать? (Заплакалъ) Не могу я умереть... Прошу Бога, не хочетъ!.. А тебѣ стыдно, Дина. Пусть Богъ проститъ, что мучишь старика. Сама будешь старой, вспомнишь меня.

ВЕРЬ.

Тебѣ стыдно, Дина... я вижу, тебѣ стыдно.

ДИНА.

Не смягчишь меня. Слезы я видѣла. (Къ дѣду) Къ сыну ступай, къ сыну!..

БЕРЪ.

Нѣтъ, не могу я этого видѣть. Что съ тобой стало, Дина? До чего ты себя довела? И это та Дина, та дѣвushка!.. Тяжело мнѣ бывать у тебя. Богъ съ тобой!

ДИНА.

И не ходи, и не нужно. Видѣла я людей, и такихъ, и другихъ,—знаю ихъ. Обойдемся безъ людей.

ДѢДЪ

(со страхомъ подходитъ къ Динѣ).

Ты уже не сердишься на меня? Не сердись. Вотъ, Богъ дастъ, можетъ быть, скоро умру. Ну что такое я? Старая собака на дворѣ. Ну дай старой собакѣ околѣть. Не бей ее, не выгоняй ее.

ДИНА.

Ступай, ступай. Двадцать лѣтъ моихъ не прощу тебѣ.

БЕРЪ.

Прощай, Соня. Скажи отцу, чтобы зашелъ ко мнѣ. Какъ нехорошо тутъ у васъ!

СОНЯ

(изъ-за занавѣси).

А я привыкла... не оставляйте меня только. Вотъ скверно, хуже и быть не можетъ, а есть еще маленькая радость: придетъ Беръ, съ отцомъ посидить, съ дѣдомъ поговорить, и мнѣ легче. Не оставляйте насъ, Беръ.

БЕРЪ.

Не знаю, Соня... Посмотрю.

ДИНА (къ дѣду).

Ступай, дѣдъ, въ ту комнату, и тамъ сиди. Не выходи, пока не позову, слышишь?

ДѢДЪ.

Что? Ну хорошо, Дина, хорошо. (Выходить съ Беромъ)

СОНЯ.

Беръ, дайте слово. Я не буду спокойна.

ДИНА (передразниваетъ).

Беръ, Беръ! Ушелъ Беръ.

СОНЯ (выходить).

Ушелъ? Какъ жаль! Былъ одинъ хорошій человекъ, и его ты прогнала.

ДИНА.

Хотѣла и прогнала. (Гдѣ-то бьетъ девять часовъ. Прислушалась) Девять часовъ. Пойду за Машки. (Надѣваетъ пальто)

СОНЯ

(съ мольбой.)

Мать, мать, можетъ быть, завтра утромъ? Одну ночь я прошу у тебя. Всю ты меня сломала. Всю ты меня уничтожила. И бороться я не могу съ тобой, и словъ у меня нѣтъ. Пожалѣй меня!..

ДИНА (холодно).

Не трогай меня! (Одѣвается)

СОНЯ

(падаетъ передъ ней).

Пожалѣй меня. Ты вѣдь мать моя... но ты вѣдь мать моя. Твои руки я цѣлую, твои ноги обнимаю.

ДИНА.

Не поможетъ, Соня. И даже мнѣ не помогло бы, если бы у себя просила. Не тебя я ломаю, а судьбу нашу. (Хочетъ уйти)

СОНЯ

(держитъ ее).

Не хочешь посмотрѣть на меня? Такъ къ голосу моему прислушайся, обними душой жизнь мою. Во всемъ я покорялась тебѣ,—къ чему это привело? Я была гордой и уже не гордая. (Плачетъ) Почему я живу? Эва могла зарѣзаться. Почему я не могу? Не могу я разстаться съ этой проклятой жизнью! (Путаешь) Куда ты ведешь меня, мать?.. Вотъ ты отняла мою чистоту, потомъ мою любовь, потомъ моего ребенка... Будетъ ли здѣсь конецъ? Ну отдай же мнѣ его, подари мнѣ его...

ДИНА.

Пусти меня. Слышишь? Сейчасъ пусти! (Вырвалась и уходитъ)

СОНЯ.

Мать, мать!..

(Стоитъ на колѣняхъ и растерянно озирается. Медленно поднялась и ушла за перегородку. Вынесла ребенка. Съла. Смотритъ на него, тихо плачетъ. Цѣлуетъ его. Входитъ Гланкъ. Онъ въ жилеткѣ, безъ воротника. Лицо заспанное, борода спутана. Прежде чѣмъ выйти, робко заглядываетъ въ комнату)

ГЛАНКЪ.

Вотъ я и выспался. Что значить—выспался, и кто мнѣ велѣлъ? Самъ себѣ велѣлъ. (Зѣваетъ) Что же я ночью буду дѣлать? На стѣны лѣзть? Живешь, какъ сумасшедшій, день мѣняешь на ночь, ночь на день... Гдѣ мать, Соня?

СОНЯ

(перестала плакать).

Здѣсь, во дворѣ. Сейчасъ придетъ.

ГЛАНКЪ (садится).

Пусть будетъ: сейчасъ придетъ. (Зѣваетъ) И какіе сны мнѣ снятся! Что-то никогда такихъ сновъ не было. Какіе-то черти... бѣшенныя собаки за мной гонятся... (Вздыхаетъ) Даже во снѣ нехорошо, Соня. Почему такъ нехорошо?

СОНЯ (тихо).

Не знаю. И кто знаетъ?

ГЛАНКЪ.

Никто не знаетъ. (Зѣваетъ) Хоть бы Беръ пришелъ.

СОНЯ.

Беръ былъ и ушелъ.

ГЛАНКЪ.

Былъ? Когда? Отчего же ты меня не разбудила? Что я теперь буду дѣлать? Длинный вечеръ, длинная ночь... (Встаетъ, зѣваетъ) Что мнѣ дѣлать? (Подходить къ окну и открываетъ ставень) На улицѣ темно. Свѣтятся огоньки въ окнахъ. И почему, Соня, когда ночью я вижу огоньки въ окнахъ, мнѣ кажется, что тамъ хорошо? Хорошо. Что значить—хорошо? Хорошо—это таки хорошо, но что значить „это“ хорошо? Если оно такое,

отъ котораго люди смѣются, такъ отчего же мнѣ грустно? Если же отъ него грустно, то какое же это хорошо? Ставится вопросъ: что же это значить? (Стоять въ недоумѣніи)

соня.

Не мучь меня. Мнѣ и слушать не хочется, и плачется, когда ты говоришь.

ГЛАНКЪ

(закрылъ ставень).

Такъ я что-нибудь другое скажу. Уже забылъ, уже не помню, уже думаю о другомъ. (Таинственно) Вотъ, Сонечка, когда матери нѣтъ дома, я какъ будто бодрѣе. Что значить—бодрѣе? Это значить, что я никого не боюсь. Захочу и прыгну. Прыгну? Что значить—прыгну? Развѣ это уже веселость? Если веселость значить прыгнуть, такъ отчего же не всѣ веселые прыгаютъ? Или если кто-нибудь прыгнулъ, значить, онъ уже веселъ? Ставится вопросъ: что же это значить?

соня.

Подойди сюда, отецъ. Посмотри хоть на моего ребенка.

ГЛАНКЪ.

Таки не хочется, но подойду. И почему мнѣ не подойти, если Дина не видитъ? (Идетъ къ ней, замѣтилъ на стѣнѣ гвоздикъ) Посмотри-ка, Сонечка, гвоздикъ!.. Гдѣ мой молоточекъ? (Подходить къ стѣнѣ. Задумчиво) Когда я вбиваю гвоздикъ въ стѣну или въ стулъ, или куданибудь, мнѣ кажется, что я уничтожилъ какое-то зло. Будетъ меньше однимъ зломъ на землѣ. Гдѣ же мой молоточекъ? Когда Эва жила...

СОНЯ

(съ жалостливымъ упрекомъ).

Ну вотъ ты объ Эвѣ заговорилъ...

ГЛАНКЪ.

Уже не говорю, уже пересталъ... Вотъ у меня слезы потекли изъ глазъ. Не могу, Соня, ея имени вспомнить. Стоитъ она передо мной, какъ живая. (Вдругъ) Эва, Эва, почему ты убила себя? Почему?

СОНЯ.

Можетъ быть, это было лучшее, что она могла сдѣлать?

ГЛАНКЪ.

Стало скучно на землѣ безъ Эвы. (Повторяетъ) Стало скучно на землѣ безъ Эвы...

СОНЯ

(подошла къ нему).

Хоть ты перестань, отецъ. Вотъ мой ребенокъ. Посмотри на него. Какіе у него глазки! Запомни его. Поцѣлуй его...

(Плачетъ. Оба садятся. Гланкъ гладитъ ея голову)

ГЛАНКЪ

(смотреть на ребенка; задумчиво).

И вотъ я уже дѣдушка! Какъ это вышло? Свадьбы не было, радости не было, а я дѣдушка. (Цѣлуетъ ребенка, щекочетъ его пальцемъ у подбородка) Что такое дѣдушка, а, мальчикъ? Дѣдушка значитъ дѣдушка, которому не стыдно. Думаешь, стыдно? Не стыдно, нѣтъ, нѣтъ!

СОНЯ (мрачно).

А я должна съ нимъ разстаться. Это я, (указываетъ

на ребенка) и себя я должна выбросить. Почему? Такъ хочетъ мать, такъ она требуетъ.

ГЛАНКЪ.

Почему же ты соглашаешься? Я ея боюсь. Что значить—боюсь? Но это правда. Я ея таки боюсь. Когда она посмотритъ на меня,—я начинаю дрожать. Она меня такъ выучила, что сразу замираетъ моя душа, застываетъ кровь и перестаютъ биться жилы... Да, да, знаю, что нужно было съ ней иначе жизнь начать, но вѣдь теперь уже поздно. А ты не должна. Ты должна встать и сердито сказать ей: (встаетъ и говоритъ громко) что ты со мной дѣлаешь? Не твой это ребенокъ, а мой. Кто можетъ взять у матери ребенка и выбросить его? Никто не можетъ! (Говоритъ тише) И что значить—взять у матери ребенка? Можно взять его, чтобы поцѣловать, или чтобы уложить спать... (Опять громко) Что ты за мать, если тѣло отъ тѣла моего отнимаешь? Кровь отъ крови моей выливаешь? И глаза отъ глазъ моихъ закрываешь? (Говоритъ тихо) И что значить—глаза отъ глазъ моихъ? Это развѣ не мои же глаза?..

СОНЯ (плачетъ).

Ахъ, отецъ, отецъ..

ГЛАНКЪ (уныло).

Не можешь, и ты не можешь? Ну, хочешь, убѣжимъ оба отъ нея... Спрячемся на краю свѣта... И я буду работать... (Обнимаетъ ее и нѣжно) Скажу, что твой ребенокъ—мой!.. Не можешь? Бѣдная моя! Оба мы одно и тоже. Боимся мы Дины. Держить насъ Дина въ рукахъ... Ну такъ покоримся ей. Можетъ быть, она права? Можетъ быть, ея ноги знаютъ дорогу къ радости... Пусть она ведетъ насъ.

752
- 100 -

Машки, и отсюда: Машки... И я бѣгу туда, бѣгу сюда, и Машки къ вамъ, и Машки къ намъ... (Разсмѣялась) И Машки, Машки, Машки... (Къ Динѣ) Гдѣ же ребенокъ?

ДИНА.

Сейчасъ, сейчасъ, присядь на минутку...

МАШКИ.

Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ. У меня еще двадцать дѣлѣ. Гдѣ ребенокъ?

СОНЯ.

Я боюсь ея, мать! Говорю тебѣ, что боюсь. Кого ты привела? (Отходить съ ужасомъ)

МАШКИ

(идеть за ней; качаетъ головой).

Всѣ онѣ такія... Научи ихъ. А вотъ, дѣвушка, горюдь безъ Машки жить не можетъ. Не вѣришь? (Присѣдаетъ отъ смѣха) Не вѣришь? А кто, дѣвушка, ребенка подбросить, если не Машки? А кто дастъ дѣвушку тому, кому она нужна? А кто купить, что купить нельзя? Кто? Ну кто? Все Машки, Машки, Машки...

ДИНА.

Я сейчасъ спеленаю его. Подожди, Машки.

СОНЯ

(съ крикомъ).

Нѣтъ, нѣтъ! (Съ мольбой) Не надо, не надо!

МАШКИ (продолжаетъ).

А изъ всего, дѣвушка, рождаются золотые, выливаются золотые, вытекаютъ золотые... Золотые кружатся,

золотые катятся, золотые сверкаютъ на солнцѣ, а я бѣгу и ловлю ихъ. (Смѣется) Машки! Вотъ она, Машки! Здѣсь она!

(Соня сѣла въ сторонѣ и угрюмо смотреть на нее)

ДИНА (къ Сонѣ).

Дай его мнѣ.

СОНЯ (упрямо).

Не дамъ... Убейте меня, не дамъ!

МАШКИ

(подошла, открыла ребенка).

Мальчикъ?

СОНЯ

(съ крикомъ).

Не троньте его!..

МАШКИ

(пожимаетъ плечами).

Всѣ онѣ такія... Зачѣмъ плакать? Есть о чемъ плакать. Дѣтей мало въ мірѣ? Сыплются съ неба дѣти, дѣти, дѣти, и всѣмъ мѣшаютъ. Столько ихъ, что и не знаешь, куда дѣвать. Дай-ка мнѣ его. Смотри, она такъ плачетъ.

ДИНА (угрюмо).

Перестанетъ...

СОНЯ (плачетъ).

Ручекъ его жалко мнѣ, ножекъ жалко. Такъ я его полюбила...

МАШКИ.

Дай ка мнѣ его! Дай-ка этого человѣчка. Полюбила!

Что полюбила, и что любить тутъ? (Беретъ у нея ребенка) Всѣ онѣ такія... А знаешь ты, какъ второго отдаютъ? Со смѣхомъ, дѣвушка! А какъ отдаютъ третьяго? Съ пляской... (Завернула ребенка)

СОНЯ (встаетъ).

Что вы съ нимъ дѣлаете? Машки, Машки! Вѣдь вы его задуйте!.. Мать, зачѣмъ ты мучаешь меня? Не можешь пожалѣть? Нѣтъ? Машки, положите ребенка. Положите, положите...

ДИНА.

Не слушай ее, Машки.

СОНЯ.

Она его душить. Я не могу этого видѣть. Мать, мать!..

МАШКИ.

И не душѣ, и ничего съ нимъ не будетъ. Машки даромъ рукъ не мараютъ въ крови. (Положила ребенка и снова заворачиваетъ) Сколько у Машки дѣтей въ рукахъ перебывало! Посчитай-ка, дѣвушка. (Беретъ ребенка на руки) Вотъ и дышетъ. А на что тебѣ, чтобы онъ дышалъ? Что вырастетъ! Тебѣ легко жить? А ему легче будетъ?

СОНЯ

(съ ужасомъ).

Ты слышишь, что она говорить? Она его убьетъ. Машки, я не хочу, нѣтъ! Отдайте мнѣ его... Что вы обѣ со мной дѣлаете? (Ворется съ матерью) Нѣтъ, нѣтъ...

МАШКИ (разсердилась).

Милая, такъ я не могу. Машки привыкла съ людьми имѣть дѣло. Машки у самыхъ богатыхъ живетъ, и у

самыхъ бѣдныхъ, и всѣ ея слушаютъ! Ты кричишь,— соберется весь дворъ. Бери его себѣ... Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Не хочу!

ДИНА

(быстро закрываетъ Сонѣ ротъ рукой).

Замолчишь, проклятая?.. Или я задушю тебя!

СОНЯ (сдавленно).

Я уже молчу. Я молчу...

ДИНА.

Смотри же, Машки: я отдаю тебѣ ребенка, но не на смерть... не на смерть, помни это.

МАШКИ (разсмѣялась).

Вотъ такъ и хорошо. Такъ съ ними нужно. И какъ она потомъ смѣяться будетъ! Опять—дѣвушка, и дѣлай, что хочешь. Вѣдь на свѣтѣ живетъ Машки... (Разсмѣялась)

СОНЯ

(съ порывомъ).

Если бы вы знали, Машки!..

МАШКИ.

Все я знаю. Чего я не знаю? Да, да, да. Уже будешь хорошей и никогда, никогда на мужчину не помотришь. Знаю, знаю. Всѣ одними словами говорятъ. А о немъ ты, дѣвушка, не безпокойся. Машки говорить: будетъ живъ твой мальчикъ. Ты думаешь,—убью его, брошу головой о камни? Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Таки найду хорошее мѣсто, таки подброшу, гдѣ нужно. Гдѣ мои деньги?

СОНЯ

(бросается къ ней).

Машки! Вотъ васъ я умоляю. Машки! Кто теперь мой отецъ и мать? Вы! Васъ я прошу... Мать васъ умоляетъ. Дорогая моя, пожалѣйте его. Пожалѣйте моего ребенка! (Припадаетъ къ нему) Вѣдь это было все мое богатство, вся моя правда, вся моя чистота... Дорогая моя, сердце разрывается. А знаете вы, что чувствуетъ душа, когда сердце разрывается? Ахъ, Машки! Не знаю васъ, но на вашей груди хочу поплакать. Мать васъ просить, мать...

МАШКИ.

Ну довольно, дѣвушка. Что тебѣ убиваться? Будешь имѣть другого. Машки тебѣ говорить: будешь имѣть другого.

СОНЯ.

Положите его, гдѣ сухо, гдѣ тепло... Спросите, гдѣ живутъ добрые люди... спросите! Положите у ихъ дверей. Можетъ быть, сжалятся. Да? Скажите: да! Вамъ я хочу вѣрить. Пожалѣютъ его? Да? Вскормятъ его? Скажите: да! Положите осторожно моего ребенка и скажите ему, что мать просить простить ее. Просить, просить...

ДИНА (отвернулась).

Ступай, Соня, садись. Довольно... Машки, унеси его. Сердце не желѣзо, не камень, а уста всегда благословлять не могутъ. Вотъ твои деньги. (Даетъ ей деньги)

СОНЯ

(бросается къ Динѣ, протягиваетъ къ ней руки).

Мать... можетъ быть? А, мать? Подумай, еще не поздно...

ДИНА.

Ступай, Машки... Уйди скорѣе!

(Соня падаетъ на стулъ)

МАШКИ

(спрятавъ деньги).

И иду уже. И бѣгу уже. Слышите? Вездѣ кричатъ: Машки, Машки, Машки! (Смѣется) Ну, Машки,—вотъ она! Машки,—здѣсь она!.. (Быстро уходитъ)

ДИНА.

Слава Богу! Открой, Соня, ставни. Довольно плакать. Теперь опять начнемъ жить.

СОНЯ.

Никогда не перестану плакать...

ДИНА (увѣренно).

Перестанешь. Кто ты теперь? Дѣвушка!.. Идетъ дѣвушка и гордо смотритъ на всѣхъ... Перестань плакать. Мы вернемъ прежнее. Снимемъ новую квартиру, чистую, хорошую, и посмѣемся надъ всѣми.

СОНЯ.

Пропала я! Какъ скучно въ комнатѣ безъ него! (Плачетъ) Зачѣмъ мнѣ жить, когда его нѣтъ?..

ДИНА.

Забудешь, Соня. Все забывается. И опять по-прежнему будешь приносить золото домой. Я Эву забыла, ты ребенка забудешь, и останется намъ одно: жизнь, сама жизнь! Увидишь, увидишь! Опять поднимемъ голову... куплю отцу хорошій костюмъ, шляпу, палку, и всѣ скажутъ про него: шелковый человѣкъ... И я

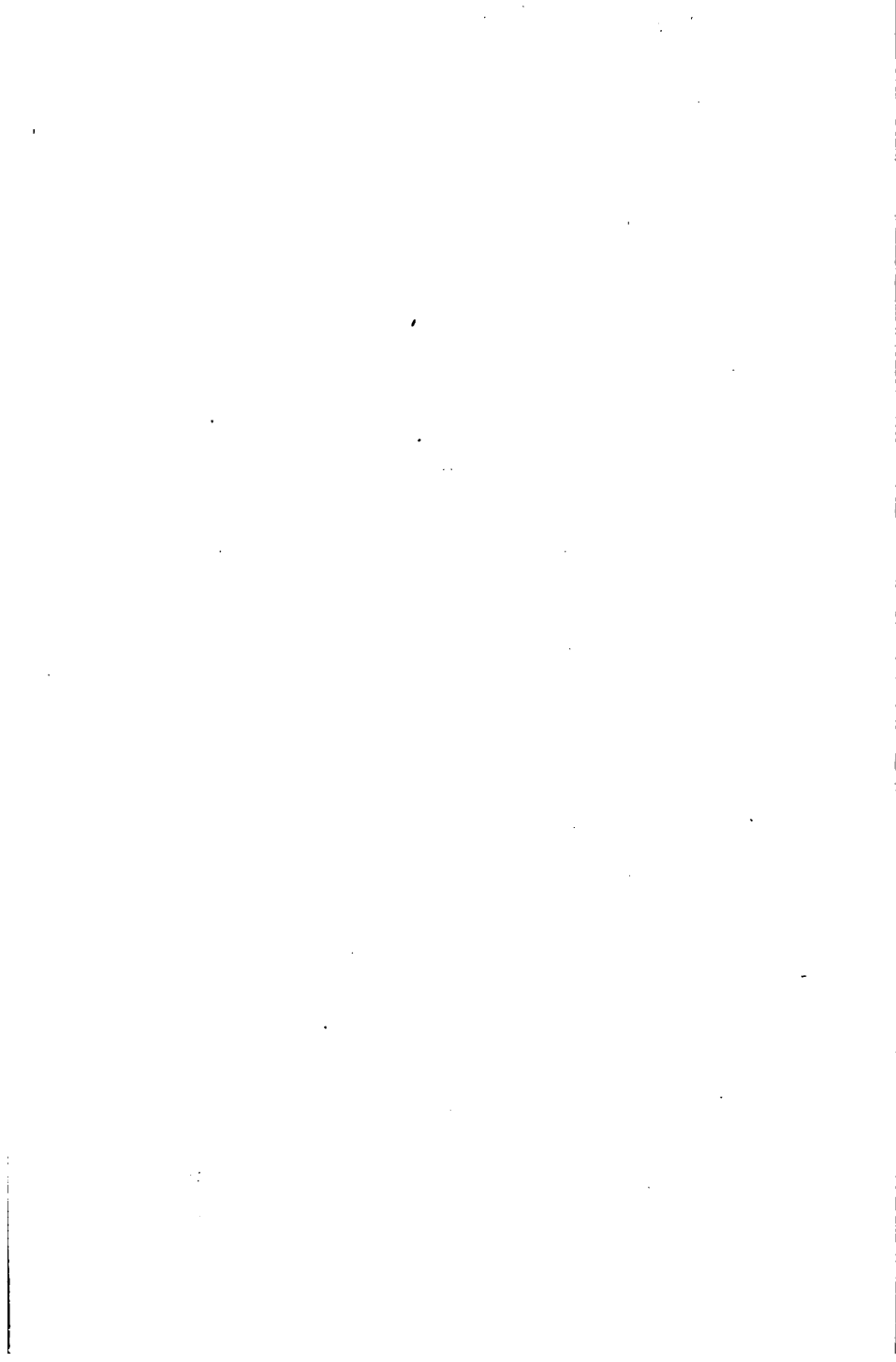
буду молчать!.. Отчего же ты плачешь? И о чемъ ты плачешь? Посмотри на меня,—вѣдь я готова бѣжать и плясать по улицамъ... Ну, довольно же! (Повернулась къ дверямъ и увѣренно зоветъ) Гланкъ, Гланкъ! Ступай сюда Мы начинаемъ снова, Гланкъ, Гланкъ!

З а н а в ѣ с ъ

ЗИНОВІЙ ПЭ.

ДОМЪ.

Очеркъ изъ жизни американскихъ рабочихъ.



Живуть здѣсь тихо, подавленно и сурово; смотреть на жизнь съ боязнью. Всегда ожидаютъ откуда-то удара, который можетъ вдругъ разрушить привычное, молчаливое существованіе... И боясь этого, каждый ходитъ, поднявъ одно плечо вверхъ, точно сторонясь отъ удара, и лѣвый глазъ всегда полузакрываетъ...

Тихо живутъ, смирно. Въ холодную и вѣтряную зиму еще тише живутъ...

Въ ранніе часы утра, темные и таинственные, когда человѣку такъ хорошо, крѣпко спится, и не видитъ онъ во снѣ, что у него разорвались брюки, оторвалась подошва отъ сапогъ, — старый хозяинъ будитъ всѣхъ.

Высокій, сутуловатый, съ длинными, корявыми руками, обожженнымъ лицомъ, съ безцвѣтными, стеклянными глазами... десятки лѣтъ, аккуратный, какъ проклятый маятникъ часовъ, онъ неумолимо подходитъ къ каждой двери, два раза угрюмо постучавъ жесткими руками, увѣренно и холодно говорить:

— Кофе и картофель простынуть. Опоздаете на работу...

И хотя всѣ знаютъ, что старикъ будитъ рано, что хозяйка и горбунья, дочь ея, спать еще, — всѣ встаютъ. Встаютъ машинально, не просыпаясь, и долго ходятъ въ полуснѣ... Со встрепанными волосами, красными пятнами на лицѣ, въ грязныхъ рубахахъ и съ сѣро-желтыми полотенцами въ рукахъ спускаются внизъ.

Идутъ черезъ большой „фронтъ румъ“, холодный и запущенный, пыльный и хламный, проходятъ черезъ столовую. Въ ней стоитъ большой столъ, накрытый сѣрой съ красными полосками скатертью, и вокругъ него прямые деревянные стулья. Въ углу комнаты неизмѣнно сидитъ испуганная горбатая дочь высокаго хозяина. Она ежится отъ холода, дрожитъ отъ страшныхъ сновъ и темноты ночи и испуганно читаетъ по маленькой, желтой книжечкѣ молитвы. Она ихъ читаетъ скоро, ясно, — про себя. Хватаетъ глазами цѣлую строчку, но каждое слово понимаетъ отдѣльно и — радуется внутренно, если ей удастся это. По временамъ оглядывается, вздрагиваетъ, прислушивается, затаивъ дыханіе... ждетъ моментъ и съ накатившейся на глаза слезой снова читаетъ...

Потомъ жители идутъ черезъ кухню. У одной стѣны стоитъ желѣзная печь, и къ ней придѣланы газовыя трубы, у другой — кухонный столъ. Онъ деревянный, некрашенный. Скребуть его только по субботамъ, а шесть разъ въ недѣлю вытираютъ грязной, мокрой тряпкой.

Печь топится. Хозяйка вышла за хлѣбомъ... Одинъ за другимъ жильцы проходятъ въ холодныя сѣни, гдѣ подъ краномъ по-одиночкѣ умываются. Въ сѣняхъ дрожитъ, мечется жалкій огонь сальной свѣчи. Ополоснувъ себѣ лицо, каждый спѣшитъ скорѣе въ кухню, гдѣ жарко топится печь. У грязнаго зеркальца къ стѣнѣ прибита коробка изъ-подъ сигаръ, и тамъ лежитъ старая мѣдная расческа; всѣ причесываются ею и садятся вокругъ печки въ ожиданіи завтрака.

Воротилась домой хозяйка, шумно хлопнула дверью. Всѣ вздрогнули и покачнулись...

Хозяйка—высокая женщина съ худымъ, скучно-продолговатымъ лицомъ и большимъ, узкимъ носомъ... Ходитъ и сидитъ она прямо, не сгибаясь. На ней

одѣта черная обтянутая кофта, изъ-подъ которой виднѣются спицы корсета,—она никогда не снимаетъ его... На головѣ у нея немного волосъ. Пять съ половиной дней въ недѣлю они завернуты въ бумажки.

Всѣ сидятъ въ кухнѣ молча. Курятъ трубки. Поджавъ рукой голову, дремлютъ, жуютъ табакъ и спронежя плюютъ...

Наконецъ, сухіе и тонкіе куски мяса начинаютъ съезживаться, картофель жариться, кофе кипѣть. Горбунья начинаетъ метаться изъ кухни въ столовую и изъ столовой въ кухню. Безжизненные глаза хозяйки оживляются, она начинаетъ покашливать, и раздается ея дребезжащій и прямой голосъ:

— Чарльзъ, Чарльзъ! Каждый разъ вы такъ засыпаете!.. Жильцы тоже дремлютъ... уже готово...

Все зашевелилось и ожило. Жильцы отправляются въ столовую, садятся за столъ.

Хозяйка садится и строгимъ, сухимъ взглядомъ смотреть, все ли въ порядкѣ. И какъ всегда—у кого-нибудь вмѣсто одной ложки двѣ и нѣтъ ножа, у другого тоже чего-нибудь не хватаетъ.

— Моя дорогая Руфъ,—обращается хозяйка къ испуганной горбуньѣ:—вы гдѣ-нибудь видѣли, чтобы мясо рѣзали ложкой, я васъ спрашиваю? •

— Руфъ, Руфъ, когда же вы научитесь чему-нибудь... Принесите мистеру Грей ножъ, а мистеру Гостову дайте ложку—и скорѣе...

Пошли, потомъ отправляются на работу. Недалеко—огромный газовый заводъ, гдѣ большинство жителей и работаетъ.

Хозяинъ, мистеръ Макдермандъ, вотъ уже сороковой годъ работаетъ въ кочегарахъ. Онъ безстрастно приходитъ на работу, вѣшаетъ на опредѣленное мѣсто свое домашнее платье, надѣваетъ черную отъ угля фуфайку безъ воротника и рукавовъ, натягиваетъ рабочіе штаны и садится въ ожиданіи свистка.

Заводъ не перестаетъ работать и ночью. Когда одни уходили съ работы, приходили новые, — ночная смѣна,—и работали всю ночь: томились тринадцать часовъ, до прихода дневной смѣны.

Въ темнотѣ ночи они яростно стучали молотками, безумно колотили бѣлое желѣзо, гнули, пилили. Съ грохотомъ носились тачки съ углемъ. Со слезами на глазахъ отъ жары и усталости, бросали они этотъ уголь въ огромныя печи; съ длинной и тяжелой кочергой въ утомленныхъ и сухихъ рукахъ, они рылись въ этомъ огненно-яростномъ аду. Стиснувши зубы, въ холодномъ поту, вынимали кочергу изъ печи, со злой силой захлопывали дверцы и скрывались на улицу, въ темноту вѣтряной, зимней ночи... Черезъ нѣсколько минутъ они опять появлялись, снова подѣвжали тачки съ углемъ—и еще, и еще,—и снова они хватались за кочерги.

Такъ работали люди день и ночь. Ночью работали тринадцать часовъ, а днемъ—одиннадцать.

Раздается свистокъ. Это предупредительный,—протяжный и монотонный. Ночные рабочіе моментально отнимаютъ свои руки отъ работы. Оставляютъ тачки, бросаютъ лопаты, кочерги, пилы... Медленно снимаютъ они свое рабочее платье, одѣваютъ другое и ждутъ другого свистка.

Раздается пронзительный, змѣиный свистокъ, и всѣ бросаются къ выходу.

Дневные принимаются за работу. Ночь начинается блѣднѣть,—свѣтлѣетъ. Восходитъ тусклое солнце...

— — — — —

Послѣ ухода жильцовъ изъ дому, миссисъ Макдермандъ провѣряетъ глазами оставшуюся ѣду на столѣ. Горбунья боязливо кончаетъ свой холодный завтракъ. И обѣ начинаютъ работать. Поспѣшно убираютъ со стола, относятъ все въ кухню и готовятъ зав-

тракъ для ночныхъ рабочихъ. Снова чистятъ картофель, снова жарится мясо.

Длинные, безразличныя руки миссисъ Макдермандъ двигаются, заведенныя давно-давно — отъ рожденія ея; можетъ быть, онѣ перешли по наслѣдству отъ матери, тоже двигавшей ими безъ сознанія и безъ вопроса, зачѣмъ ими двигать.

Горбунья идетъ наверхъ и убираетъ постели людей, спавшихъ ночью, чтобъ приготовить ихъ людямъ, которые будутъ спать день.

Вотъ они пришли съ работы. Утро занялось. Въ комнатѣ блѣдно. Потушили лампу и позабыли свѣчу на окнѣ. И кажется, что свѣча и тотъ свѣтъ, что идетъ въ комнату на этихъ людей, — братъ и сестра... Положили они свои ящички для ѣды въ уголь кухни, сняли толстыя шарфы съ грязныхъ шей, осмотрѣлись вокругъ. Одни сѣли, другіе безсмысленно уставились на какой-нибудь предметъ и тупо смотреть, почесывая спину.

Это они отдыхали. Имъ не скучно. Они только не умѣютъ смотрѣть вдаль думающимъ взглядомъ чловѣка, который хочетъ что-то понять въ этой жизни. Всѣ они каждый день, каждую недѣлю и долгіе зимніе мѣсяца такъ же тупо и безучастно смотреть на ближайшій предметъ и жуютъ табакъ.

Медленно они берутъ свои сѣро-желтыя полотенца, неохотно размазываютъ холодной водой лицо и шею и, пополоскавшись, утираются. Грязь втирается въ поры, останавливается въ складкахъ лицъ, въ морщинахъ глазъ, ѣсть глаза. Они тщательно намачиваютъ волосы, которые лоснятся отъ жирной угольной пыли, и расчесываютъ проборъ на лѣвой сторонѣ головы. Видя въ зеркалѣ волосы лоснящимися и гладко причесанными, они начинаютъ чувствовать запахъ ѣды. Покачиваясь, идутъ въ столовую.

Усталые и разбитые, медленно ѣдятъ, долго жуютъ

и широко двигаютъ челюстями. И только когда каждому подаютъ яблочный пирогъ, они оживляются и иногда роняютъ нѣсколько словъ. Но разговоры ихъ одинаковы и однообразны. Высокій, худой кочегаръ рассказываетъ:

— Рыжій чернорабочій Питеръ, который всегда накладываетъ себѣ въ тачку угля больше, чѣмъ другіе, такъ много напился пива, что когда онъ поднялся на элеваторъ и долженъ былъ всыпать уголь въ печную яму, онъ вмѣсто угля самъ хотѣлъ броситься въ печь... Стоявшій рядомъ съ нимъ, толстый Джимъ-ирландецъ, распухшій отъ пьянства, далъ Питеру ногой въ животъ, и тотъ, оправившись, началъ спускать уголь въ яму какъ слѣдуетъ...

И всегда этотъ высокій, худой кочегаръ прибавлялъ:

— Ги-и. Ударилъ въ животъ, тотъ и заработалъ...

— А у насъ,—говорилъ круглый и низенькій рабочий,—тоже... пьютъ пиво и... въ животъ...

— Содержатель трактира на Риверъ-улицѣ къ бесплатному завтраку вмѣсто сала будетъ мясо класть въ супъ...

А поѣвши, они уходили спать.

Спали громко, суетливо. Лежа въ постели, ворочались, чесались. Временами глубоко вздыхали. Такъ часто-часто начинали дышать, что становилось страшно. Передъ тѣмъ какъ лечь въ постель, они клали себѣ въ ротъ новый кусокъ табаку и, сонные, плевали черной скверной слюной, — всѣ подушки были въ пятнахъ. А горбунья, когда мыла ихъ, плакала и читала молитвы...

Ходить по комнатамъ худая, прямая миссисъ, суетливо бѣгаетъ горбунья. Въ окно глядитъ сѣрое небо, и вѣтеръ ударяетъ колючими снѣжинками въ стекла. Мяукаетъ дохлая черная кошка съ желтыми глазами, и ворчитъ въ углу злая маленькая собаченка съ голой

костью между лапъ... Послѣ уборки комнатъ начинаютъ готовить обѣдъ для дневныхъ рабочихъ.

Въ двѣнадцать часовъ раздастся свистокъ. Рабочіе отнимутъ руки свои отъ станковъ, тачекъ, молотковъ, проснутся отъ сонной и скучно-тяжелой работы и вдругъ, точно ихъ осѣнила какая-то новая мысль, бѣгутъ. Точно весь городъ загорѣлся, и они почувствовали цѣну своей жизни, эти люди бросаются къ своей одеждѣ и бѣгутъ толпами черезъ дворъ, толкаются въ воротахъ, рассыпаются по улицамъ,—черные, маленькіе, похожіе на разсыпанныя дробинки, пущенныя изъ стараго ружья. Они вбѣгаютъ въ свои маленькіе домики и, не умываясь, берутся грязными руками за хлѣбъ, грязными пальцами изъ общей солоницы берутъ соль и ѣдятъ. Ёдятъ скоро, съ тревогой, каждую минуту ожидая, что кто-то придетъ и отниметъ у нихъ все, или кошка и собаченка могутъ опрокинуть тарелки, и имъ не удастся насладиться ѣдой... этимъ самымъ большимъ удовольствіемъ ихъ жизни, для котораго они работаютъ...

Поѣвши, они чувствуютъ себя спокойными. Отъ стола уходятъ по-одиночкѣ. Идутъ во „фронтъ румъ“, гдѣ имѣются четыре качающихся стула. Ставятъ грязныя плевательницы вокругъ себя. Кладутъ въ ротъ табакъ и съ лѣвой стороны щеки ставятъ въ зубы тонкую деревянную зубочистку, черную отъ грязныхъ, жирныхъ рукъ. Они сидятъ въ послѣобѣденномъ пріятномъ полуснѣ. На нѣсколько минутъ они засыпаютъ и, точно безобразныя куклы, покачиваются въ своихъ креслахъ...

Раздается воющій зовъ. Свистокъ требовательно, медленно призываетъ всѣхъ бѣжать на работу... И улица снова наполняется маленькимъ чернымъ народомъ, маленькимъ въ мысляхъ и ничтожнымъ душою. Старые и молодые одинаково стремительно отзываются на этотъ призывъ и бѣгутъ съ привычной покорностью на этотъ грубый, требующій зовъ. Этотъ призывъ по-

вторяется каждый день, недѣлю, мѣсяцы и долгіе годы... но каждый разъ, когда онъ раздается, они бѣгутъ ему навстрѣчу. Но бѣгутъ недолго, не всю дорогу. Выскочивъ изъ дому, черезъ нѣсколько времени они сознають, что осталось еще четыре минуты и можно поспѣть къ работѣ, если и не бѣжать. Около воротъ фабрики они уже идутъ не торопясь, съ однимъ плечомъ вверхъ и прищуреннымъ лѣвымъ глазомъ, точно боятся удара...

И снова они ждутъ свистка къ работѣ. Каждый накладываетъ свои руки на тотъ инструментъ, которымъ онъ долженъ тутъ-же, черезъ секунду послѣ свистка, начать работу.

Раздается густой, медленный свистокъ. Всего одинъ разъ, грубо увѣренный въ томъ, что всѣ его рабы готовы работать и только съ нетерпѣніемъ ждутъ позволенія. Онъ властно и торжественно позволяетъ имъ.

Опять работаютъ они, прямая миссисъ и горбатая Руфъ. Надо готовить фду ночнымъ, которые скоро встанутъ.

Понемногу ночные начинаютъ просыпаться. Лежатъ на кроватяхъ и глядятъ передъ собой, слѣдя за движеніемъ клоповъ на стѣнѣ. Они заранѣе знаютъ намѣренія клоповъ, и куда бы тѣ ни ползли, жители всегда подозрѣваютъ ихъ въ покушеніи на свое грязное тѣло. И долго они смотрятъ на движеніе благодушныхъ враговъ, ждутъ, когда пріятное чувство голода защекочетъ желудокъ. Голодъ и пища двигаютъ ими всю ихъ жизнь, и весь смыслъ ихъ жизни въ томъ, чтобы удовлетворять запросамъ желудка. Это двигаетъ людей, заставляетъ работать, унижаться, кланяться, просить. Нѣтъ ничего, что украшало бы это голое стремленіе наполнить свой желудокъ чѣмъ-нибудь жирнымъ и сладкимъ.—Хорошо бы съѣсть въ одинъ день десять яблочныхъ пироговъ...

Всѣ жители, собравшіеся въ „бордингъ-гаузъ“, или старые холостяки, или вдовцы, а можетъ быть, люди, оставившіе свои семейства въ другомъ штатѣ, чтобъ пожить посвободнѣе, больше поѣсть, выпить и нѣсколько разъ въ день пожевать табакъ... Надоѣдаетъ пискъ маленькихъ грязныхъ ребятишекъ, ихъ вѣчный голодный вой. Надоѣло и стало нудно голодное ворчанье жены, матери голодныхъ дѣтей, ея худое лицо съ зелеными глазами и съ однимъ выраженіемъ зависти въ этихъ глазахъ... И надоѣдаетъ все вмѣстѣ — и жена, и дѣти, и маленькая грязная квартирка, и это вѣчное недоѣданіе, неудовлетворенность, постоянная тѣснота и грязь; это толканіе другъ друга, крики жены, пискъ ребятъ, побои, молоко съ водой, черная кошка и сухое одинокое деревцо передъ окномъ, въ осенніе вечера стучающее своими прутьями по стекламъ... и вся эта жизнь, гдѣ маленькіе и большіе, люди и животныя, и худосочныя деревья мѣшаются, толкаются и бьются въ одномъ желаніи жить...

И они уходятъ изъ домовъ. Ъдутъ въ другіе штаты и живутъ, и наслаждаются ѣдой, не задаваясь вопросомъ, что случилось съ ихъ женами и дѣтьми въ грязныхъ, разорванныхъ штанишкахъ. А когда невольно передъ ними встаетъ картина ихъ семьи, они захлебываются отъ радости и говорятъ:

— Что? Будете теперь знать, какъ кричать, просить хлѣба? Будешь ты, моя миссисъ, знать, какъ ходить злой и быть недовольной? Вотъ тебѣ...

Вотъ раздаются шаги горбуни. Она идетъ звать жильцовъ обѣдать. Поднимаясь по лѣстницѣ, она остановилась у окна напротивъ и, оглянувшись, нѣтъ ли кого-нибудь вокругъ, стала смотрѣть въ окно. Сѣрый былъ день и теплый. Съ неба падали толстыя, пухлыя снѣжинки. Вѣтеръ медленно покачивалъ и носилъ ихъ въ воздухъ. Горбуня вся согнулась, всхлипнула одинъ разъ, быстро маленькимъ кулачкомъ своимъ вытерла

глаза... Улыбнулась кому-то виновато, осмотрѣлась вокругъ, подошла близко къ окну и начала хватать снѣжинки и торопливо класть ихъ за воротъ, на шею и грудь. Потомъ она прижимала руки къ груди своей и говорила хо всхлипывая:

— Снѣжинки... ахъ, снѣжинки...

— Руфъ, Руфъ!—раздавался голосъ матери.—Почему никто не идетъ сверху обѣдать, и почему вы такъ долго тамъ возитесь, моя дочь?.. Четыре картошки не вычищены еще!

Жильцы слышатъ все, что дѣлается въ квартирѣ, но дожидаются, пока придетъ горбунья, постучить своими костлявыми пальцами, назоветъ cadaго по имени и пригласить обѣдать. И каждый, услышавши свое имя, произнесенное тонкимъ, забитымъ голосомъ горбуни, встрепенется, испугается и моментально отвѣчаетъ:

— Доброе утро, миссъ Руфъ,—спасибо вамъ, я сейчасъ приду...

Однажды утромъ маленькій злой рабочій проснулся раньше всѣхъ, вышелъ изъ своей комнаты и сѣлъ на лѣстницѣ, безсмысленно уставившись въ окно. Онъ встрѣтилъ Руфъ и зло сказалъ ей, что самъ позоветъ жильцовъ обѣдать. Онъ ходилъ, стучалъ въ двери... Но никто не всталъ, пока миссъ Руфъ сама не пришла, не постучала и не позвала.

Потомъ на работѣ, дома и во снѣ они долго говорили о маленькомъ зломъ рабочемъ, который хотѣлъ самъ позвать ихъ обѣдать...

Они спускались внизъ, проходили въ кухню, мочили голову водой, мѣдной расческой гладили волосы и дѣлали проборъ на лѣвой сторонѣ головы...

Миссисъ Макдермандъ всегда спрашивала, какъ они спали, и не было ли имъ холодно подъ однимъ одѣяломъ. Совѣтовала накрываться пальто. И всегда прибавляла:

— Потеплѣе—лучше!—и смѣялась, точно зеленое стекло, упавшее на деревянный полъ.

— Правда, мистеръ Вильямсъ?—спрашивала она.

А мистеръ Вильямсъ, который былъ очень толстъ и не снимая носилъ толстую грязную фуфайку, говорилъ:

— Это правда, это правда! Тепло это хорошо, но только въ мѣру. Вотъ около печей такъ тепло... ого, какъ тепло! Ваша правда, миссисъ, да!

— У печей не тепло, а жарко!..—говорилъ маленькій и злой рабочій.

Садились ѣсть.

Всѣ ѣли важно и много. Ъли все, что подавали на столъ. Огурцы въ уксусѣ они ѣли вмѣстѣ съ яблочнымъ соусомъ,—въ этомъ заключалась ихъ свобода. Они работали, они заплатили за все и имѣютъ право наслаждаться тѣмъ, ради чего они работаютъ.

Миссисъ ни разу не вставала изъ-за стола. Она сидѣла на узкомъ концѣ его, выше всѣхъ, и сухимъ длиннымъ лицомъ съ блестящими стеклянными глазами приказывала Руфи дѣлать все. Руфь дрожала и понимала ее.

Когда Руфь начинала ѣсть свою часть обѣда, мать ея неизмѣнно находила какіе-нибудь недостатки, и, срываясь съ мѣста, горбунья бѣгала въ кухню и приносила приказанное.

Часто, когда Руфь приходила въ кухню, она клала тарелки на столъ и, оглянувшись кругомъ, начинала кусать себѣ ногти. Кусала и грызла ихъ до боли, а потомъ снова продолжала свою работу...

Пообѣдавъ, молча ползли въ разные углы.

Подходили къ окну и, ковыряя въ зубахъ, долго глядѣли на занесенную снѣгомъ улицу, маленькіе домики вокругъ. Все представлялось такимъ понятнымъ и спокойнымъ. Садились во „фронтъ-румъ“ и ненадолго доставали газету. Всякій разъ, когда они брали въ руки газету, они думали вслухъ:

— А ну-ка, кого это убили сегодня?

Въ большинствѣ случаевъ убійства вызывались семейными раздорами: убивалъ мужъ жену; убивала жена своего мужа при содѣйствіи двоихъ любовниковъ. Они читали про это и равнодушно жевали табакъ, — ихъ это не касалось.

На полу были разбросаны истрепанные листы воскресныхъ газетъ съ иллюстраціями. Имъ нравился рядъ картинокъ, гдѣ изображался мальчикъ, который уходилъ изъ дома безъ спросу со своей собаченкой, лицо которой всегда изображалось хитро-лукавымъ. Мальчикъ этотъ идетъ, опрокидываетъ что-нибудь, или лѣзетъ черезъ заборъ въ чужой садъ, рветъ себѣ платье. Хозяинъ сада отводитъ мальчика къ мамашѣ, и мамаша наказываетъ его... А послѣдняя картинка показываетъ мальчика счастливо спящимъ въ своей постелькѣ, у которой сидитъ собачка съ хитро-лукавымъ лицомъ... Жителямъ это нравилось, и они подолгу смотрѣли на эти картинки, пока все передъ ихъ глазами не начинало сливаться въ одно большое зелено-желтое болото, и житель засыпалъ.

Отправлялись въ трактиръ, который стоялъ на углу улицы. Имъ нравился молодой содержатель трактира. Пріятно имъ было его лицо, всегда улыбающееся, съ бѣлыми гладко причесанными волосами на головѣ. Въ своемъ снѣжно-бѣломъ пиджакѣ, хорошо сшитомъ, онъ такъ ловко ходилъ за стойкой, выгибался, повертывался, успѣвалъ каждому съ улыбкой подать спрошенное. Житель глядѣлъ на него, и ему хотѣлось пить больше, чтобы этотъ ловкій человекъ еще разъ повернулся, выгнулся и улыбнулся.

Иногда житель заходилъ въ билліардную. Тамъ всегда находились два молодыхъ негра, которые всю недѣлю упражнялись въ игрѣ на билліардѣ, а въ субботу и въ воскресенье обыгрывали жителей. Рѣдко когда находились двое товарищей играть на билліардѣ,

обыкновенно приходилъ одинъ: разсерженный политикъ, воръ или сыщикъ.

Когда встрѣчались вмѣстѣ воръ и сыщикъ, они яростно старались загнать каждый свой шаръ въ назначенный ими уголъ. Партію за партіей они играли, а негры съ усмѣшкой ставили имъ новыя игры. Когда косоу сыщикъ ударялъ кіемъ въ сукно вмѣсто того, чтобъ ударить въ шаръ, негры громко хохотали. Старшій негръ подходилъ къ сыщику, широко передвигая ногами и размахивая своими длинными руками, бралъ его за плечо, трясъ и говорилъ:

— Вы, сэръ, хотя и сыщикъ, но въ сукно я вамъ ударять не позволю. Сыщики должны быть двухглазые во-первыхъ, во вторыхъ—бить всегда въ шары, а не попадать въ сукно... Продолжайте, сэръ...—съ ироніей говорилъ негръ и отходилъ.

И они опять играли, косоу сыщикъ и хитрый воръ.

Свѣтъ въ билліардной былъ сѣрый. Окно было продѣлано въ потолокъ, и казалось, что всѣ люди въ билліардной не живые люди, а куски того сѣраго, грязнаго облака, что висѣло надъ этимъ квадратнымъ окномъ и было такъ близко къ свѣту комнаты и прыгавшимъ въ ней людямъ. Обрывки грязныхъ облаковъ, они дышали грязью, и недоступны имъ были ни крѣпкій и творческій запахъ земли, ни лучезарный свѣтъ синяго неба...

Жители рѣдко играли. Всякая игра была для нихъ пустымъ занятіемъ и глупостью. Они всегда смотрѣли на воровъ, на сыщиковъ и на негровъ, какъ на нѣчто ненужное и лишнее. Они любили только людей богатыхъ. Почитали ихъ за то, что они всегда ходятъ чисто выбритыми, носятъ бѣлые воротнички, а главное—имѣютъ деньги. Видѣли въ богатыхъ—людей, стоящихъ выше и умнѣе. То, что богатые имѣли фабрики и заводы и умѣли управлять всѣмъ этимъ, они относили къ ихъ образованности и способностямъ.

Когда они разсуждали о богатыхъ, они говорили:

— Великій человекъ,—онъ имѣетъ столько рабочихъ, которые работаютъ для него, столько заботы... Вѣдь однѣ деньги считать и то надо умѣть...

Недолго продолжался сѣрый день. Темнѣло рано. Приходила томительная, беззвѣздная ночь. Зажигались свѣтлые огни въ трактирахъ и темные, скучные въ домахъ. На улицахъ огни казались вытянутой черной лентой, по которой далеко другъ отъ друга выстроились черные часовые съ желтыми тусклыми факелами въ рукахъ...

По комнатамъ ходили покорные люди и томительно ожидали призыва на работу. За день они продѣлали все, что могли, и теперь имъ уже нечего было дѣлать. Они ходили по комнатамъ, и длинныя руки ихъ качались и стучались о колѣни. Каждый бралъ свой ящичекъ съ ѣдой, иногда открывалъ и смотрѣлъ, что въ него положено. И ему заранѣе становилось пріятно и вкусно. Выходили на крыльцо и тамъ ждали зова на работу. А иной направлялся по дорогѣ къ фабрикѣ и, покачивая ящичкомъ, думалъ о яблочномъ пирогѣ въ немъ...

Часто темноту ночи прорѣзывалъ свѣтъ воспламененнаго газа, выброшеннаго изъ трубы завода. Житель, проходившій по улицѣ, вздрагивалъ и крѣпче хватался за свой ящичекъ.

Кто-то старый, гнѣвный и тяжелый подымается, шипитъ, свиститъ и, вдругъ разъярившись, трубить сборъ, гудитъ, далеко врѣзываясь и разламывая темноту. Жители стремительно несутся на этотъ звукъ. И улы-

баются въ темнотѣ ихъ безобразныя лица, и, точно отрубленные головы, широко раскачиваются ихъ ящички со сладкимъ яблочнымъ пирогомъ...

Жители знаютъ эту трубу, знаютъ и повинуются ея неслѣпому зову. Всѣми она владѣетъ и управляетъ. Одни, по ея приказанію, отнимаютъ руки отъ работы, а другимъ она приказываетъ взяться.

И всосавши однихъ рабовъ, это огромное каменное зданіе, что стоитъ въ ночи, словно огненное стоглазое чудовище, другихъ выбрасываетъ. И, выброшенные, они плетутся по холоднымъ и вѣтренымъ улицамъ, гдѣ стоятъ часовые съ желтыми и тусклыми факелами...

Когда наступалъ вечеръ, въ комнаты осторожно входила сѣрая темнота. Сперва она пряталась въ самые темные уголки комнатъ и покрывала ихъ... Потомъ все смѣлѣе и смѣлѣе она распространялась всюду. Охватывала столы, стулья, входила въ каждую частицу комнаты и завладѣвала всѣмъ, что было тамъ.

Горбатая испуганная дочь высокаго, сутуловатаго хозяина всегда видѣла, какъ приходила темнота, и первая привѣтствовала ее. Когда темнота забиралась въ уголокъ, горбунья, оглянувшись, стремительно прыгала въ тотъ уголокъ и крѣпко прижималась къ ней. Потомъ горбунья бѣжала въ другой уголокъ, а когда темнота разносилась все быстрѣе и быстрѣе, она кусала свой маленькій кулачокъ, зажимала въ немъ свою косу съ желтой лентой на концѣ и хихикала—мало и громко,— хихикала и прыгала...

— Руфъ, Руфъ!—раздавался голосъ матери:— гдѣ вы и что вы дѣлаете? Я позволяю вамъ зажечь лампу,— ужъ достаточно темно.

При звукѣ голоса матери, Руфъ моментально останавливалась. Согнувшись вся, виновато улыбалась вокругъ и прощалась съ темнотой въ углу, подъ стульями, столами и по всей комнатѣ...

Приходилъ старый хозяинъ и, покашливая, бросалъ:

— Добрый вечеръ, миссисъ, добрый вечеръ, Руфъ! Приходили другіе жители и тоже бросали свой привычный и усталый привѣтъ...

Утомленные долгой и скучной работой, черные, съ блестящими сѣрыми глазами и желтыми зубами они ходили по комнатамъ безъ цѣли, смотрѣли темными глазами на свои руки и шли умываться. У молотобойца руки бывали покрыты такими острыми мозолями, что онъ не могъ умываться. Онъ подставлялъ голову свою подъ кранъ, потомъ вытирался, размазывая по лицу черную грязь и копотъ.

Медленно садились за столъ эти рабы черного труда. Глупо ѣли все, стараясь съѣсть много-много, чтобы почувствовать удовольствіе и вызвать то удовлетвореніе, ради котораго они питаются, живутъ и работаютъ.

Молча сидѣли они. Только изрѣдка, словно черная сажа, носились въ воздухъ отрывки рѣчи:

— Родила шестого ребенка жена мистера Оніэдль...

— У стараго Джэка нога отнялась...

— Самъ старый хозяинъ былъ на фабрикѣ...

— Говорять, разсчитаютъ пятьдесятъ рабочихъ, — говорилъ маленькій и злой рабочій, откусывая большой кусокъ пирога.

Старая миссисъ глядѣла на него съ ненавистью и молча, про себя говорила ему:

— Ты будешь виноватъ, если разсчитаютъ моего Чарльза.

А вслухъ она зло прибавляла:

— Не думаете-ли вы, мистеръ, что разсчитаютъ прежде молодыхъ рабочихъ, а не старыхъ, — которые аккуратно дѣсятки лѣтъ ходятъ на работу...

Всѣ молчали и подавленно, еще ниже склоняясь, уходили отъ стола. А маленькій и злой рабочій ухмылялся и еще больше вrostалъ въ землю...

Наставали часы отдыха. Одиноко гремитъ и бьется посуда, — но и этотъ шумъ стихаетъ...

Разливается тишина по комнатамъ, и, точно отъ назойливой мухи, становится всѣмъ непріятно и злобно. Неловко и тѣсно чувствуютъ себя жители среди приползшей къ нимъ тишины. Хочется разбить ее, уничтожить, смять и растоптать тяжелыми каблуками... Кто-то зашевелился, покачнулся, уронили ключъ на полъ, и, коротко звякнувъ, онъ сдѣлалъ тишину еще болѣе слышной. Закашлялъ старый, согнутый хозяинъ, кашлялъ долго и громко и выплевывалъ черные куски сажи изъ своего беззубаго рта. Жители, потѣснившись въ комнатѣ, нерѣшительно и тяжело уходили наверхъ спать...

Маленькій и злой рабочій убѣгалъ въ трактиръ ненадолго, глоталъ тамъ два стакана виски и, посмотрѣвъ узкимъ и прищуреннымъ глазомъ на яркій свѣтъ, на ослѣпительно-бѣлаго юношу-хозяина, подмигивалъ всѣмъ и скрывался за дверью. Потомъ онъ вбѣгалъ въ домъ и шелъ наверхъ, къ себѣ въ комнатку съ одной кроватью, на которой уже спалъ толстый Вильямсъ. Маленькій всегда лѣзъ черезъ него, толкалъ его ногой въ колѣно, а Вильямсъ просыпался, посылалъ его въ адъ и снова засыпалъ. Маленькій, согнувшись весь, тыкался головой въ стѣну и, стягивая съ толстаго одѣяло, засыпалъ со злой улыбкой на колючемъ, небритомъ лицѣ...

Послѣ ухода жильцовъ, въ холодной, тусклой комнатѣ оставались: высокій, согнувшійся старикъ, прямая и длинная старуха и ихъ горбатая дочь Руфь.

Убрана вся посуда и постланы постели; вся работа дня сдѣлана, и у всѣхъ на сердцѣ есть сознаніе исполненнаго долга. Старые стѣнные часы медленно бьютъ девять, и три фигуры, сидящія въ комнатѣ, тоже громко считаютъ: девять.

Длинная старуха сидитъ на низенькомъ стулѣ и вытянувшись глядитъ на столъ, гдѣ лежитъ старая и

толстая библия. Лицо ея сухо, и безстрастно двигаются морщинистыя губы...

У старика болят ноги. Когда въ окно сердито стучится вѣтеръ и по улицѣ носятся сырые снѣжинки, у старика ломить въ боку и въ ногахъ. Онъ снимаетъ свои большіе, скорчившіеся башмаки и отрываетъ отъ ногъ своихъ грязныя тряпки... Онъ кряхтитъ, возится отъ боли и своими длинными, корявыми руками растираетъ ноги.

Припавъ къ углу, на большомъ стулѣ сидитъ горбунья и читаетъ книжку, — маленькую, истрепанную, безъ начала и конца. Когда-то эта книжка была новая, но прошли года, книжка разорвалась, и осталось всего нѣсколько главъ... Тамъ она читала про индѣйцевъ, живущихъ въ лѣсахъ, устраивающихъ свои набѣги на бѣлолицыхъ. Разсказывалось про ихъ священные танцы.. Была даже одна картинка индѣйца въ костюмѣ и полномъ вооруженіи... Начало послѣдней главы говорило о томъ, какъ въ лагерѣ индѣйцевъ появляется бѣлый человѣкъ, который говоритъ имъ о Богѣ... На этомъ мѣстѣ книжка кончалась. И горбунья знала наизусть всю эту книжку, но читала ее и думала о лѣсахъ и индѣйцахъ...

Охая, плелся къ кровати старикъ, долго возился, лежа въ постели, потомъ скоро засыпалъ, тяжело дыша и глубоко вздыхая. Спокойно клала на постель свое сухое и длинное тѣло миссисъ. Она окутывала ноги свои шалью, а потомъ покрывалась грязнымъ ватнымъ одѣяломъ краснаго цвѣта. Нагрѣвшись тамъ, она удушливымъ голосомъ говорила своей горбатой дочери:

— Тушите лампу, моя несчастная дочь. Керосинъ стоитъ дорого, а вамъ пора спать...

Въ углу стоялъ сундукъ, на немъ были тюфячокъ, маленькая подушка и теплое одѣяло; и туда, уткнувшись въ стѣнку, ложилась горбатая Руфь.

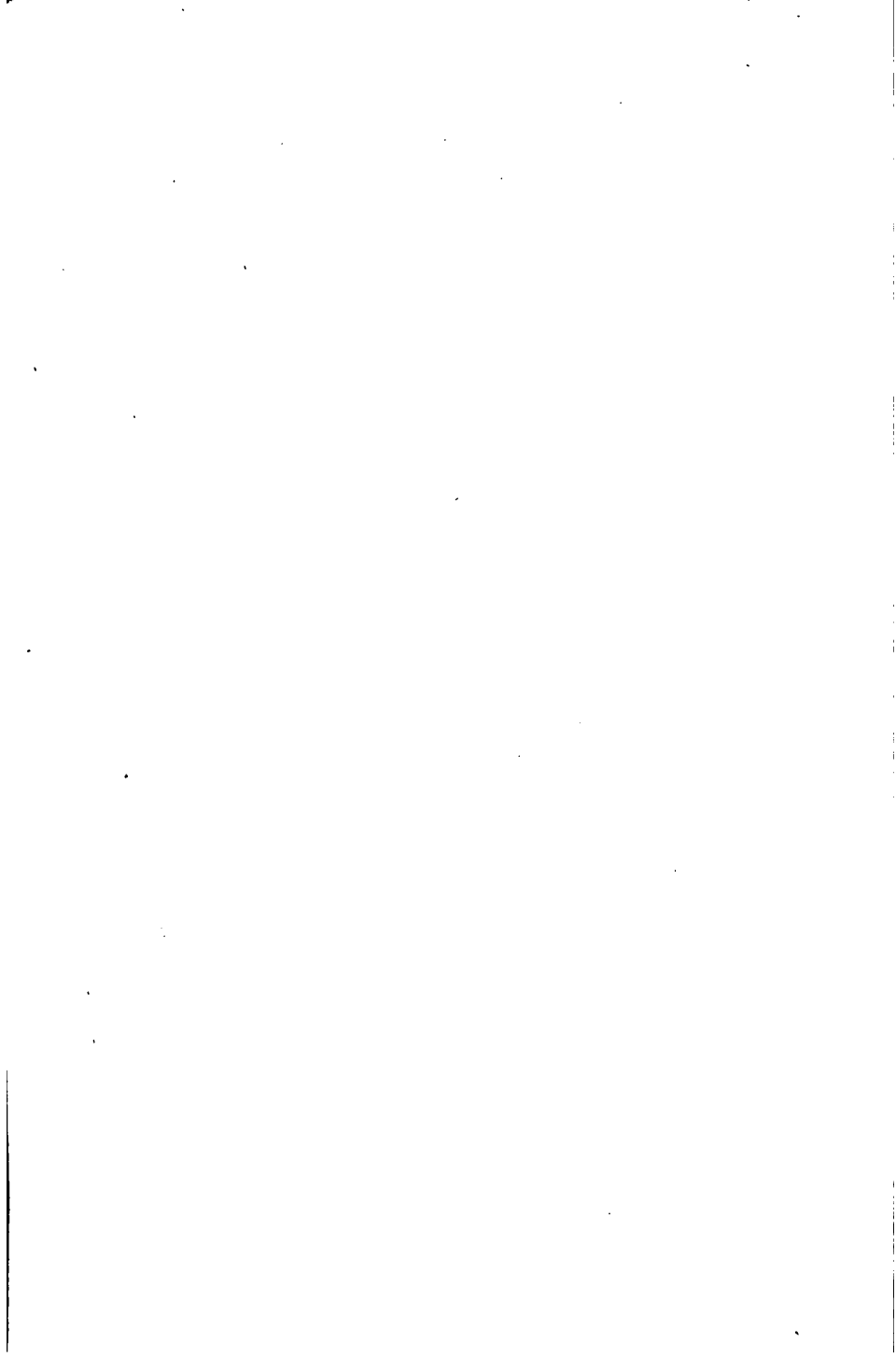
Она боялась и любила темноту. И когда она тушила огонь, наступала молчаливая темнота, такая черная и густая. Казалось, что всѣ предметы въ комнатѣ кружатся въ безмолвіи ночи. Горбунья быстро вскакивала на свою постель, дрожа закрывалась съ головой одѣяломъ и, полежавъ тамъ недолго, выглядывала и манила кого-то изъ темноты... Опять пряталась... Потомъ засыпала. Во снѣ она бредила, а иногда кричала.

Потушили огни въ трактирѣ, гдѣ ярко горѣлъ свѣтъ. Выгнали оттуда пьяныхъ и заперли двери.

Настала тамъ другая жизнь, съ темными огнями. Щелкали карты, стучали кости, хлопали бутылки и звенѣли стаканы. Начинался темный и грязный пиръ воровъ, сыщиковъ и жирныхъ людей...

Порой раздавался пьяный крикъ женщинъ, заглушаемый ударомъ. Слышался тихій плачь жены молодого трактирщика съ бѣлыми волосами...

И было тихо на длинной улицѣ. Только иногда воспламенится газъ въ трубѣ завода... На мгновеніе улица вздрогнетъ, точно подпрыгнетъ... И снова падаетъ въ свой угрюмый, темный, рабскій сонъ.



ЭМИЛЬ ВЕРХАРНЪ.

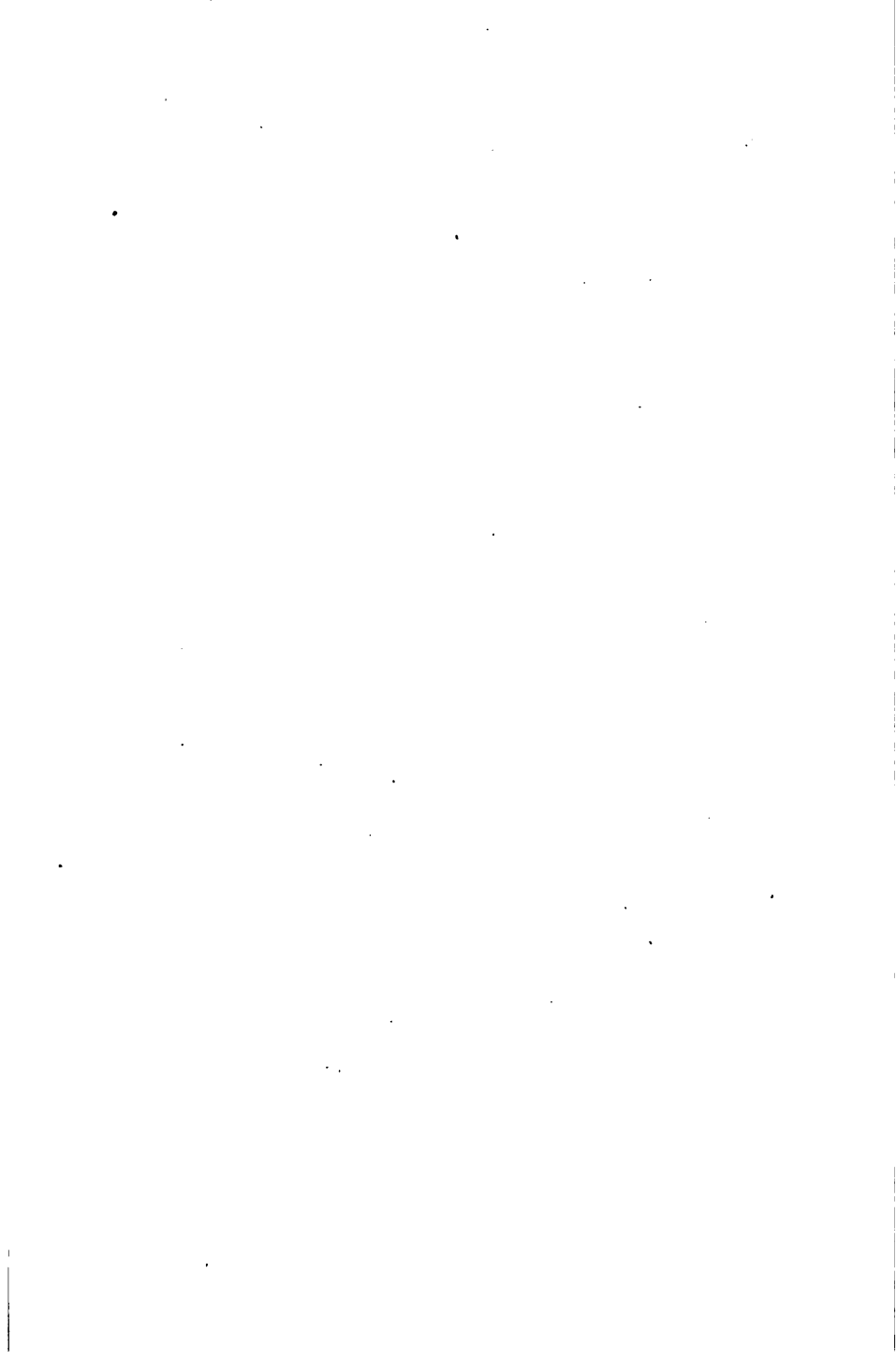
ВЪ ДЕРЕВНЪ:

1. РАВНИНЫ.

2. НИЩІЕ.

Изъ книги „Les campagnes hallucinées“.

Переводъ Г. Чулкова.



Равнины.

Подъ небомъ тоски и печали,
Гдѣ тучи къ равнинѣ припали,
Версты идутъ...
И тучь безконечныхъ гряда
Влечется въ небесной пустынь,
А версты идутъ по равнинѣ
Въ безвѣстную даль, туда...

И высятся въ селахъ надъ крышами башни;
Усталые люди идутъ вереницей, всегда—
Отъ пашни до пашни.
Такъ люди блуждаютъ, имъ отдыха нѣтъ,—
И стары, какъ путь, за плечами сто лѣтъ,—
Изъ равнины въ равнину плетутся
Черезъ былые года и на-вѣчно;
И обозы телѣгъ безконечно
Впереди и за ними влекутся
Къ деревнямъ, на ночлегъ—
Вереница телѣгъ...
И мучителенъ крикъ утомленныхъ осей
Въ безпредѣльности дней и ночей.

Безконечность равнинъ,
Какъ томительный сплинъ!

И въ язвахъ—земля, на участки разбита,
Межами изрыта

Поля такъ печальны и фермы убоги,
И двери всѣ настежь у самой дороги.
И кровлю гнилую—какъ будто корыто—
Вѣтеръ дырявить ударомъ невѣрнымъ.
Ни травки зеленой, ни красной люцерны,
Ни зернышка хлѣба, ни листьевъ, ни льна, ни ростка,
Такъ годы проходятъ—за вѣкомъ вѣка.
И кленъ у порога, грозю расколотъ,
Въ себѣ воплощаетъ страданье и голодъ.

Равнина, равнина! Блѣднѣе пустыни!
Всегда безконечна—и прежде, и нынѣ...

И часто въ лазури
Рождаются страшныя бури;
И, кажется, молотъ
Колеблетъ временъ коромысла,
Равняетъ ударами числа.

Ноябрь завываетъ въ безумномъ туманѣ,
Какъ вечеромъ волкъ на печальной полянѣ.
И сучья, и травы замерзли, несутся,
И листья въ аллеяхъ влекутся,
Ударами кто-то ихъ гонить въ канавы...
И тамъ, на дорогахъ, распятыя
Раскрыли во мракъ объятья,
И будто растутъ и внезапно уходятъ,
При крикахъ отъ страха, туда, гдѣ заходятъ
Кровавыя зори.

И снова равнина, и снова равнина,
Гдѣ ужасъ блуждаетъ, гдѣ вѣчно кручина!

Рѣка отошла отъ своихъ береговъ,
И волны не могутъ достигнуть луговъ.
И въ ложѣ рѣки—торфяныя запруды
Дугой искривились.—Ненужныя груды!—

Какъ почва, погибли и высохли воды;
И межъ острововъ, отъ морской непогоды
Въ бухтѣ закрытой—яростно молоты, пилы
Рушатъ и пилятъ стропила
Старыхъ, гнилыхъ кораблей.

Безконечность равнинъ,
Какъ томительный сплинъ!

По колеямъ утомленныхъ полей,
Траурныхъ, жалкихъ полей,
Шествуетъ бѣдность въ вѣкахъ...

О равнина, равнина!
И птицы крылами ее бороздятъ,
Мелькая въ небесныхъ волнахъ,
Съ тоскою о смерти кричатъ.

О равнина, равнина!
Однообразна равнина, какъ злоба, и вѣчна;
И страна безконечна,
Гдѣ блѣдное солнце, какъ голодъ, царить.
А на рѣкѣ одинокой—вдали—
Въ водоворотѣ кипить
Великое горе земли.

Нищіе.

Въ зимніе дни, когда сковано холодомъ
Лоно полей и болотъ, и долинъ,
Вѣхи разставлены злобой и голодомъ,
По безконечности сельскихъ равнинъ,
Нищіе съ видомъ безумнымъ...

Долгою ночью, всегда утомленные,
Вглубь по дорогамъ идутъ,
Корки отъ хлѣба, дождемъ орошенныя,
Корки отъ хлѣба несутъ.
Шляпы—какъ сажа, и спины—какъ своды,
Медленный шагъ—какъ напѣвность невзгоды.
Тамъ, гдѣ насыпаны листья во рвахъ,
Въ полдень они отдыхаютъ;
Жесты моленій, молитва въ устахъ
Нищихъ на-вѣкъ утомляютъ.
Нищіе въ дверь не рѣшатся стучать,
Вечеромъ бродятъ подъ окнами тайно;
Если же дверь распахнется случайно,
Надо бѣжать.

Нищіе съ видомъ безумнымъ...

Такъ ихъ толпа поспѣшаетъ
Мимо печальныхъ полей,
И глубина ихъ голодныхъ очей
Скудость полей отражаетъ.

Бѣдною, жалкою стаей своей,
Видомъ своимъ хромоногимъ,
Въ лѣтніе дни, среди новыхъ полей,
Птицъ они гонять съ дороги.
Злится декабрь межъ кустарниковъ нынѣ,
Злобно морозить въ могильной пустынѣ,
Тѣхъ, что на днѣ притаились гробовъ—
Мертвецовъ.

Нищие стали рядами
На церковной дорогѣ,—
Прямы, упорны, убоги,
Будто кресты, стали рядами...

Нищие съ видомъ безумнымъ...

Спины согнуты, какъ будто поклажа;
Шляпы ихъ грязны—какъ сажа.
Живутъ на распутьѣ,
Гдѣ вѣтеръ и дождь.

Они—это шагъ непрестанный
Отъ края до края.
— Тотъ, кто приходитъ и снова уходитъ,
Всегда все такой же, всегда неустанный.

Они—съ костылями,
Калѣйки съ кривыми ногами,
И стуки ихъ палокъ—какъ звонъ нищеты,
Какъ зовъ отъ мірской суеты.

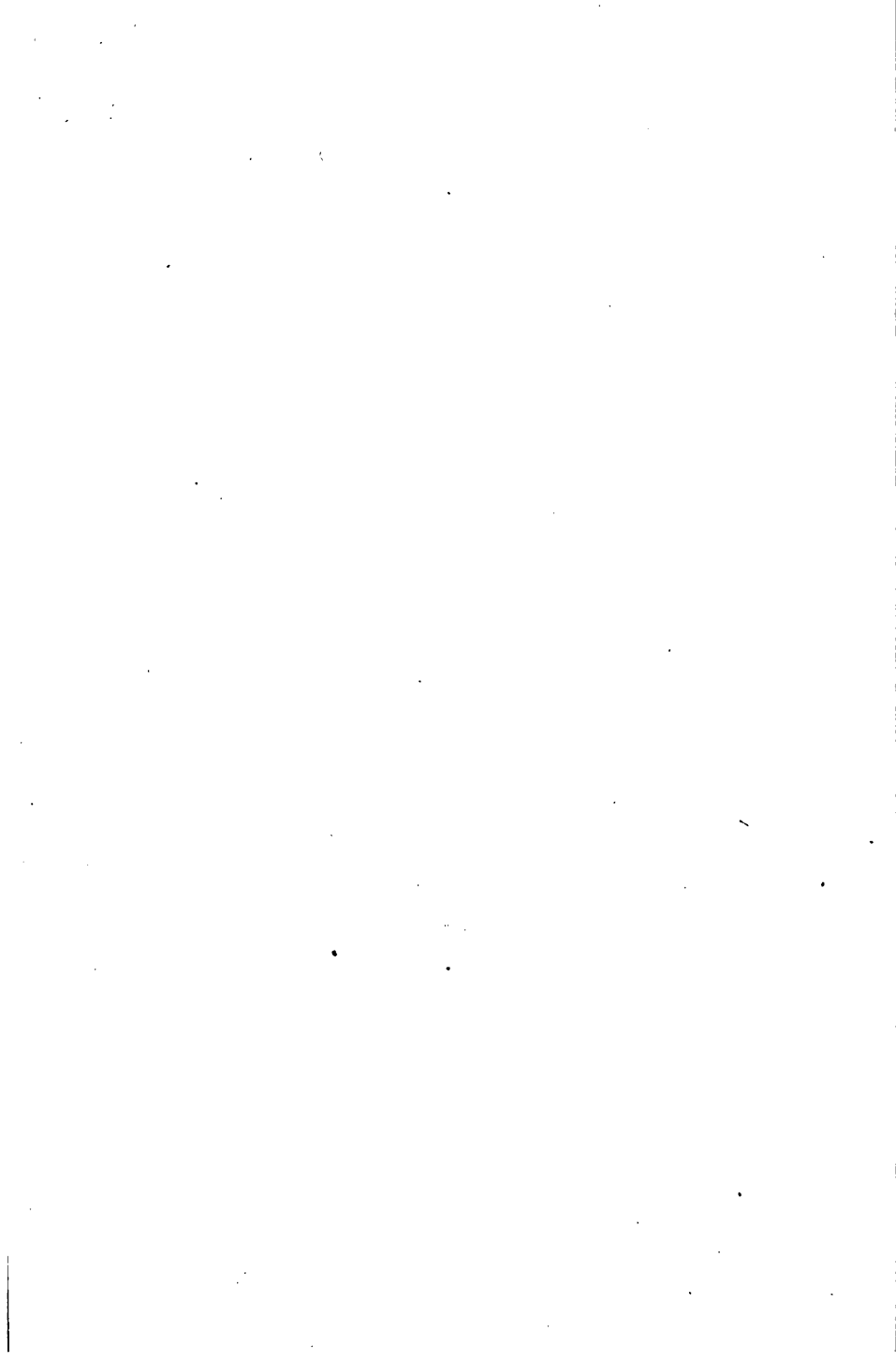
И вотъ состраданьемъ сердечнымъ
Душа ихъ и тѣло на-вѣчно
Отмѣчены: знаки вѣнца!
Страданія ихъ безконечны,
И мукъ не будетъ конца.

Измучены голодомъ, жаждой,
Они, наконецъ, упадутъ,
И въ землю зароется каждый.
Какъ волки упрямы,
Въ глубокія ямы
Залягутъ до смертныхъ минутъ.
И горе, и горе
— Старфе, чѣмъ море—
Недвижное станетъ въ глазахъ.

И вотъ, когда люди придутъ,
Исполнивъ земныя дѣла,
И на-скоро въ землю опустятъ тѣла,
Они не посмѣютъ увидѣть въ глазахъ
Угрозы—угрозы на-вѣкъ—
Что смотреть изъ мертвенныхъ вѣкъ.

А. СЕРАФИМОВИЧЪ.

ВЪ СЕМЬѢ.



I.

Наташа Цыганкова со свѣжимъ отъ недавняго умыванія личикомъ шла по аллеѣ въ гимназію маленькими, торопливыми шагами. Отбрасывая косыя, неуспѣвшія подобраться тѣни, провожали ее знакомые неподвижные ряды тополей, и въ непроснувшемся еще воздухѣ не струился ихъ трепетный серебристый листъ.

И по аллеѣ, и по тротуарамъ въ обѣ стороны торопливой, дѣловой походкой, съ отдохнувшими лицами шли люди.

Проѣхалъ, тарахтя пустой бочкой, водовозъ и крикнулъ бабѣ у воротъ:

— Эй, тетка, не надо-ль воды?

И эхо звонко и весело перекинулось между домами.

Когда громъ колесъ по мостовой смолкъ, въ прозрачно-голубомъ неподвижномъ воздухѣ стояла такая тишина, какъ будто на теряющейся вдаль улицѣ никого не было. Чтобъ не нарушать эту свѣжую, полную радостной улыбки тишину, недавно выѣхавшіе извозчики стояли неподвижно на углахъ въ добродушномъ ожиданіи.

Сквозь деревья глянуло бѣлизной большое зданіе. И смѣшанное чувство начинающагося трудового дня, привычнаго и скучнаго порядка, неоформленное желаніе какихъ-то иныхъ ощущеній, чувствъ, впечатлѣній, встрѣчъ овладѣло Наташей.

Отовсюду шли фигурки въ коричневыхъ платьяхъ

и черныхъ передникахъ. Встрѣчались, здоровались, цѣловались, стрекотали, и въ чутко-звонкомъ воздухѣ надъ улицей, рѣзво носились дѣтскіе голоса, точно проворно и рѣзво рѣявшія, сверкавшія на солнцѣ ласточки.

Наташа потянула большую пѣвучую дверь и съ толпой неугомонно шумѣвшихъ, смѣявшихся ученицъ потонула въ смутномъ гулѣ огромнаго зданія.

Изъ раскрытыхъ дверей пятаго класса непрерывно неся говоръ и гомонъ. И этотъ гомонъ, и цыфра V надъ дверями, и ряды виднѣющихся партъ, и паутина, обвисшая сѣрой бахромой въ углу, все носило особенный отпечатокъ, имѣло особенный смыслъ и значеніе, какъ будто вся гимназія, всѣ интересы, всѣ событія и всѣ помыслы начальства и учителей тянулись сюда, концентрируясь, какъ около фокуса.

По мѣрѣ того какъ Наташа переходила изъ класса въ классъ, это значеніе центра и средоточія гимназической жизни передвигалось изъ класса въ классъ: старшіе классы были смутнымъ будущимъ, младшіе уже отмирающимъ прошлымъ.

Она вошла въ свой классъ, стукнула книжками о парту и возгласила, стараясь говорить мужскимъ голосомъ:

— Милостивыя государыни и милостивые государи, объявляю засѣданіе открытымъ... Кто не выучилъ по исторіи, подымите руки!...

Однѣ, прижавъ уши, повторяли уроки, другія, обнявъ другъ друга за талію, гуляли. За доской надъ чѣмъ-то заразительно хохотали.

— Тише, Оса идетъ!...

Смѣхъ, гомонъ и шумъ поползли по классу, точно слегка придушенные. Вошла Оса. Оттого, что кругомъ были свѣжія, юныя, съ сіющими глазами лица, передъ которыми только развертывалось будущее смутной дымкой мечты, счастья, любви и радости,—Оса, невѣ-

реятно перетянутая, готовая переломиться, съ поблекшимъ лицомъ, съ печально-унылымъ прошлымъ, гдѣ не было ни счастья, ни любви, ни материнства, казалась еще востроносѣе, еще злѣе.

— Mesdames, что за праздникъ у васъ?... Что за шумъ? Вѣдь вы же не въ приготовительномъ классѣ.

Началось то, чѣмъ начинался для Наташи каждый день вотъ уже пятый годъ. Ею разомъ овладѣлъ бѣсъ злобно-раздраженнаго веселья.

Все шло заведеннымъ порядкомъ: было скучно, сѣро, и хотѣлось не то смѣяться, не то плакать. Никто ничего не могъ сказать, никто не могъ даже формулировать вопроса. Всѣ съ недоумѣніемъ посматривали другъ на друга, но читали у каждого на лицѣ такое же недоумѣніе и вопросъ. Уроки, перемѣны, звонки, все шло своимъ порядкомъ, но рядомъ стояло что-то свое, особенное, напряженное и непонятное.

— Что такое?

— Да гдѣ?

— Кто сказалъ?...—слышалось то тутъ, то тамъ.

А на урокахъ всѣ съ серьезными, озабоченными и непонимающими лицами поглядывали на окна, другъ на друга, ища причины странной, не проявляющейся, но растущей тревоги.

Слышали, какъ Оса сказала:

— Они идутъ!...

Слышали, какъ въ учительской преподаватели горячо, взволнованно о чемъ-то спорили, и то и дѣло доносилось:

— Да нѣтъ же... не допускать...

— А я вамъ говорю, будутъ здѣсь, и....—но хлопнутая дверь отрѣзала слова, и былъ слышенъ только общій говоръ.

Начальница торопливо прошла по корридору. Лицо ея потеряло всю важность и величіе, было блѣдное, растерянное, и она только повторяла:

— Ахъ, Боже мой, Боже мой!...

Тогда тревога достигла высшаго напряженія. Гулъ огромнаго зданія разомъ упалъ, точно тамъ никого не было. Вдругъ все разрѣшилось поразительно странно и неожиданно.

Смутные звуки откуда-то извнѣ стали доноситься, все разрастаясь, все становясь шумнѣе. Всѣ вскочили, какъ отъ электрической искры, съ испуганнымъ изумленіемъ глядя другъ на друга.

Тогда Оса, блѣдная, съ пятнами на щекахъ, прошипѣла:

— Не смѣйте подходить къ окнамъ.

И какъ только сказала это, всѣ ринулись, какъ по командѣ, роняя книги, ручки, чернильницы, и прилипли къ окнамъ.

Густымъ колышавшимся потокомъ заливала толпа площадь. Ближе, ближе... Треплются и плывутъ красные флаги съ надписями, но надписей еще нельзя разобрать. Надъ толпой, надъ площадью, надъ сосѣдними улицами съ могучей дрожью звучать тысячи голосовъ и возносятся къ небу, и царятъ надъ городомъ.

Совсѣмъ близко. Уже можно различить надписи: „Конституція!“... „Да здравствуетъ свобода!“... „Да здравствуетъ рабочій народъ!“... Уже можно различить лица.

Пѣніе смолкаетъ. Надъ толпой, мелькая и переворачиваясь, летятъ вверхъ тысячи шапокъ, и потрясающее, все покрывающее „ура“ раскатывается по площади, по улицамъ, врывается въ гимназію, и стекла жалобно звенятъ. Гимназистки машутъ платками, кланяются, смѣются, снова машутъ, оживленные, раскраснѣвшіяся.

Шумной гурьбой врываются другіе классы. Маленькія, цѣпляясь, карабкаются на подоконники, и только и слышится: „Миленькія, дайте же мнѣ посмотрѣть хоть однимъ глазкомъ“

Оса въ ужасѣ мечется, стараясь оттащить отъ оконъ. Но одну оттащить, а десять уже прилипло. Тогда въ изступленіи она кричитъ тонкимъ голосомъ:

— А-а... такъ вы такъ?... такъ знайте: они пришли васъ перерѣзать; флаги у нихъ красные отъ крови, они кричатъ „свобода“, значитъ, все могутъ сдѣлать съ вами....

На секунду воцаряется мертвая тишина, потомъ раздается оглушительный визгъ, крики, плачь. Маленькія бросаются бѣжать; истерическіе вопли, стоны, заражая, несутся по всей гимназіи.

Оса отчаянно кричитъ:

— Успокойтесь, mesdames... успокойтесь!.. Я пошутила... это все хорошій, милый народъ.... они очень милые!..

Никто не слушаетъ. Бѣгутъ по корридору, маленькія цѣпляются за классныхъ дамъ, облѣпили и повалили начальницу. Учителя, сторожа, горничныя начинаютъ растаскивать по классамъ. Вся гимназія бьется въ истерически-судорожныхъ рыданіяхъ.

Наташа, глядя на всю эту кутерьму, сначала судорожно хохочетъ, потомъ, не умѣя справиться съ собой, начинаетъ сквозь смѣхъ также судорожно плакать.

II.

Пришла воинская команда, отѣснила манифестантовъ, очистила площадь. Дѣвочекъ распустили.

Наташа шла возбужденная и радостная, и странная пустота улицъ поразила ее. Магазины закрыты; безлюдно, молчаливо.

— Мапочка, милая... Вѣдь конституція... свобода!..

Онѣ бросились и долго цѣловали другъ друга. Наташа отодвинула лицо матери, съ секунду вглядывалась и опять страстно принялась цѣловать.

— Какая ты у меня красавица, мамочка... королева!..

Пришелъ Борисъ въ гимназической блузѣ и съ демонстративно серьезнымъ лицомъ.

— Боря, милый, что у насъ было!.. Что у насъ было, еслибъ ты зналъ!.. Манифестація была...

— Да это мы же и были,—мальчишескимъ басомъ проговорилъ Борисъ: — а вы хороши, хоть бы одинъ классъ вышелъ.

— Да-а, выйдешь,—одна Оса чего стоитъ...

Борисъ важно помолчалъ и проговорилъ съ сосредоточеннымъ видомъ:

— Разумѣется, манифестаціи имѣютъ значеніе постольку, поскольку онѣ пробуждаютъ классовое самосознаніе...

Наташа, напѣвая и придерживая двумя пальчиками платье, прошлась мазуркой и остановилась передъ матерью.

— Мамочка, а ты знаешь,—наше классовое самосознаніе каждый день брѣветъ усы... чтобъ скорѣй росли.

— Я на глупости не отвѣчаю.

И помолчавъ, сердито добавилъ:

— Ты должна отлично знать гимназическое правило—не носить бороды и усовъ...

Наташа подмигивающе звонко расхохоталась и захлопала въ ладоши.

— Что-то папы долго нѣтъ.

Столъ былъ накрытъ и сверкалъ ослѣпительной скатертью, тарелками, свернутыми трубочкой въ кольцахъ салфетками; и было все такъ уютно, чисто, привлекательно, что Наташа не могла утерпѣть и все пощипывала хлѣбъ.

— Мама, она у чернаго хлѣба всю корочку общипала, а у бѣлаго всѣ горбушки съѣла.

— Наташа, что это!.. А потомъ сядешь и ѣсть ничего не будешь. Отецъ сейчасъ придетъ...

— Вреть, вреть, вреть, мамочка, ей-Богу, вреть... я только двѣ корочки съѣла, а горбушку... а у горбушки у одной... да и то не съѣла, а только надкусила... пусть это для меня... пусть это моя будеть...

И наморщивъ на минуту тоненькія, не умѣющія хмуриться черныя брови, вдругъ весело разсмѣялась какимъ-то своимъ, внезапно пришедшимъ, мыслямъ, и опять, придерживая черный передникъ, прошла изъ угла въ уголъ, покачиваясь и притопывая черезъ разъ мягкими туфельками..

Пришелъ Цыганковъ, поцѣловаль дочь и руку жены. Съѣли за столъ. Отчего-то было особенно весело, и смѣхъ дрожаль въ комнатѣ. Боря рассказываль, какъ старухи на окраинахъ крестились и со слезами, умиленно кланялись краснымъ флагамъ, принимая ихъ за хоругви. Но къ концу обѣда, какъ и въ гимназіи, почудилась странная, неопредѣлившаяся и безпокойная тревога.

Что такое?

Отецъ нѣсколько разъ подходилъ къ окнамъ и глядѣль на улицу, сумрачный и озабоченный.

— Не уходите, пожалуйста, изъ дома сегодня.

— Почему?

Въ комнатѣ было все такъ же уютно, весело, и изъ оконъ падали на полъ яркіе четырехугольники, залитые солнцемъ. Изрѣдка прогремѣть извозчикъ.

Когда Анисья, съ рябымъ, замученнымъ постоянной работой лицомъ одной прислуги, подала сладкое, она не ушла сейчасъ, а остановилась и не то недоброжелательно, не то недоумѣвающе покачала головой.

— Тамъ... пришли...

И то, что она не сказала, кто пришелъ, разомъ повысило напряженіе тревоги и безпокойства.

Отецъ и мать быстро поднялись изъ-за стола и пошли въ кухню. Вскочилъ Борисъ, и, уронивъ стулъ, какъ коза, прыгнула Наташа.

непреклонности на красивомъ, гордомъ лицѣ, распоряджалась, и дѣло кипѣло. Она чувствовала себя такъ, какъ будто надо было перевязывать раненныхъ, стонавшихъ и ползавшихъ по окровавленной землѣ.

Поставили самовары, кипятили въ кубахъ и кастрюляхъ воду, собрали все, что было можно, въ домѣ, кормили дѣтей, поили чаемъ. И домъ сталъ похожъ на бивуакъ, на раскинувшійся станъ, надъ которымъ стоялъ сдержанный говоръ и гомонъ. Люди сбивались группами, шопотомъ говорили. Капризничали дѣти. Стѣны и плотно закрытыя двери заслоняли совершавшееся въ городѣ, и своя, быстро сложившаяся жизнь съ минутными интересами продолжалась въ квартирѣ: роняли самоварную крышку или, со звономъ разбиваясь, падалъ стаканъ,—всѣ вздрагивали и съ испугомъ переводили глаза на окна и двери.

Наташа носилась по всѣмъ комнатамъ, присаживалась то тамъ, то тутъ, и ея смѣхъ въ этой атмосферѣ тоски и отчаянія, когда какой-нибудь карапузъ начиналъ торопливо сосать ея палецъ, звенѣлъ необычайной лаской, примиреніемъ и мягкостью.

— Мамочка, какіе они пресмѣшные... Отчего они всѣ такіе голомозгіе?.. Какъ думаешь, думаютъ они о чемъ-нибудь?.. Я думаю, что думаютъ, а то отчего они такъ брыкаются...

Анисья сбилась съ ногъ, бѣгая въ кухню и изъ кухни; она то и дѣло вытирала фартукомъ красные глаза. И когда давала себѣ передышку, становилась у притолки, подпирала рукой локоть и качала головой, плотая слезы.

— И-и-и, болѣзненные мои!.. Горькіе мои!.. Младенцы то несмысленные... неповинныя души ангельскія... Варвары-то земные вторую улицу бьютъ, всю пухомъ застелили, въ квартирахъ-то все до-чиста бьютъ да ломаютъ, да рвутъ... сколько народу загубили неповиннаго, и ребенчковъ не жалѣютъ варвары... и нѣтъ на нихъ

ни суда, ни расправы, а възъщеть Господь... это вы мнѣ и не говорите, възъщеть съ нихъ, иродовъ, попомните мое слово.

И она опять вытирала фартукомъ неудержимо выступавшія слезы, и снова бѣгала, кипятила, варила, подавала, помогала матерямъ убирать за дѣтьми.

— Такъ вотъ что!..—съ удивленіемъ говорила себѣ Наташа, глядя вокругъ широко раскрытыми глазами.

И хотя *тамъ* дѣлали страшное дѣло, но это было за стѣнами, а здѣсь кипѣли самовары, дѣтишки расположились таборомъ, какъ въ Ноевомъ ковчегѣ. И Наташа всей душой была поглощена тѣмъ, что дѣлалось тутъ.

IV.

Сумерки вползали въ квартиру. Люди постепенно тонули въ безмолвно сгущающейся мглѣ, и черныя окна загадочно-нѣмо глядѣли, не раскрывая тайны готоваго совершиться.

Огня не зажигали. Никого не было видно, но чувствовалось, что этотъ густѣющій мракъ заполненъ дыханіемъ людей.

Слышенъ шопотъ:

— О Богъ, Богъ!..

Задавленные вздохи, да минутный крикъ ребенка... Кто-то молится въ углу, и шепчущіе, спутанные, неясные звуки съ таинственнымъ шорохомъ расползаются по черной комнатѣ. Ночь тянется, нѣмая, чреватая неизвѣстностью. Въ столовой перестали бить часы, и время потерялось среди мрака, среди ожиданія.

Достали ковры, тюфяки, подушки, верхнее платье; все это разостлали по полу, по столамъ, на роялѣ и устроили дѣтей. И люди ворочались и шуршали, какъ раки, въ темнотѣ.

Ночь тянулась такъ однообразно-темно, такъ безко-

нечно-долго, что ощущение страха, ощущение тоски и горя притупилось, какъ будто былъ только этотъ шорохъ, этотъ подавленный шопотъ вздоха, и ничего не было за окнами, въ которыя смотрѣлась молчаливая мгла.

Стало свѣтать, но это не было утро,—стояла глухая, глубокая ночь. И это не былъ утренній разсвѣтъ: кровавый, чуть брезжущій отсвѣтъ тихонько и незамѣтно разливался по комнатамъ. Постепенно выступали, окрашиваясь, стѣны, лица, мебель, волосы, лежащiе на полу люди.

И окна глядѣли красныя.

Евреи стали собираться кучками, нагибаясь и не подымаясь выше красныхъ подоконниковъ, жестикулировали, показывали руками на красныя окна; стоялъ подавленный шопотъ, и глаза у нихъ были большiе и круглые.

Наташа, присѣвшая на кровати, боролась съ молодымъ, неодолимымъ сномъ. Наконецъ, головка свалилась.

Кто-то толкнулъ. Наташа вскочила съ испуганно бьющимся сердцемъ. Все было залито кроваво-краснымъ свѣтомъ, ея руки, платье, и около никого не было.

Наташа прислушалась. Въ первый моментъ показалось,—стоитъ тяжело-колеблющаяся тишина, но потомъ она различила, что улица заполнена глухимъ, мутнымъ гуломъ. Кто-то огромный хрипло рычалъ, то падая, то подымаясь, и минутами рычанiе переходило въ ревъ. И ревъ стоялъ, тяжело дрожа, и заглядывалъ въ кровавыя окна.

Должно быть, былъ въ этомъ какой-то особенный смыслъ, потому что евреи хватили ея за руки и умоляюще шептали:

— Барышня... хорошая барышня, не подходите къ окнамъ... Пусть не знаютъ, что тутъ люди... пусть не знаютъ, что тутъ люди...

Наташа задумчиво отошла отъ окна и, забывъ про жавшiяся, согнутыя краснѣвшiя фигуры евреевъ, при-

слонилась къ роялю, на которомъ изъ-подъ пеленокъ торчали голенькія, грязныя ножонки. Хотѣлось вспомнить что-то неотложное и требующее вниманія, но это не удавалось. Напрягая память и собравъ не умѣющія хмуриться брови, она проговорила:

— Мама, что такое?

Мать, со строгимъ и въ то же время ласковымъ лицомъ, успокаивала плачущихъ женщинъ. Отецъ что-то говорилъ сбившимся около него евреямъ, и голосъ его былъ живой, а ревъ, рвавшійся въ красныя окна, былъ слѣпой и злобный и казался кровавымъ. Тогда Наташѣ пришло въ голову:

Хвостъ чешую змѣиной покрытъ,
Весь замирая, свиваясь, дрожить...

Наташа прошла въ кухню.

— Анисья!

Анисья, не обращая вниманія и не слушая, гремя, мыла тарелки и торопливо и сердито ворчала:

— Духъ-то чижолый... не продохнешь... всѣ комнаты запакоостили...—И плюнула.

Не понимая, о чемъ идетъ рѣчь, Наташа пошла въ комнаты, и все сверлило:

Хвостъ, замирая, свиваясь, дрожить...

Какъ только она отворила дверь, тяжело ревушій вой, казалось, подъ самыми окнами, ринулся на нее, терзая и мучая. Онъ давилъ все, топталъ живые человѣческіе голоса и безумно метался въ красныхъ окнахъ.

Наташа тревожно, съ болѣзненнымъ личикомъ, озиралась, точно ища мѣста скрыться отъ этого тяжело дрожащаго воя, который то бился, то ровно, монотонно, упорно стоялъ въ окнахъ.

— Мамочка, да что же это такое!.. Боже мой, что же это, наконецъ, такое!..

— Скажи Анисьѣ, чтобы ставила опять самовары, — надо взрослыхъ поить: вѣдь ничего не ѣли, и неизвѣстно, сколько это протянется.

Анисья и слѣдъ простылъ. Борисъ самъ засучилъ рукава и наливалъ самовары. Наташа помогала, нервно и безъ причины смѣясь.

— Ну чего ты?—сердито говорилъ Борисъ.

А вой, дрожа, стоялъ въ краснѣющихъ окнахъ, ни на минуту не ослабляя своей силы. И Наташа металась, сдавливая голову обѣими руками, точно голова, переполненная этимъ ревущимъ, мнущимся своимъ, готова была лопнуть.

— Мамочка... я не могу, не могу... такъ не могутъ ревѣть люди...

Она затыкала уши, но и сквозь пальцы все стоялъ онъ, воющій, слѣпой и злобно трясущійся. Чудовище тяжело ворочалось, и судороги бѣжали по его мягкотѣлому обвисшему брюху. Наташа торопливо легла на кровать и придавила голову подушкой, но и теперь чувствовала дрожаніе отъ глухо замирающаго въ головѣ рева.

V.

Когда Цыганкова заглянула въ кухню, Анисья стояла у стола и перебирала тонкія полотняныя сорочки съ прошивками. Она улыбалась, подымала брови, причмокивала языкомъ и разговаривала сама съ собой.

— Анисья, что-жъ вы самовары?.. Вѣдь тамъ же ждуть.

— Кабы люди ждали, а то нехристи, прости, Господи, душу мою грѣшную... И удивляюсь я вамъ, барыня, что вы возитесь съ этой нечистью... Христа распяли...

— Да вы съ ума сошли!.. Что это у васъ?

— А это, барыня,—лицо Анисьи лучезарно расплылось,—въ кой-то вѣки полотняныя сорочки себѣ завела... такія ужъ тонкія да гладкія, чисто шелковыя...

Цыганкова всплеснула руками.

— Анисья, да вѣдь это—грабежъ!..

Лицо Анисьи сразу стало злымъ и ожесточеннымъ.

— Насъ, барыня, весь вѣкъ грабятъ, да молчимъ... Я, барыня, вами очень довольна и барышней, и баринѣмъ, ну только съ ранней зари до поздней ночи присѣсть некогда, а ни во мнѣ, ни на мнѣ... За восемь цѣлковыхъ не токмо руки, душу продала... а сдохну на улицѣ, знаю... а тутъ само добро въ руки просится... А самоваровъ іудамъ искаріотскимъ не буду подавать. Будя имъ изъ младенцевъ кровь христіанскую пить... И, хлопнувъ дверьми, Анисья ушла.

Казалось, не будетъ конца этой томительно-красной ночи, этому чудовищно-звѣриному реву, который стоялъ въ окнахъ страшнымъ предостереженіемъ противъ чего-то неизвѣстнаго, готоваго совершиться. Это томительное ощущеніе ожиданія передалось Наташѣ, и она смотрѣла то на красныя окна, то на плотно запертыя двери, ожидая, что вотъ-вотъ войдетъ особенное и неожиданное.

И оно вошло, вошло вмѣстѣ съ высокимъ, согнутымъ старикомъ. У него была большая борода, вся залитая багровымъ заревомъ, какъ и платье, лицо, руки. Онъ вошелъ невѣрной, качающейся походкой, мутно обводя глазами, въ которыхъ также отражалось багровое зарево. Тогда всѣ потянулись къ нему глазами, въ страшномъ напряженіи, какъ будто съ нимъ пришелъ приговоръ. Онъ опустился на стулъ и молчалъ, глядя передъ собой. И всѣ молчали. Потомъ онъ сказалъ:

— У меня нѣтъ семьи, у меня нѣтъ дѣтей, нѣтъ дома, все отняли, я—нищій, и со спокойной совѣстью приму отъ васъ милостыню...

Хотя голосъ у него былъ старческій и слабый, а за окнами по-прежнему, ни на минуту не смолкая, стоялъ ревъ,—всѣ жадно уловили все до послѣдняго слова. И въ багровомъ сумракѣ смутно пронесся сдавленный стонъ-вдохъ:

— О Богъ, Богъ!..

— Несчастье на насъ и на дѣтяхъ нашихъ!..

Цыганкова неподвижно стояла, слегка наклонившись, не отрывая глазъ отъ старика. Торопливо сѣла съ нимъ, порывисто обняла за плечи и заплакала. И онъ заплакалъ, и всѣ плакали, кто былъ въ квартирѣ. Наташа судорожно зажимала платкомъ ротъ, и, казалось смѣялась тонкимъ голоскомъ, а Борисъ хмуро отворачивался и недовольно моргалъ глазами. Такъ сидѣли люди въ красной темнотѣ, и сердце билось у нихъ однимъ бие-ніемъ.

VI.

Анисья просунула голову въ дверь и прокричала:

— Народъ убиваетъ всѣхъ, кто жидовъ прячетъ... ей-Богу, вотъ вамъ крестъ!..

Всѣ вскочили, схватили дѣтей.

Цыганковъ бросился въ кухню, потомъ пробѣжалъ въ кабинетъ, торопливо вышелъ оттуда и проговорилъ срывающимся голосомъ, протягивая болтающіеся на ленточкахъ дешевые мѣдные крестики:

— Наташа, Борисъ, надѣньте... сейчасъ, сію же минуту... Это необходимо...

— Папочка, да зачѣмъ?..

— Надѣньте, надѣньте же, я говорю... Слышите?

И вдругъ въ душномъ, кроваво-озаренномъ воздухѣ почувствовалась вражда и злоба. Казалось, врагъ таился въ этихъ затѣненныхъ багровыми колеблющимися тѣнями углахъ, здѣсь, въ душевныхъ комнатахъ. Про евреевъ забыли, но уже не угощали чаемъ, не заботились, а растерянно, точно разыскивая что-то, ходили по комнатамъ, и чувство напряженія и ожиданія росло.

Только Наташа легко и свободно, какъ будто въ классѣ во время перемѣны, носилась по всѣмъ комнатамъ, присаживалась передъ женщинами на корточки,

и ея звонкій, свѣжій дѣвичій голосокъ звенѣлъ, выдѣляясь на дрожащемъ воѣ:

— Дорогія мои, не бойтесь... не бойтесь... Все пройдетъ... Никто васъ не тронетъ, никто не смѣетъ сюда войти... Не бойтесь... Уже ничего...—И она боязливо оглядывалась на глядѣвшія кровавыми стеклами окна.

— Хоть бы разсвѣтъ... Хоть бы разсвѣтъ скорѣй!..— И слышно, какъ хрустятъ чьи-то пальцы.

Анисья опять просовываетъ голову, и въ полуотворенную дверь съ дьявольской силой врывается дикій рѣвъ. Пересиливая его, она кричитъ:

— Вотъ и дождались: анжинера Хвирсова, что черезъ улицу, убили... И жену, и дѣтей побили,—жидовъ нашли на квартирѣ.

Воцарилась мертвая тишина,—мертвая тишина, въ которой, какъ въ зіяющемъ провалѣ, потонули всѣ звуки: не слышно было рева, не слышно было шороха платья, не слышно было дыханія людей. И когда нестерпимая острота молчанія достигла предѣла, тонкій, скрипуче-визгливый крикъ, крикъ хищной ночной птицы, пронесся по комнатамъ:

— Уходите!.. Уходите, уходите!.. Я прошу васъ... я требую... уходите всѣ... всѣ до одного человѣка!..

Ужасъ заползалъ по комнатамъ среди все еще неподвижно стоявшаго молчанія, среди судорожно-неподвижныхъ людскихъ фигуръ; неподвижно стояла Наташа, озираясь, ничего не понимая и не зная, чей это страшный голосъ пронесся въ багровой темнотѣ. Она старалась понять и вглядывалась въ лица людей, но не видѣла ихъ, а видѣла только десятки глазъ, страшно тянувшихся изъ орбитъ въ одномъ направленіи. Наташа обернулась по этому направленію и увидѣла женщину, съ повелительно протянутой рукой, съ исковерканнымъ лицомъ; но это не была мать: глаза у нея провалились, а сведенныя судорогой губы низко опустились углами.

Опять скрипуче-пронзительно пронеслось:

— Уходите... уходите, очистите квартиру!.. Всѣ, всѣ... вѣдь дѣти... мои дѣти!..

Всѣ упали на колѣни.

— Не гоните, не гоните насъ... тамъ смерть... тамъ смерть намъ и дѣтямъ нашимъ... Не гоните насъ, добрая госпожа!..

— Нѣтъ, нѣтъ... уходите...

Цыганковъ, весь красный, не смотря ни на кого, говорилъ:

— Господа, пожалуйста... сами видите... я васъ прошу... у насъ дѣти...

Поднялся старикъ, неподвижно сидѣвшій на стулѣ посреди комнаты:

— Погодите, я скажу.

Всѣ смолкли.

— Жену задушили на моихъ глазахъ, а прежде на ея глазахъ зарѣзали сына, а дочь...

Онъ закрылъ лицо и стоялъ съ минуту.

— Меня отпустили, чтобъ было хуже, чѣмъ имъ... У меня нѣтъ дѣтей, нѣтъ семьи, я—нищій, но... я не заслужилъ еще права на милостыню...

Онъ пошелъ къ выходу, высокій, согнутый, съ большой багровой бородой.

Съ минуту стояла тишина, и, разрушая ее ревающимъ всею, заметалось въ красныхъ окнахъ чудовище, и, какъ крикъ хищной птицы, пронеслось:

— Уходите сію минуту... всѣ, всѣ до одного... мои дѣти... понимаете вы?..

А они въ смертельной мукѣ ползали за ней, ползали на колѣняхъ, хватали ея руки, цѣловали края одежды. Она отступала, отмахиваясь съ гадливой ненавистью, и только страшныя, пощады не знающія слова: „дѣти... мои дѣти“... какъ коршуны, рѣяли надъ распростертыми по полу людьми. Они не кричали, а шептали, шептали ласково-ласково, и заглядывали ей

въ глаза, и улыбались, страшно улыбались мертвыми лицами, синими губами, улыбались и шептали:

— Добрая госпожа... сударыня... все хорошо... отлично... дѣточки... у васъ дѣточки... двое дѣточекъ... хорошія, отличныя дѣточки... вырастутъ умныя дѣточки... хорошо—дѣточки... это отлично—дѣточки...

И этотъ страшный шопотъ покрывалъ собою стоявшій въ багровыхъ окнахъ ревъ.

Цыганковъ тоже легонько поталкивалъ и говорилъ, заикаясь:

— Господа, будьте добры... пожалуйста... сами видите... вы на нашемъ мѣстѣ такъ же поступили бы...

Наташа металась, ломая руки, отъ отца къ матери, отъ матери къ отцу.

— Мамочка... папочка... что же это... что же это такое!.. Это не то, постой, все сейчасъ поправится...

И вдругъ, плача и смѣясь, захлопала въ ладоши:

— Я придумала!.. Я придумала!

Она бросилась въ свою комнату и выбѣжала со шляпой.

— Скорѣй, скорѣй одѣвайтесь... Борисъ, гдѣ твоя шапка?.. Скорѣй, скорѣй... выйдемте, квартиру запремъ, станемъ въ воротахъ, будемъ говорить, что у насъ никого нѣтъ... Ихъ никто, никто не тронетъ...

— Оставь!—рѣзко крикнула Цыганкова голосомъ, которымъ она никогда не говорила съ дочерью, и который Наташа не узнала,—ступай въ свою комнату.

Ворвалась Анисья.

— Близо ужъ, у Хайцкеля бьютъ...

— Анисья, выводите ихъ!..

Крикъ, вопли, плачъ... Анисья тащила старуху. Та вырвалась и, какъ дѣвочка, рѣзво бросилась черезъ комнату. Анисья поймала и опять потащила. Старуха уцѣпилась за притолоку. Анисья оторвала одну руку, другую, нѣкоторое время онѣ боролись. Пришелъ дворникъ, сталъ помогать; но ничего нельзя было сдѣлать.

Забирались подъ столы, подъ рояль, хватались за ножки стульевъ, валяли мебель.

Тогда схватили нѣсколькихъ дѣтей и побѣжали съ ними въ переднюю. Путаясь въ тюфякахъ, въ коврахъ, съ воплемъ бросились матери. Плакали, молили, проклинали, ломали руки. Кто-то по-еврейски молился въ углу. Двѣ женщины неподвижно лежали на полу, разметаваъ косы. Иные тупо сидѣли, не шевелясь.

Молодая еврейка, съ дикимъ воплемъ, изступленно разорвала на обнажившейся груди сорочку, и крикъ ея пронесся по всей квартирѣ. Она схватила ребенка, потрясая надъ головой, и руки, ножонки, голова безпомощно мотались у него, кричавшаго изо всѣхъ силъ.

— Вы!.. Пейте кровь... пейте нашу кровь... вы — звѣри!.. Я перегрызу ему горло... я перегрызу горло ему, моему Хаимкѣ, моему маленькому дорогому Хаимкѣ... я перегрызу ему, чтобъ никому не достался... вы не разобьете ему голову о камни, я задушу его своими руками, вы, жадные звѣри!.. И чтобъ дѣти дѣтей вашихъ...

Съ ея крикомъ слился другой изступленный крикъ: Борисъ кинулся къ дверямъ и замахнулся стуломъ.

— Не смѣйте... не смѣйте выходить... не смѣйте выходить никто, ни одинъ человѣкъ, или я раздроблю голову!..

Наташа, удерживая неподавимую мелкую дрожь, вцѣпившись матери въ плечо, дико расширенными глазами глядѣла ей въ неузнаваемое, чужое лицо, и страшное слово готово было сорваться:

— Мать!.. Ты...

Все поплыло въ густую красную темноту. Стало холодно, неподвижно, спокойно.

Когда Наташа открыла глаза, было утро.

Тихо. Сидѣли отецъ и мать.

Отецъ наклонился и сказалъ:

— Ну что, дѣвочка? Будь покойна, все кончилось благополучно. Погромъ прекращенъ. Нашу квартиру не тронули, и всѣ спасены...

И, задумчиво глядя въ окно, добавилъ какъ бы про себя:

— Кромѣ старика... напрасно онъ ушелъ.

Отецъ какъ-то смотрѣлъ вкось, и Наташа никакъ не могла заглянуть ему въ глаза.

Она перевела глаза на мать. Та наклонилась, поцѣловала въ лобъ. Наташа съ напряженіемъ вглядывалась: то же гордое, красивое, немного поблѣднѣвшее лицо. Но, заслоня его, нестираемымъ призракомъ стояли судорогой сведенныя губы, провалившіеся глаза и исковерканное злобой лицо.

Испытывая мучительный холодъ, Наташа хрустнула тонкими пальцами, закрыла глаза.

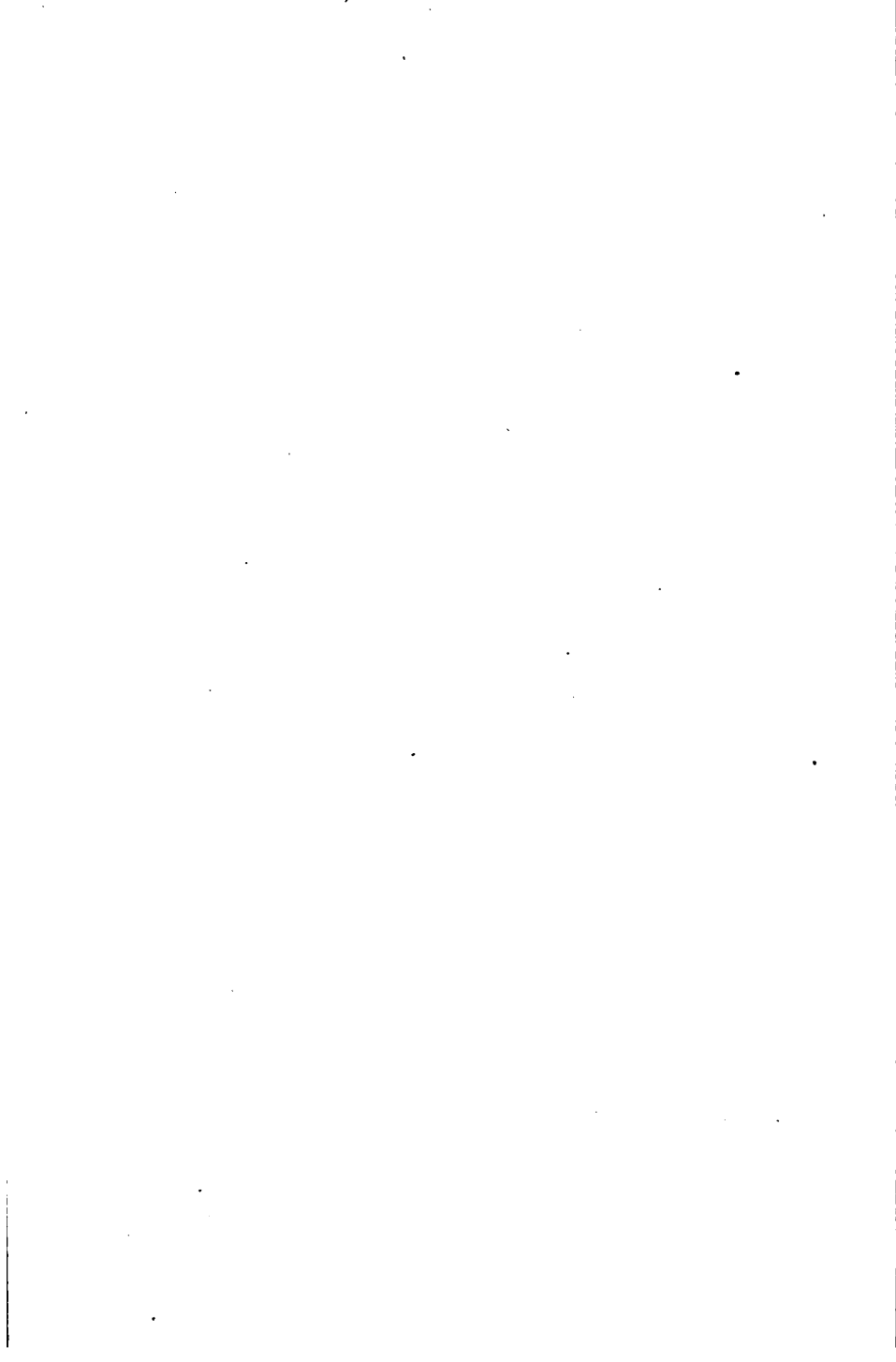
Безумно захотѣлось воротить вчерашнее утро: синевато-косыя длинныя тѣни, чутко дремлющій воздухъ, нешевелиющійся листъ на тополяхъ и весело перекинувшееся между домами эхо:

— Эй, тетка, надо-ль воды?..

УОЛЪТЪ УИТМАНЪ.

ГРОМЧЕ УДАРЪ, БАРАБАНЪ...

Съ английскаго. Переводъ К. Бальмонта.



Громче ударь, барабанъ..

Громче ударь, барабанъ!—Трубы, трубите, трубите!
Въ окна и въ двери ворвитесь—съ неумолимою силой:
Въ храмъ во время обѣдни,—пусть всѣ уйдутъ изъ
церкви;

Въ школу, гдѣ учится юноша, силою звуковъ ворвитесь;
Жениху не давайте покоя: не время теперь быть съ
невѣстой;

Возмутите мирнаго пахаря, который пашетъ и жнетъ...
Гремите сильнѣй, барабаны, громче, сильнѣе ударьте!
Рѣзкія трубы, трубите! Звучи намъ, призывный рогъ!

Громче ударь, барабанъ!—Трубы, трубите, трубите,
Надъ суетой городовъ, надъ уличнымъ шумомъ и
грохотомъ!

Постели готовы для спящихъ, чтобъ спать эту ночь
въ домахъ?

Не надо, не нужно, чтобъ спящіе спали въ постеляхъ
своихъ.

Торговцы торгуютъ?—Не надо! Не надо теперь торгашей!
Ораторъ еще не умолкъ? Пѣвецъ будетъ пѣть, пожалуй?
Въ судѣ адвокатъ защищаетъ дѣло свое предъ судьей?
Скорѣй же, скорѣй, барабаны, разсыпьте громящую
дробь!

Пронзительно, трубы, трубите! Звучи намъ, призывный
рогъ!

Громче ударь, барабанъ!—Трубы, трубите, трубите!

Переговоровъ не надо, разубѣжденія прочь!

О боязливомъ не думать, о слезахъ и моленияхъ не
думать,

О старикѣ, умоляющемъ юношу, помыслы прочь!

Голосъ ребенка да смолкнетъ, зовъ материнскій да
смолкнетъ,

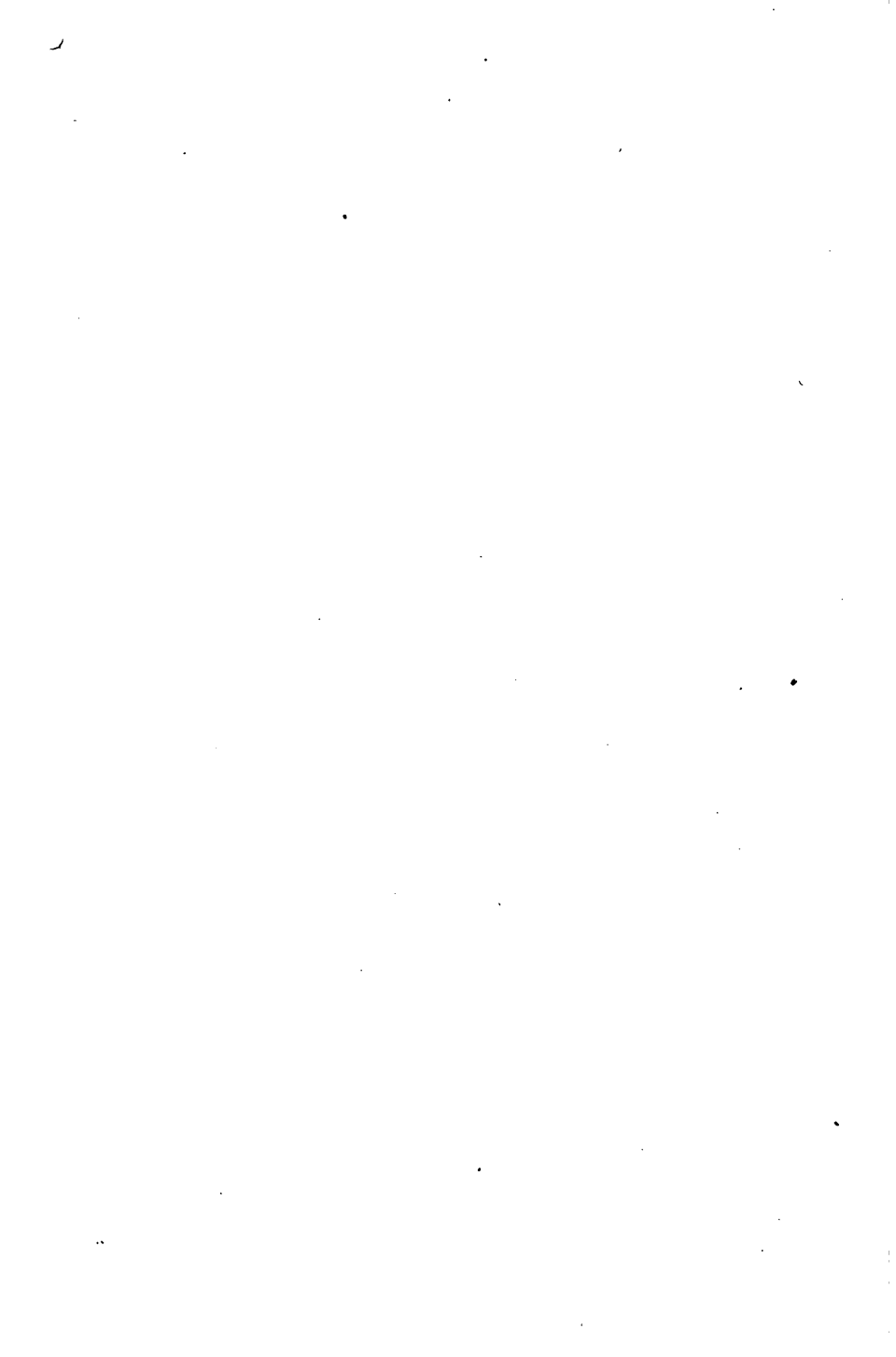
Ждущіе похоронъ трупы—пусть вздрогнутъ даже они...

Страшную вѣсть возвѣстите боемъ своимъ, барабаны;

Съ воплемъ трубите намъ, трубы! Звучи намъ,
призывный рогъ!

МИХАИЛЪ НОВОРУССКІЙ.
ВЪ ШЛИССЕЛЬБУРГѢ.

Картины и настроенія.



Въ предлагаемыхъ очеркахъ нѣтъ ни капли вымысла.

Мнѣ пришлось провести въ Шлиссельбургѣ почти 19 лѣтъ: съ 5 мая 1887 года до 28 октября 1905 года. Когда я вспоминаю это время, въ головѣ сами собой выплываютъ отдѣльные, ничѣмъ не связанные эпизоды, почему-то сохранившіеся въ памяти наиболѣе рельефно. Я старался воспроизвести ихъ здѣсь по возможности точно. Я старался записать ихъ такъ, какъ записалъ бы ихъ въ дневникѣ тотчасъ послѣ переживанія, еслибы писалъ тогда дневникъ. Даже манеру обращаться къ себѣ во второмъ лицѣ я сохранилъ отъ того времени. Она развилась, какъ результатъ продолжительной одиночной жизни, когда можно было бесѣдовать только съ самимъ собой.

I.

Первые дни заточенія.

Итакъ — навѣки... Оставь надежду навсегда. Правъ ты, или неправъ,—твое дѣло рѣшенное и отнынѣ непоправимое. Сиди и жди. Быть можетъ, дождешься лучшихъ временъ, быть можетъ, нѣтъ. Впереди ничего не видно и рассчитывать не на что. Предъ тобой безконечный рядъ унылыхъ дней, совершенно похожихъ на сегодняшний. Ни радости, ни развлеченій, ни дѣла. Ни смысла, ни цѣли. Ни порывовъ, ни стремленій. Стремиться—къ чему? Желать—чего? Можно ѣсть кой-какъ и кой-что, пить и спать и понемножку, апатично и непродуктивно, читать. Все остальное, рѣшительно все—недостижимо. Какой ужасъ въ этомъ „рѣшительно все“!

Съ самаго утра голова не въ порядкѣ. Сонъ былъ плохой: прерывистый и сумбурный. Мстиславъ Удалой и Мстиславъ Храбрый, Игорь и Василько, печенѣги и половцы—все это какъ-то путалось въ головѣ всю ночь. Видѣлись не лица, а строки повѣствованія о нихъ, слышались цѣлыя фразы, написанныя въ исторіи, которую ты весь день держалъ въ рукахъ и не могъ смѣнить ни на что другое. Словомъ, книга наяву и книга во снѣ. И весь день, цѣлыя сутки, безсмѣнно одно и тоже, одно и тоже!

Чтобъ избавиться отъ такой кошмарной монотонности, нужно вызвать образы прошлаго. А вызывать

ихъ очень опасно, потому что потомъ, какъ аэндорская волшебница, теряешь всякую власть надъ ними. Они заполняютъ все твое существо и, оживляя прошлое, разукрашиваютъ его необыкновенно яркими и соблазнительными красками.

Удивительную прелесть имѣетъ для насъ недоступное! Хотя я прожилъ 26 лѣтъ, мое прошлое было бѣдно впечатлѣніями. Да и тѣ, что были накоплены, говоря правду, не заслуживали тщательнаго сохраненія. Но здѣсь они стали необыкновенно дорогими и привлекательными и съ такою силой притягивали къ себѣ, точно всѣ они были необычайны, важны и возвышенны.

Время тянется удивительно медленно. Тщетно на-прягаешь умъ, чтобы изобрѣсти какое-нибудь занятіе. Читаешь, пробѣгаешь страницу за страницей, но безъ всякаго увлеченія и съ весьма пониженнымъ интересомъ. Знанія здѣсь, въ этой преисподней,—къ чему они?

У меня никогда не было влеченія къ наукѣ ради науки. Еслибы какой-нибудь искушитель предложилъ мнѣ обнажить предо мною всѣ тайны бытія, но съ условіемъ, чтобы я никому не открывалъ ихъ, меня не соблазнилъ бы такой подарокъ. Знанія были нужны мнѣ, какъ точка опоры для дѣятельности, какъ богатый капиталъ, который я хотѣлъ расточать въ интересахъ другихъ. Эта цѣль служила для меня самымъ интенсивнымъ стимуломъ въ занятіяхъ; благодаря ей, я въ короткое время успѣвалъ совершать максимумъ работы.

Все это рушилось, и теперь книга валится изъ рукъ. Четверть часа чтенія и четверть часа ходьбы изъ угла въ уголъ. Затѣмъ можно четверть часа пролежать на кровати. И все-таки отъ боя до боя колокольных часовъ остается неизрасходованной цѣлая четверть часа! Куда ее дѣвать? И сколько такихъ четвертей, ненужныхъ, скучныхъ и жутко-тягостныхъ, отъ 7 часовъ утра до 9 вечера!

Вдругъ все радикально измѣнилось! Что ты приговоренъ къ сплошному лишенію всего, это еще не такъ радикально: было, и—нѣтъ, только и всего. Но въ наполненіи времени произошелъ полный переворотъ. Прежде не хватало дня, чтобы исполнить все необходимое, теперь же не знаешь, куда дѣвать его, ибо весь онъ, въ цѣлости, свободенъ, и употреблять его не на что. Прежде рвали тебя на части. И умственные запросы, и дѣла житейскія не давали ни минуты покоя. Теперь ничто тебя не ожидаетъ, кромѣ покоя, длительного, мертвого, убійственного покоя.

Благодаря этому, въ самочувствіи сказался сразу рѣзкій переломъ. Прежде жилъ какъ-бы подъ давленіемъ трехъ атмосферъ, которое заставляло всюду стремиться, всюду поспѣвать, со всѣмъ спѣшить. Сознавалось это, какъ обязанность или какъ внутреннее приращеніе.

И вдругъ—нѣтъ больше никакихъ внутреннихъ давленій! Ничто и никто и ни къ чему тебя не обязываетъ. Полный просторъ для сплошного отдыха и непробудной лѣни. Саморегуляторъ въ этихъ условіяхъ не дѣйствуетъ, потому что исчезъ всякій смыслъ его дѣйствія. Побужденій со стороны другихъ людей здѣсь ты уже не встрѣтишь. Сиди и спи. Вотъ онъ, вожделѣнный покой! Вотъ тебѣ безконечный отдыхъ, котораго прежде напрасно жаждала твоя мятущаяся душа, потому что даже во дни вакацій ты всегда что-нибудь замышлялъ, строилъ планы и развивалъ виды на будущее, какъ свое личное, такъ и общественное.

Теперь конецъ всякимъ видамъ и планамъ. Мысль о будущемъ никогда не омрачить твоего сознанія и не встревожить твоей совѣсти. То безпокойство о завтрашнемъ днѣ, которое неразлучно съ жизнію и неотъемлемо у всякаго осмысленнаго существа, здѣсь исчезло безслѣдно, и внутренняя тревога, сопровождавшая его, улеглась навѣки.

Успокоеніе полное. Здѣсь ты, дѣйствительно, отдохнешь, и отдохнешь до сумашествія.

Тоска стоитъ несносная. Должно быть, по ея винѣ и въ книгу смотришь такъ разсѣянно. Умъ блуждаетъ гдѣ-то далеко, въ тщетныхъ поискахъ найти какое-нибудь „противоядіе“. Подъ ложечкой сосетъ непрерывно, и отъ этой боли лекарства не предвидится. Не видно и того, пройдетъ она, или такъ и останется на всю „безсрочную“ жизнь неразлучнымъ спутникомъ ея.

Боль эта, вѣроятно, аналогичная носталгіи, не остается неизмѣнно однообразной. Ей свойственны, какъ и зубной боли, моменты „схватокъ“ и моменты притупленія. И моменты „схватки“ всегда совпадаютъ здѣсь съ какимъ-нибудь особенно яркимъ воспоминаніемъ, съ какой-нибудь особенно живой картиной, обостряющей сознаніе беспросвѣтности и безнадежности.

Наконецъ, безконечный день, пересыщенный ужа-сающей скукой и неизбывнымъ тоскливымъ нытьемъ, близится къ закату. Но не появится вздохъ облегченія. За нимъ послѣдуетъ ночь, которая даже и сонному представляется очень длинной. Послѣ бездѣльнаго дня сонъ приходитъ не скоро, не освѣжаетъ и не укрѣпляетъ. И утро послѣ него, сулящее новый, такой же длинный и ненужный день, не принесетъ ни бодрости, ни оживленія.

На дворѣ, быть можетъ, ярко свѣтитъ солнце; тамъ майскій *) день. Но къ тебѣ ничто не проникнетъ. Твой мрачный склепъ съ матовыми стеклами, пропускающими не отблескъ неба, а тѣнь стоящей рядомъ вѣковой стѣны, остается тѣмъ же—какъ въ маѣ, такъ и въ сентябрѣ. И небольшой кусочекъ голубой лазури, который ты съ трудомъ могъ подсмотрѣть близь верхняго косяка окна, не сулитъ тебѣ ни утѣшенія, ни радости.

*) Я привезенъ былъ въ Шлиссельбургъ 5 мая 1887 года.

При общей подавленности психики, воображеніе также спитъ и не можетъ создать какихъ-нибудь увлекательныхъ образовъ, способныхъ заглушить и сознаниѣ своего я, и сознаниѣ окружающей безысходности.

Никакое напряженіе воли, никакія героическія усилія не помогутъ въ эти дни забыться хоть на часъ, отвлечься отъ окружающихъ стѣнъ и отъ пониманія всѣхъ ужасовъ своего положенія. Точно кошмаръ, давятъ эти стѣны, и не чувствовать ихъ такъ-же невозможно, какъ невозможно вольной птицѣ, посаженной для опыта подъ колоколъ воздушнаго насоса, не биться и не задыхаться.

II.

Ночь подъ новый годъ.

Первый годъ заключенія.

Среди обычной одуряющей тишины, которая тотчасъ начинается казаться могильной и удручающей, какъ только бросишь книгу и обратишь на нее вниманіе, раздается частое постукиванье сосѣдей другъ къ другу.

Эта легкая трель, напоминающая своею періодичностью стукъ телеграфнаго аппарата, но слабая, какъ тиканье часовъ, дѣйствуетъ здѣсь, точно самая очаровательная музыка.

Теперь идетъ предпраздничный говоръ. Скоро полночь. Воспоминанія о прежнихъ встрѣчахъ новаго года еще бурлятъ въ насъ и не даютъ намъ спать. Поэтому мы ждемъ условнаго часа въ приподнятомъ настроеніи и будемъ поздравлять другъ друга—не съ бокаломъ и не съ рѣчью, а со „стуколкой“. Кто вооружился грифелемъ, кто карандашомъ или ложкой, а болѣе изобрѣтательные давно уже слѣпили себѣ палочку изъ мякиша хлѣба и высушили ее на печкѣ.

При небольшой прибавкѣ песку получался прекрасный и долговѣчный „языкъ“ для разговоръ на болѣе значительныхъ разстояніяхъ. Вооружившись, мы ждемъ. Кой-кто изрѣдка и лѣнливо перебрасываются фразами.

Вотъ часы на колокольнѣ бьютъ 12. Стуки срываются съ цѣпи, трещать громко, быстро и нервно, и волнуютъ еще больше и поздравителей, и поздравляемыхъ. Мы стараемся простучать каждому, кто находится „въ предѣлахъ досягаемости“, хоть пару словъ привѣта и пожеланій.

Часто мы облакаемъ свои поздравленія въ стихотворную форму,—такъ звучнѣе и красивѣе. Кто можетъ, даетъ свои стихи; кто не можетъ, довольствуется чужими, которыя онъ заблаговременно принесъ изъ другого угла тюрьмы отъ болѣе плодовитаго и поэтически настроеннаго товарища. Прогулка вдвоемъ разрѣшалась уже, и только такимъ образомъ могли быть связаны разные углы зданія.

Мы съ Лукашевичемъ *) беремъ по кружкѣ съ водой, чокаемся ими въ стѣну такъ, что вода плещется вонъ и кружка даетъ трещину, и я стучу:

Новый годъ водой встрѣчаю,
И хотя не унываю,
Все-жъ душевно я желаю,
Чтобъ кончатъ его виномъ
Намъ пришлось въ краю родномъ.

Изъ одного угла Юрковскій принесъ стихотвореніе Поливанова:

Поздравляя съ новымъ годомъ,
Я желаю вамъ, друзья,
Чтобъ подъ тяжестью невзгоды
Не сломились вы, какъ я,
Чтобъ вы вѣру сохраняли,
Чтобъ въ стѣнахъ глухой тюрьмы

*) Вышелъ изъ Шлиссельбурга одновременно со мной: 28 октября 1905 г.

Вы надежды не теряли,
Чтобы были вы бодры...

Изъ другого угла Мартыновъ принесъ стихотвореніе Богдановича; въ немъ говорилось о насъ:

„Вы свершили подвигъ честно“...

Что же касается поздравленій, поэтъ заявлялъ:

Съ новымъ годомъ я не стану
Поздравлять васъ, мои братья,
Чтобъ не трогать вашу рану...

Къ стихамъ всѣ мы чувствуемъ необыкновенную слабость. Всякая беллетристика—какъ въ прозѣ, такъ и стихахъ, тщательно изгонялась въ это время изъ нашей библіотеки. И люди, привыкшіе иногда жить воображеніемъ, жаждавшіе красивыхъ образовъ и красивыхъ звуковъ, не находили здѣсь ни малѣйшаго удовлетворенія.

Быть можетъ, поэтому мы напрягали свою фантазію и старались даже обыденныя фразы и мысли выразить въ стихахъ. Быть можетъ, чувства, волновавшія насъ тогда, не находя себѣ исхода, отличались особой повышенностью и для своего выраженія нуждались въ несовсѣмъ обычной формѣ.

Долго приходится выстукивать. Но мы терпѣливо выслушиваемъ поздравленія товарищей и тщательно записываемъ всѣ поздравительные стихи въ свои тетради.

Затѣмъ, крайне утомленные, но съ умиленной и просвѣтленной душой, безопасно засыпаемъ...

III.

„Предѣлъ скорби“.

Второй годъ заключенія. Лѣто. Вечеръ. Тишина, жара и жуть.

Закупоренъ, какъ въ бочкѣ. Ни откуда не донесется ни малѣйшаго дыханія вѣтерка.

Накаленная за день южная стѣна моей камеры такъ и пышетъ жаромъ. Вода, нагрѣвшаяся въ бакѣ водопровода подъ желѣзной крышей, не освѣжаетъ блѣднаго и потнаго лица. Во всемъ тѣлѣ истома. Мозгъ не работаетъ, читать бесполезно. Ходить изъ угла въ уголъ больше не въ мочь.

Вдругъ—вялый и апатичный мозгъ точно клещами сжимаетъ чей-то глухой стонъ. Слухъ напрягается, вниманіе сосредоточивается и чаще и чаще начинаетъ улавливать тѣ-же болѣзненно заглушенные стоны. Это Ю. Богдановичъ борется со своей смертельной болѣзнью, и какъ ни старается подавить стоны, чтобы не тревожить товарищей, не можетъ.

Къ моему физическому изнеможенію неожиданно прибавляется чудовищная нравственная пытка. Праздное воображеніе живо переносится въ камеру больного и ярко представляетъ весь ужасъ его положенія. Никто не подастъ ему освѣжающій глотокъ воды. Никто не поправитъ ему голову, скатившуюся съ подушки. Никто не поможетъ ему перемѣнить положеніе на болѣе удобное и не устранить боли, отъ которой такъ легко было бы избавиться. Слабые и изможденные члены испытываютъ все большее и большее раздраженіе, пока боль не станетъ окончательно невыносимой, пока рѣзкій, громкій крикъ не раздастся на всю тюрьму.

Дверь тогда отворяется, два дежурныхъ унтера входятъ къ нему,—два потому, что даже къ умирающему они не смѣли входить въ одиночку. Они равнодушно и безучастно сдѣлали что-то и торопливо вышли. Зашли не съ тѣмъ, чтобы облегчить страждущаго,—отъ подобной сантиментальности они были совершенно застрахованы,—а съ тѣмъ, чтобы предупредить дальнѣйшее нарушеніе тишины въ этомъ святилищѣ сатанинской зложелательности и свирѣпой, ненасытной мстительности.

Стоны немного затихли, чтобы черезъ полчаса по-

вториться снова и снова,—опять вплоть до рѣзкихъ криковъ, отъ которыхъ каждый разъ вся душа переворачивается. Не трудись спрашивать окружающихъ исполнителей предначертаній начальства, что съ нашимъ товарищемъ, и почему не облегчать ему послѣднія минуты? Тебѣ ничего не отвѣтятъ, или отвѣтятъ, что тебя это вовсе не касается.

Уже сколько разъ объ это „некасательство“ разбивались самыя благія и скромныя попытки вмѣшаться въ судьбу ближайшаго сосѣда и, можетъ быть, друга! Принципъ одиночной тюрьмы, свято соблюдаемый, требуетъ, чтобы ты не зналъ и не слышалъ ничего, что совершается внѣ предѣловъ твоей камеры.

Какъ ни безправно положеніе „ссылно-каторжнаго“, законъ не забываетъ видѣть въ немъ человѣка и въ нѣкоторыхъ случаяхъ, хоть и очень рѣдкихъ, гарантируетъ ему снисходительное обращеніе. Слабого не могутъ сѣчь. Больного должны положить въ госпиталь, гдѣ и фельдшеръ, и другіе товарищи-больные могутъ присмотрѣть за нимъ.

Лишь у насъ, въ Шлиссельбургѣ, безчеловѣчіе царило, ничѣмъ не прикрытое, и послабленій никакихъ и ни въ чемъ не допускалось. Малѣйшій намекъ на нихъ разсматривался вверху, какъ либерализмъ, а либерализмъ, по тогдашнимъ понятіямъ, носилъ всегда кличку „зловреднаго“.

Я пережилъ смертный приговоръ; я смотрѣлъ уже въ лицо смерти. Я перенесъ всѣ муки, которыя можетъ вынести человѣкъ, вынужденный неожиданно распрощаться съ жизнію на самой зарѣ этой жизни. У меня, затѣмъ, отнято было все, и я обреченъ былъ на „безконечную“ жизнь, полную однихъ только лишеній.

Мнѣ знакомы поэтому всякія страданія. Но *такихъ* страданій мнѣ не приходилось еще переживать, и мучительнѣе ихъ я ничего въ своей жизни не испытывалъ.

Мнѣ извѣстно, конечно, было изъ исторіи, какъ зрѣлищемъ пытаемаго товарища пытали другого, чтобы воздѣйствовать на него въ желаемомъ смыслѣ. Но тамъ была все-таки цѣль, было, дѣйствительно, *зрѣлище*, гдѣ присутствующій видѣлъ только то, что было.

Наши муки отъ сосѣдства со страждущимъ товарищемъ не могли поэтому идти въ сравненіе съ тѣми. Мы не видѣли страждущаго, а только слышали объ его мукахъ и силою разстроеннаго воображенія рисовали ихъ, можетъ быть, болѣе тяжкими, чѣмъ онѣ были на дѣлѣ. Притомъ, тутъ не было ни цѣли, ни смысла, если не предположить сознательнаго намѣренія устраивать мученія для мученій, т.-е. для возмездія.

И эта жестокость, неизвѣстная варварскимъ временамъ, поистинѣ можетъ быть названа утонченной и „человѣческой“, потому что варвары и звѣри не могли еще додуматься до такихъ душевныхъ пытокъ.

А между тѣмъ, какъ убѣдились мы впослѣдствіи, достаточно было чрезъ товарища, допущеннаго къ больному, освѣдомить насъ о положеніи дѣла, и нервы наши скоро успокаивались, а тревога за участь близкаго чловѣка совершенно стихала.

IV.

Пасхальная ночь.

Пятый годъ заключенія. Пасхальная ночь.

Еще живы отголоски дѣтства, и длинной вереницей выступаютъ въ памяти, одна за другой, цѣлый рядъ этихъ торжественныхъ ночей, которыя я встрѣчалъ, бывало, вмѣстѣ съ толпой крестьянъ въ разныхъ мѣстахъ Новгородской губерніи, въ тиши и убожествѣ нашей деревни...

Но здѣсь я одинъ... Мнѣ недоступна толпа и богослужебныя чары, которыя вдохно- возбуждаютъ

ее. Тѣмъ не менѣе, я не могу оставаться спокойнымъ: эти волненія, когда-то многократно пережитыя, еще не умерли во мнѣ, и отзвуки ихъ властно овладѣваютъ мной. Сегодня первая Пасха, когда я могу видѣть изъ своего окна, недавно освобожденнаго отъ матовыхъ стеколъ, часть пасхальныхъ церемоній.

Начинается благовѣстъ, какъ - то необычайно длительно разносящійся въ тихомъ и чистомъ ночномъ воздухѣ. Я лѣзу на окно, цѣпляясь за скользкій и покатый подоконникъ, и вижу огни зажженныхъ смоляныхъ бочекъ. При ихъ таинственномъ отблескѣ выплываетъ церковная процессія. Въ воздухѣ тихо; свѣчи у большинства мерцаютъ, но не тухнутъ.

— „Воскресеніе твое, Христе Спасе“...—доносится въ мою раскрытую форточку.

Я жадно провожаю взоромъ медленно двигающуюся небольшую толпу изъ обывателей крѣпости и мысленно слѣдую за нею, когда она удаляется за уголъ зданія.

И вдругъ всѣ пережитыя когда-то картины этого торжества и всѣ чувства, сплетенныя съ ними, ярко вспыхиваютъ во мнѣ съ неожиданной и поразительной живостью...

Взволнованный до глубины души, я соскакиваю со своей ненадежной обсерваторіи, падаю на кровать и отъ волненія не слышу болѣе ни пѣнія, ни звона.

Нѣтъ! Твой Христосъ еще не воскресъ! Сиди и терпи. Воскреснетъ и онъ, но тебя уже не будетъ тогда въ живыхъ. Всегда вѣдь были пророки, и всегда ихъ убивали при жизни, чтобы чтить послѣ смерти. Человѣческая глупость, какъ и человѣческій разумъ, имѣетъ свои прочные законы; измѣнить тутъ ничего нельзя!

Распятые и замученные всегда воскресали въ памяти потомства. Ихъ образы и тѣни часто терзали, какъ тяжкій кошмаръ, мучителей и распинателей. Ихъ возвышенный обликъ неизмѣнно вдохновлялъ толпу своимъ величіемъ и трагизмомъ. Терпи смѣло и бодро и

въ страданіяхъ своихъ ищи крѣпкой опоры и утѣшенія. Оставайся до конца вѣрнымъ идеѣ, которой принадлежитъ будущее. Нѣтъ ничего устойчивѣе и заразительнѣе тѣхъ убѣжденій, которыя подкрѣплены готовностью все претерпѣть за нихъ.

На другой день послѣ этого равнодушно смотришь на пасхальныя яства, которыя преподносятъ тебѣ твои бездушныя стражи. Еще недавно они готовы были изувѣчить тебя *), стереть тебя съ лица земли во имя того Бога, воскресеніе котораго они сегодня празднуютъ. Еще сегодня ночью они хладнокровно застрѣлили бы тебя, еслибы ты, не желая считаться съ ихъ порядками, вылѣзъ какимъ-нибудь образомъ за окно и спокойно пошелъ къ церкви—принять участіе въ этомъ торжествѣ. Даже теперь, сохраняя механически всѣ формы праздника, принятыя обычаемъ, они остаются тупы и глухи къ самому существу его и никогда не вспоминаютъ, что Христосъ „пришелъ отпустить измученныхъ на свободу“, и что невозможно одновременно и ликовать во имя Его, и дѣйствовать вопреки Его завѣтамъ.

V.

Навожденіе.

Любой годъ, день и часъ дня.

Настала опять знакомая полоса. Апатія и лѣнь. Все валится изъ рукъ, за что ни возьмись. Все противно, отвратительно и несносно.

Еще вчера ты что-то дѣлалъ, чѣмъ-то интересовался и увлекался. Сегодня ничего этого не нужно.

Къ чему?

Этотъ роковой вопросъ всталъ опять передъ угнетен-

*) Въ первые годы здѣсь нерѣдко связывали и били.

нымъ сознаніемъ. Вѣдь во всемъ, что дѣлаешь ты здѣсь, ни цѣли, ни смысла. Одна сплошная нелѣпность, раздражающая и обезсиливаетъ.

Удивительно скверно устроенъ міръ! Вонъ какія глупыя рожи смотрятъ на тебя идіотскими глазами, воображая, что они исполняютъ какой-то долгъ. У жандармовъ—долгъ! Дай имъ по 30 руб. въ мѣсяцъ, такъ они родного отца будутъ караулить съ такою же старательностью „по гробъ его жизни.“

Чего имъ, въ самомъ дѣлѣ, нужно? Пялятъ на тебя глаза, точно увидали сегодня впервые!

Да и есть на что посмотреть! Клѣтка, и въ клѣткѣ какой-то звѣрь, должно быть, рѣдкій, если сами министры ѣздятъ взглянуть на него.

Хороша и клѣтка! Заборъ, заборъ и заборъ, да старинная, изгрызенная временемъ стѣна, отъ которой вѣетъ всеми насиліями, какія только могъ придумать злой человѣкъ, назвавшій ихъ, для отвода глазъ, государственной необходимостью.

И вѣчно торчатъ передъ глазами эти заборы и эти стѣны, одинъ видъ которыхъ способенъ довести до бѣшенства. Да, прочно устроили, чортъ ихъ возьми! Старательно, предусмотрительно и капитально! Не выскачишь, какъ ни мечтай объ этомъ!

И чего ради, въ самомъ дѣлѣ, канителиться здѣсь? Вѣдь нѣтъ иного исхода...

Брось несбыточныя фантазіи. Неужели тебя радуетъ торчатъ цѣлыми днями за верстакомъ, стругать доски да выпиливать шипы? Кому это нужно? Тѣмъ же „иродамъ“, которые съ такой готовностью и усердіемъ оберегаютъ тебя отъ всякихъ оживляющихъ и оздоравливающихъ вліаній?

Вѣдь ни одна твоя разумная мысль не выскользнетъ отсюда! Ни одно твое издѣліе не минуетъ жандармскихъ рукъ! Все будетъ конфисковано и отобраано,

какимъ бы путемъ ты ни старался выпустить отсюда маленькую частицу своего я.

Твое я похоронено безповоротно. Ты—номеръ двадцать пятый, и подъ этимъ номеромъ сойдешь въ могилу, безавѣстно и безшумно. Живи хоть десятки лѣтъ. Тюрьма изуродуетъ тебя. Все живое замретъ въ тебѣ. И еслибы тебѣ удалось выскользнуть отсюда какимъ-нибудь чудомъ, ты окажешься оступѣвшимъ монстромъ, отъ котораго съ болью и сожалѣніемъ отшатнутся всѣ, знавшіе тебя когда-то.

Чего же ждать еще? Возьми ножъ, которымъ рѣзалъ вчера картонъ: одно движеніе,—и готово!

Вѣдь все равно къ этому придешь. Зачѣмъ же медлить? Кончай скорѣй, и ты избавишь себя отъ лишняго года такой постылой и рѣшительно никому ненужной жизни. А товарищи твои будутъ избавлены отъ печальной необходимости встрѣчать и созерцать такую кислую фizioномію, съ какой теперь ты ходишь, и какая для всѣхъ, должно быть, тягостна.

И течетъ, и течетъ, непрерывной струей, безконечный рядъ совершенно аналогичныхъ мыслей, совладать съ которыми ты не въ силахъ.

Прострація полная. Усталость такая, точно передъ этимъ горами ворочалъ. Въ безсильномъ мозгу, неспособномъ ни на малѣйшее активное стремленіе, звучить непрерывно одна большая струна, остановить которую нѣтъ силъ.

И все, что скоплялось въ тебѣ цѣлыми мѣсяцами твоей подневольной и съ виду уравновѣшенной жизни, все это вдругъ прорвалось, точно плотина, размытая общимъ напоромъ скопившихся водъ, и сразу завладѣло всѣмъ твоимъ существомъ, и наложило на все печать мрачной безнадежности.

Кажется, одинъ ничтожный толчокъ, одно совершенно незначительное обстоятельство, которое толкнуло

бы слегка въ эти минуты въ опредѣленномъ направленіи,—и отъ меня осталось бы одно воспоминаніе.

VI.

Посѣщеніе министра.

Лѣто 1896 года.

Предупредили насъ, что завтра будетъ самъ министръ внутреннихъ дѣлъ Горемыкинъ. Просили прибрать въ камерахъ и мастерскихъ лишній накопившійся хламъ. Начальство подтянулось и ходитъ съ видомъ сосредоточеннымъ и напряженнымъ. На корридоръ нагнали солдатъ и задали тамъ генеральную чистку. За нѣсколько часовъ до предполагаемаго прихода, по корридору и по галлереймъ второго этажа разостлали дорожки цвѣтной матеріи.

На душѣ невесело. Поднимается раздраженіе. Къ чему эти визиты? Что вы хотите тутъ видѣть? Человѣка-ли, одѣтаго въ мягкія одежды, или мумію, высохшую отъ вашихъ попечительныхъ заботъ и готовую разсыпаться при первомъ прикосновеніи?

Или вы хотите убѣдиться, что всѣ мы цѣлы? Вы знаете это по спискамъ; могли бы пересчитать въ „глазокъ“ дверной.

Или вамъ хочется знать, какъ мы чувствуемъ себя? Этого вы все равно не узнаете...

Или привело васъ праздное любопытство, единственное доступное вамъ чувство, которое еще волнуетъ иногда ваше окаменѣвшее сердце?

Или вы, „въ видахъ правительственныхъ соображеній“, размягчились душой и дѣйствительно намѣрены сдѣлать что-нибудь въ пользу вашихъ жертвъ въ предѣлахъ вами же сочиненныхъ рамокъ? Такъ зачѣмъ же тогда тѣшить себя, выслушивая еще наши жалобы и заявленія? Для человѣка, у котораго вы отняли все,—что ни возврати, все будетъ находкой.

Вы окружили насъ насиліемъ и произволомъ, попрали всѣ божескіе и человѣческіе законы, задушили добрую половину нашихъ братій и идете сюда точно на увеселительную прогулку! Чего-же вы ждете отъ насъ? Какія чувства въ насъ предполагаете? Какихъ просьбъ ожидаете?

Навѣрное, вы ѣдете не затѣмъ, чтобъ даровать „льготы“ и „милости“! Навѣрное, вамъ пріятно посмотрѣть, какъ мучаются ваши жертвы. Пріятно показать свою власть надъ ними, и рѣзкимъ контрастомъ вашихъ раззолоченныхъ мундировъ съ убожествомъ нашей обстановки доставить себѣ безнравственный, но очень интенсивный родъ удовольствія.

Идите и смотрите. Я сдѣлаю такое деревянное лицо, какое только сумѣю сдѣлать. Моихъ чувствъ вы все равно не узнаете. Для этого я слишкомъ хорошо тренированъ здѣсь. Я не привыкъ обнажать душу передъ гостями, которые незванно, неожиданно, непрошено вторгаются въ мое жилище, осязательно показывая мнѣ, что сила въ ихъ рукахъ, и что вторгаться они могутъ. Хочется мнѣ видѣть ихъ, или не хочется.—какое имъ до этого дѣло?

Идите и смотрите. Вы, навѣрное, не догадаетесь, что первый мой порывъ—вернуться къ вамъ спиной въ отвѣтъ на вашу властную грубость и безцеремонное вторженіе.

Пока эти мысли проносятся въ сознаніи, наблюдатели верхняго этажа уже усмотрѣли изъ оконъ парадное шествіе въ нашу сторону и стучать въ дверь на весь корридоръ:

— Идутъ!

Увидали, можетъ быть, и дежурные. Все притихло. Слышенъ только голосъ Конашевича. За годъ до этого онъ сошелъ съ ума. Онъ изводилъ насъ, громко напѣвая одну и ту же фразу собственнаго сочиненія, которая начиналась словомъ „красавица“ и которую не-

возможно передать въ печати. Ему нѣтъ дѣла до пріѣзда министра. Онъ и теперь тянетъ свою „красавицу“—однообразно, монотонно, какъ всегда дѣлають сумасшедшіе.

На корридорѣ зазвякали шпоры. Слышатся сдержанные шаги многихъ ногъ. Лязгаетъ замокъ; чью-то дверь отворили и зашли. Минуты черезъ двѣ-три замокъ лязгаетъ вновь, дверь заперли и тотчасъ отворили другую. Затѣмъ третью, четвертую и т. д.

Приближаются ко мнѣ...

Эхъ, дуй ихъ горой! Прошли бы лучше мимо! Но нѣтъ!

Дверь моя открывается, и камера медленно наполняется народомъ. Столько мундирныхъ особъ не часто видать приходится. Всюду блескъ, блескъ и блескъ...

Ближайшіе воззрились на меня, какъ на чучело. Дальнѣйшіе вытягиваютъ шеи, чтобы изъ-за головъ и плечъ ближайшихъ — взглянуть на эту блѣдную и угрюмую фигуру „важнѣйшаго“ государственнаго преступника.

Ничего важнаго въ этой фигурѣ не оказывается: на лицахъ нѣкоторыхъ разочарованіе... Иные уже складываютъ въ умѣ фразу, которой они отвѣтятъ на вопросъ какой-нибудь Марьи Алексѣевны, желающей знать отъ очевидца: „ну какъ они тамъ выглядятъ?“

Министръ смотритъ сурово, дѣлаетъ едва замѣтный кивокъ и подходитъ почти къ самому столу. Его предшественники предпочитали останавливаться въ дверяхъ.

Онъ выражаетъ готовность выслушать, не будетъ ли какихъ заявленій.

Въ только-что открытую дверь рѣзко доносятся дикіе напѣвы Конашевича, усиленные резонансомъ корридора и абсолютной тишиной, сопровождающей высокихъ посѣтителей.

— Какія же тутъ нужно еще дѣлать заявленія?

Вы слышите? Я живу здѣсь, какъ въ сумасшедшемъ домѣ, и, окруженный ежедневно такими звуками, могу и себѣ ожидать только подобной же участи...

— Знаю, знаю! Мнѣ уже говорили.

Небольшая пауза.

Дальнѣйшихъ заявленій не находится. Слѣдуетъ опять подобіе поклона, и посѣтители быстро другъ за другомъ выскакиваютъ за дверь, точно опасаясь, не хлопнули бы здѣсь кого изъ нихъ по ошибкѣ.

Дверь запираетъ таже привычная, опытная рука нашего вахмистра, замокъ щелкаетъ сочнымъ, ядренымъ, какъ бы радостнымъ звукомъ, и я испускаю вздохъ облегченія.

Раньше, чѣмъ черезъ годъ, такая церемонія едва-ли повторится!

VII.

Именины.

Восьмой годъ заключенія. 29 сентября.

Завтра я именинникъ. Возвращаюсь домой изъ мастерской въ обычный часъ къ чаю и останавливаюсь у порога, пораженный изумленіемъ. Своего жилища я не узнаю.

Чьи-то дружескія руки изукрасили мою келью своеобразными гирляндами изъ цвѣтной бумаги, которыя въ живописномъ беспорядкѣ развѣшаны по всѣмъ четыремъ стѣнамъ. Навѣрное, это Людвигъ Фомичъ! Пришлось ему поработать, склеивая эти гирлянды! Навѣрное, не одинъ, а двое сидѣли за работой цѣлый день!

Столъ покрытъ бѣлоснѣжной скатерью, и весь уставленъ совершенно необычными въ нашей жизни предметами, напоминающими давно забытыя времена...

Тутъ и букетъ живыхъ цвѣтовъ, еще не успѣвшихъ погибнуть при недавнемъ заморозкѣ, и тортъ, и фрукты,

и плитка шоколаду, и какія-то самодѣльные конфекты, и коробка монпансье. Еще не то сушки, не то „стружки“, не то „хрусты“—тоже необыкновенной самобытности, и, наконецъ, варенье. А какъ вѣнецъ всего, торчатъ кой-гдѣ записки, одна, другая, третья. Кто лаконически, кто сдержанно, кто задушевно—поздравляютъ меня съ именинами и желаютъ на многія лѣта (конечно, не здѣсь только!) тѣлесной и душевной бодрости и всевозможныхъ радостей.

Милые, добрые люди! Сколько усердія, вниманія и заботливости потратили они, чтобы въ рутину безцвѣтной, унылой жизни внести частицу разнообразія и поэзіи! Какъ странно выглядеть все это на фонѣ будничной и мрачной обстановки каменнаго мѣшка!

Тотчасъ же летятъ отъ меня благодарственные телеграммы. Конечно, здѣсь работали также дамскія руки, и, конечно, Вѣра Николаевна Фигнеръ. побила здѣсь рекордъ. Она сидитъ какъ разъ надо мной. Вызываю ее стукомъ и изливаю свои восторги въ выраженіяхъ сбивчивыхъ и безсвязныхъ.

На другой день все это изобиліе благъ земныхъ разрѣзается и раздѣляется на порціи и, согласно установившемуся обычаю, разносится по камерамъ. Тѣ, кто не участвовалъ въ созданіи или покупкѣ этихъ яствъ на счетъ своей такъ называемой „хлѣбной экономіи“ *), спокойно истребляютъ свои микроскопическія доли, замѣчая про себя:

— Должно быть, сегодня именины.

Иные же, менѣе проникательные, вопрошаютъ на другой день своихъ ближайшихъ сосѣдей.

— А по какому это поводу вчера было угощеніе?

*) Въ это время каждый могъ превратить въ деньги свою ежедневную порцію хлѣба и брать одну часть ея натурой, другую деньгами. Изъ этихъ дробныхъ долей въ теченіе мѣсяца можно было накопить до 1 руб., который и употреблялся въ экстренныхъ случаяхъ на угощеніе.

VIII.

Панихида.

Девятый годъ заключенія.

Сегодня 8-ое іюля, праздникъ Казанской Божіей Матери.

По какому-то случаю къ этому дню приурочень крестный ходъ на „братскую“ могилу, гдѣ похоронено слишкомъ 200 человѣкъ, павшихъ при взятіи крѣпости Петромъ I отъ шведовъ.

Могила эта,—широкая, плоская насыпь, аршина въ три высотой,—прилегаетъ почти вплотную къ кирпичной стѣнѣ, окружающей нашъ тюремный дворъ, и находится какъ разъ подъ самыми окнами тюрьмы, въ разстояніи не болѣе восьми сажень. Вся церемонія проходитъ у насъ передъ глазами и хорошо видна изъ всего южнаго угла тюрьмы.

Моя камера внизу, какъ разъ противъ могилы. Ко мнѣ пришелъ Людвигъ Фомичъ Яновичъ посмотреть на это зрѣлище, котораго ему, какъ католику, можетъ быть, ни разу не приходилось видѣть вблизи.

Какъ разъ посрединѣ широкой четырехугольной площадки могилы водруженъ желѣзный золоченый крестъ съ прибитой къ нему мѣдной дощечкой. Кругомъ креста площадка усыпана пескомъ, а по угламъ посажены солдатами цвѣты, взятые изъ нашихъ же парниковъ и разсадниковъ.

При начавшемся перезвонѣ мы встали оба на одинъ табуретъ; головы наши очутились на уровнѣ нижняго ряда стеколъ рамы, и всѣ, кто поднимется на могильную насыпь, видны намъ, какъ на ладони.

Публика все наша же, почти исключительно изъ жандармовъ. Пѣвчіе—изъ ихъ же дѣтей. Во главѣ процессіи идетъ въ митрѣ протопресвитеръ Желобовскій, а съ нимъ мѣстные священникъ и діаконъ. Поютъ и служатъ бездушно, какъ всегда въ официальныхъ

церемоніяхъ, гдѣ всѣми чувствуется, что они призваны сюда отбыть повинность, и отбываютъ ее покорно и по уставу. Заученные жесты, механическія движенія...

Старшая жандармерія, въ блестящихъ парадныхъ мундирахъ, стоитъ гордо, выпятивъ грудь, съ такимъ выраженіемъ, точно они дѣлаютъ кому-то одолженіе тѣмъ, что явились сюда, куда являться имъ по долгу службы необязательно. Мертвые вѣдь не подлежатъ ни сыску, ни надзору.

Для людей, не видавшихъ подобной церемоніи лѣтъ десять, она кажется необыкновенно странной...

Словомъ, почтили, какъ это принято, память тѣхъ, кто былъ безсознательнымъ орудіемъ историческихъ судебъ, кто своею кровью предуготовилъ разомъ и „величіе“ Россіи, и историческій застѣнокъ для безкровнаго умерщвленія и насъ, и множества другихъ, подобныхъ намъ.

— „Спите мирно, животъ свой на брани положившіе Благодарная родина не забудетъ васъ“,—говорили про себя активные участники церемоніи, представители торжествующаго сейчасъ уклада жизни, и затѣмъ расходились помянуть ихъ добрымъ обѣдомъ, какъ это водится повсюду у „истинно-русскихъ“ людей.

— „Спите мирно“,—сказали и мы.—„Спите мирно вы, отнявшіе цѣлый край у культурнаго государства и пріобщившіе его къ московскому безправію, невѣжеству и варварству.

„Вы отняли эту страну у шведовъ и затормозили въ ней развитіе народа ровно на 200 лѣтъ“.

„Да, на 200 лѣтъ! И теперь вѣдь существуетъ Швеція: и она, и недавно отторгнутая у нея Финляндія могутъ служить для всякаго патріота своего отечества завиднымъ образцомъ того, какъ нужно устраивать свою общественную жизнь. Нѣтъ въ Европѣ народа, болѣе здороваго, честнаго, просвѣщеннаго, зажиточнаго и благоустроеннаго, чѣмъ шведы. Финляндія, которую

при Петрѣ I не успѣли еще приобщить къ русскому одичанію и обнищанію, сумѣла какъ-то сохранить и самобытные порядки, и самобытную культуру.

„Все же остальное, что вы отняли тогда отъ шведовъ, до сихъ поръ изнываетъ подъ гнетомъ произвола и не можетъ выбиться изъ нищеты, постоянно и неизмѣнно ему сопутствующей.

„Спите мирно. Вы не знали, что творите; исторія простить васъ. Но мы-то, отдавшіе жизнь за истинное благо своей родины, мы всѣ, здѣсь замученные, задущенные, загубленные, мы-то хорошо знали, за что шли на смерть. Ни наши имена, ни наши могилы неизвѣстны. Оффиціальная Россія окружаетъ ихъ или забвеніемъ, или презрѣніемъ. Неоффиціальная спитъ еще безпробудно. Никто не почтитъ насъ надгробнымъ словомъ, не преклонитъ колѣнъ предъ мѣстомъ нашего упокоенія. Но это насъ не смущаетъ. Мы подождемъ еще, потому что хорошо знаемъ, что такое *вѣчная* память, кому и за что она достается.

„Это знаніе останется навсегда отрадой и утѣшеніемъ въ нашей долѣ. Ваша панихида лишь обострила въ насъ воспоминаніе о нашей собственной исторической миссіи, посвященной тоже величію и благу Россіи, но совершенно иначе понятому.

„Ваша мертвая и наша живая могилы удивительнымъ капризомъ исторіи поставлены рядомъ. И пока мы живы, мы ежегодно должны производить сравнительную оцѣнку этихъ историческихъ могилъ“...

Мы съ Людвигомъ сошли со своей обсерваторіи и долго еще бесѣдовали между собою. Мы говорили, какъ трудно даже развитымъ умамъ отказаться отъ господствующихъ взглядовъ, особенно когда на сторонѣ этихъ взглядовъ физическая сила и авторитетъ власти. И какъ трудно, почти невозможно, производить оцѣнку историческихъ событій не съ точки зрѣнія одного ка-

кого-нибудь народа или историческаго періода, а съ общечеловѣческой точки зрѣнія.

Она—единственно правильная. Между тѣмъ съ этой точки зрѣнія всѣ человѣческія группы, по которымъ движется колесница исторіи, равноцѣнны; ихъ матеріальная и духовная культура есть единственное благо, имѣющее цѣну и стоящее кровопролитной борьбы и великихъ жертвъ.

IX.

„Сарайные“ будни лѣтомъ.

„Сараемъ“ мы прозвали старую тюрьму, низкую, темную и сырую. Въ ней каждый изъ насъ сидѣлъ первые мѣсяцы заключенія; на первыхъ порахъ она служила также карцеромъ. Въ 1890 году въ ней устроили мастерскія, а съ перемѣной режима, постепенно завоеванной нами, мы превратили „сарай“ почти въ общежитіе и пользовались тамъ въ теченіе рабочихъ часовъ относительной свободой. Тамъ была особая кухня, которую мы топили для своихъ мелкихъ надобностей. Пища же для насъ готовилась солдатами въ другомъ зданіи, и насъ туда никогда не допускали.

Тринадцатый годъ заключенія.

Въ кухнѣ постоянная толкотня. Я стою съ утюгомъ въ рукѣ и тутъ же, на краю плиты, гдѣ не очень горячо, сушу растенія для гербарія. Одинъ утюгъ постоянно стоитъ на плитѣ, другой въ рукахъ. Рядомъ на табуретѣ пукъ только-что сорванныхъ сочныхъ огородныхъ растеній, которыя безъ такого приѣма высушить зелеными невозможно.

Надъ плитой висятъ два прессы съ досыхающими растеніями и проволочныя петли, въ которыхъ укрѣплена для просушки газетная бумага; она нужна для гербарія. Этимъ запасомъ бумаги мы обязаны „Вѣстнику Финансовъ“, который присылался намъ изъ депар-

тамента полиціи съ 1894 года. Къ „Вѣстнику“ прилагались листы съ отчетами разныхъ торгово-промышленныхъ предпріятій. Они-то и шли на гербарій.

Одинъ приходитъ за клеємъ, съ озабоченнымъ лицомъ размѣшиваетъ его и смотритъ, достаточно ли онъ густъ, или горячъ. Другой варитъ томаты собственнаго производства къ обѣденнымъ щамъ, лѣниво переворачивая ихъ деревянной ложкой въ эмалированной желѣзной мискѣ и еще лѣнивѣе перекидываясь фразами съ окружающими и проходящими.

Въ компаніи вяло, апатично и скучно.

Приходитъ еще человѣкъ съ противнемъ въ рукахъ. На него вопросительно поднимаются глаза, не скажетъ ли онъ чего новаго. Нѣтъ, онъ самъ ждетъ того же отъ другихъ. Не дождавшись, медленно раскрываетъ духовую печку и ставитъ туда нарѣзанный ломтиками бѣлый хлѣбъ, немного промасленный и подсахаренный, чтобы приготовить сухари.

Въ миску съ помидорами, поставленную В. Г. Ивановымъ, большимъ любителемъ стручковаго перцу, подсунули въ его отсутствіе здоровую порцію этой жгучей пряности. Онъ приходитъ, помѣшиваетъ, пробуетъ и восторгается:

— Вотъ такъ перецъ! Одну крупинку положилъ, а жжетъ на славу! Ни у кого такого перцу нѣтъ!

Его высмѣиваютъ всей компаніей. Онъ, конечно, не вѣритъ и считаетъ, что его перецъ выше всякой похвалы и не нуждается въ добавкахъ.

Время незамѣтно близится къ обѣду. Въ половинѣ двѣнадцатаго въ дверяхъ кухни показывается унтеръ, завѣдующій мастерскими, и предупреждаетъ насъ:

— Кончайте ваши занятія!

Всѣ собираютъ, укладываютъ свои пожитки и направляются домой, по одному, или группами, кто съ пустыми руками, кто со снѣдями, кто съ другимъ какимъ-нибудь издѣліемъ.

Послѣ обѣда здѣсь общала быть Вѣра Николаевна Фигнеръ. Либерализмъ нашего начальства дошелъ до того, что ее выпускаютъ изъ камеры безпрепятственно, на такихъ же правахъ, какъ и мужчинъ. Но если ротмистръ Гудзь, смотритель, лично увидитъ ее въ обществѣ товарищей-мужчинъ, особенно если компанія большая, онъ дѣлаетъ напоминаніе насчетъ инструкціи. Выслушивать такія напоминанія рѣшительно никому не хочется.

Ко второму часу дня у плиты нагрѣвается самоваръ. Въ сосѣдней комнатѣ, какъ разъ у отворенной въ кухню двери, стоитъ раскрытый складной столъ. Когда-то онъ зналъ лучшіе дни, былъ блестящимъ и изящнымъ, а теперь давно уже держится безъ всякихъ претензій и ждетъ-не дождется, не возьмется ли отремонтировать его кто-нибудь изъ нашихъ столяровъ. Столъ ничѣмъ не покрытъ. Самоваръ ставятъ на него, приносятъ—кто стаканъ, кто кружку, кто какое-нибудь приложеніе къ чаю.

Вѣра Николаевна выходитъ туда изъ своей мастерской, и начинается чаепитіе, а съ нимъ разговоры и, конечно, споры.

Пользуясь этимъ, я иду въ мастерскую Вѣры Николаевны, поправляю тамъ верстакъ и, кстати, убѣждаюсь, что нарѣзка шиповъ и проч. идетъ у нея совершенно правильно, какъ у заправскаго столяра.

Кончивши работу, я выхожу за ворота тюрьмы, на дворъ, вздохнуть свѣжимъ воздухомъ, и вижу, что на горизонтѣ показывается Гудзь. Стремглавъ бѣгу въ импровизированную чайную и кричу, заглушая повышенные голоса спорящихъ:

— Смотритель идетъ!

Моментально компанія разсыпается, точно воробьи при видѣ ястреба. И прежде чѣмъ Гудзь дошелъ до корридора, Вѣра Николаевна оказалась у себя за при-

творенной дверью и съ рубанкомъ въ рукахъ. Всѣ прочіе также на своихъ положенныхъ мѣстахъ.

Гудзь проходитъ до кухни, видитъ у самовара только двоихъ, что не запрещается его правилами, идетъ по корридору назадъ и, найдя все въ порядкѣ, возвращается въ свой домъ въ сознаніи исполненнаго долга.

Въ тотъ же моментъ распуганная компанія появляется вновь на старомъ мѣстѣ и продолжаетъ спокойно засѣдать, въ увѣренности, что вторая тревога не повторится ранѣе, чѣмъ черезъ часъ.

Х.

Мой рабочій день.

Начало августа 1905 года.

Сегодня всталъ я бодрѣе и свѣжѣе. Очевидно, я хорошо выспался, а для тюрьмы это чуть не событіе. Дѣла предстоитъ бездна, и я никакъ не смогу переждать всего, что хочется.

Вчера я не успѣлъ законсервировать нѣсколько личинокъ и гусеницъ. Пользуясь кипяткомъ, который дали въ семь часовъ утра, я надуваю три гусеницы расплавленнымъ параффиномъ; а двухъ личинокъ въ формалинѣ запаиваю въ тонкія стекляныя трубочки. При этомъ я пользуюсь свѣчкой и паяльной трубкой.

Еще недавно я былъ лишенъ этихъ предметовъ. Въ 1902 году, когда въ Россіи воцарился Плеве, а въ Шлиссельбургѣ жандармскій полковникъ Яковлевъ, у насъ были отняты всѣ наши льготы, въ томъ числѣ сарай, кухня и свѣчи. Но теперь режимъ опять сталъ мягче, и я могу держать свѣчу въ своей комнатѣ, не обращаясь за нею къ жандармамъ каждый разъ, когда понадобится.

Въ 8 часовъ я иду въ огородъ освѣжиться. Осматриваю ловушки для слизняковъ, этихъ враговъ нашего земледѣлія, и умерщвляю ихъ безъ сожалѣнія.

Навѣрное, это уже двадцать пятая сотня за нынѣшнее лѣто. Затѣмъ ревизую питомники съ насѣкомыми: однимъ подкладываю кормъ, другимъ мѣняю квартиру. Вылупившихся забираю съ собой. Посылаю сельдерю на кухню въ общій супъ и рѣпу приватно для себя, и заявляю дежурному, чтобы онъ открылъ дверь, потому что я иду въ мастерскую.

Иду я прежде всего въ токарную. Еще три дня тому назадъ завѣдующій работами просилъ выточить для какой-то очень нужной вѣшалки шесть гвоздей. Вытачиваю ихъ и перехожу къ себѣ въ столярную.

Здѣсь у меня оканчивается шкатулка, въ которой будетъ помѣщаться коллекція по органографіи цвѣтка. Нужно поцарапать ее цинубелемъ и прикроить фанерки для оклейки.

Покончивши съ этимъ, я стучу въ дверь, требуя, чтобы меня выпустили. Посылаю на кухню дежурнаго разогрѣть клей,—уже давно прошли времена, когда у насъ была своя кухня. Затѣмъ перехожу со своей работой въ переплетную, чтобы наклеить фанерку на шкатулку, такъ какъ тамъ можно зажать ее въ большой прессъ.

Пока я вожусь съ этимъ, приближается время обѣда, и я успѣваю сбѣгать на дворъ и взять салату и пару свѣжихъ огурцовъ.

Послѣ обѣда я умерщвляю эфиромъ взятыхъ утромъ новорожденныхъ насѣкомыхъ и, пока не началось еще трупное окоченѣніе, расправляю ихъ въ естественной позѣ, посадивши на булавку на пластинкѣ торфа. За этой кропотливой работой застаётъ меня вахмистръ, открывающій дверь всегда ровно въ часъ. Онъ спрашиваетъ меня:

— Быть можетъ, вы останетесь дома?

Но я, не желая быть запертымъ вновь, отвѣчаю:

— Нѣтъ, я сейчасъ кончу и уйду.

Оканчивая работу, я прислушиваюсь въ полукоткры-

тую дверь, не слышно-ли гдѣ среди унтеровъ многозначительныхъ разговоровъ.

При полной неизвѣстности о текущихъ событіяхъ, которой насъ окружаютъ уже два съ половиной года, это—почти единственный источникъ для нашихъ „соображеній“. Одна или двѣ фразы, неосторожно сказанныя, уже даютъ намъ блестящую идею, развить которую, при богатствѣ воображенія, ничего не стоитъ.

Еще два мѣсяца назадъ одинъ дежурный читаль вслухъ въ какомъ-то листкѣ передовицу: по отрывочнымъ словамъ, долетавшимъ до меня, я понялъ, что рѣчь идетъ о монархѣ: ограниченъ-ли онъ у насъ и въ какомъ именно отношеніи ограниченъ.

„Эге,—думаю,—чѣмъ пахнетъ! Въ наши времена такія передовицы печатались только въ „Народной Волѣ“, и авторовъ ихъ судили за ниспроверженіе основъ, а читателей разсылали въ мѣста болѣе или менѣе отдаленныя. Тѣхъ же, кто протестовалъ дѣйствіемъ противъ такихъ чудовищныхъ расправъ, упекали какъ разъ сюда, гдѣ я сию!“...

Затѣмъ я выхожу на корридоръ и встрѣчаю М. Р. Попова, который сообщаетъ мнѣ, что предлагаютъ очень выгодный столярный заказъ. Не хочу-ли я взять его цѣликомъ, или въ нѣкоторой части, при его powerful содѣйствіи? Долго мы обсуждаемъ, не сходя съ мѣста, выгоды и детали заказа, и я нахожу, наконецъ, что онъ мнѣ вовсе не улыбается, особенно теперь, когда не знаешь,

Что день грядущій намъ готовить?

Отказавшись отъ заказа, я направляюсь въ камеру № 28, гдѣ лежитъ складъ всякихъ матеріаловъ для коллекцій, и перебираю тамъ всѣ засушенные цвѣты, чтобы убѣдиться, что ничего изъ нихъ не осталось неиспользованнымъ. Затѣмъ съ этою же цѣлью спускаюсь внизъ, въ „музей“; такъ звали мы камеру, въ которой были собраны разные естественно-научные предметы и

коллекціи нашего издѣлія: скелеты, черепа, чучела и проч. Оттуда перехожу опять въ переплетную, оклеиваю двѣ пластины картона бѣлой бумагой и разрѣзаю его по мѣркѣ, чтобы дома склеить нѣсколько маленькихъ коробочекъ со стекломъ: въ нихъ будутъ образцы „превращенія насѣкомыхъ“.

Такъ проходитъ время до четырехъ часовъ, т.-е. до чаю, и я едва успѣваю выйти на четверть часа въ огородъ, чтобы вздохнуть свѣжимъ воздухомъ и сорвать кстати нѣсколько ягодъ малины къ чаю.

За чаемъ идетъ „ляоянскій бой“. Происходилъ онъ, конечно, еще годъ назадъ, но намъ только теперь даютъ описаніе его по всеподданнѣйшимъ отчетамъ участниковъ. Мы тщательно штудлируемъ это описаніе и по „Нивѣ“, и по „Развѣдчику“, и по „Лѣтописи войны“, и даже по журналу „Природа и люди“, и удивляемся литературному таланту, съ какимъ наши полководцы умѣютъ представить пораженіе близкимъ къ побѣдѣ. Съ этой литературой я не успѣваю покончить къ пяти часамъ, и когда вахмистръ снова отворилъ дверь для прогулки, иду съ нею въ огородъ и изучаю до шести съ половиной часовъ, т.-е. до окончанія нашего прогулочнаго дня. Лѣтомъ намъ разрѣшалось теперь оставаться на воздухѣ съ восьми часовъ утра до шести съ половиной часовъ вечера.

Въ семь часовъ, за ужиномъ я беру кипятку въ клеянку и послѣ ужина задѣлываю двѣ коробочки съ „превращеніемъ насѣкомыхъ“. Эта кропотливая работа отнимаетъ почти все время до 8³/₄ час., когда вахмистръ является въ послѣдній разъ на дню и даетъ мнѣ возможность перейти въ спальню.

Туда я беру неостывшій еще чайникъ съ чаемъ и клеянку и, задѣлавши послѣднихъ пять пластинокъ по органографіи цвѣтка, велю корридорному тушить мою электрическую лампочку, и мирно и безмятежно засыпаю, едва коснувшись постели.

Тюремный день на-сегодня кончился. Завтра, быть можетъ, онъ повторится полностью, съ нѣкоторыми небольшими варіаціями.

Нужно было просидѣть 18 лѣтъ, нужно было провести много сотенъ, даже тысячъ, совершенно бездѣльныхъ и ненужныхъ дней, чтобы получить „право“ наполнять тюремный день хоть какимъ-нибудь содержаниемъ, имѣющимъ дѣловую видимость.

XI.

Лучъ надежды.

Въ концѣ февраля 1904 года впервые въ нашей юдоли мрака сверкнулъ яркій лучъ надежды.

Какой-то доброжелатель изъ рядовыхъ, которые у насъ тамъ никогда не переводились, подсунулъ намъ маленькій отрывокъ газеты.

Въ немъ сказано было, что „съ 27 января, съ началомъ русско-японской войны, газета будетъ помѣщать у себя портреты видныхъ военныхъ дѣятелей, и русскихъ, и японскихъ“.

Человѣку, которому не приходилось цѣлые годы быть отрѣзаннымъ отъ всего живого, трудно представить, какимъ откровеніемъ были для насъ эти простыя слова, сколько ожиданій было связано съ ними!

Итакъ—война! Началась, наконецъ, эта буря, которая очищаетъ атмосферу отъ всего отжившаго и омертвѣлаго! Началась эта кровавая эпопея, въ которой народы время отъ времени пробуютъ доброкачественность своей правительственной системы.

Судьба подсунула, наконецъ, и намъ это историческое горнило, въ которомъ подвергается испытанію политическая мощь государства.

Необыкновенное оживленіе овладѣло нами при этомъ извѣстіи.

Война затрогиваетъ каждого гражданина.

У насъ же были совершенно особыя причины волноваться при вѣсти о войнѣ. Мы слишкомъ хорошо знали, какіе порядки царятъ въ странѣ, какія злоупотребленія процвѣтають подъ покровомъ полной безотвѣтственности и мертваго молчанія. Мы были увѣрены, что люди, неумѣло втянувшіе страну въ эту ненужную войну, не сумѣютъ и кончить ее съ достоинствомъ.

Пораженіе неизбѣжно. Каковы будутъ размѣры этого пораженія, трудно предвидѣть. Но ореолъ правительства при этомъ сразу падетъ въ широкихъ массахъ народа. Голоса недовольныхъ будутъ многочисленны и громки. Правительство волей-неволей пойдетъ на уступки общественнымъ стремленіямъ и приступитъ къ серьезнымъ реформамъ. Будутъ устранены слишкомъ вопіющія безобразія стараго режима, на борьбу съ которыми давно уже открыто выступила такъ называемая „соціально-революціонная партія“. Можно быть увѣреннымъ, что такія реформы отразятся и на представителяхъ этой партіи, пожизненно замурованныхъ въ Шлиссельбургѣ.

Быть можетъ, близокъ конецъ безправію и свирѣпымъ гоненіямъ. Быть можетъ, близокъ конецъ и ненавистному „Шлиссельбургу“, какъ самому яркому олицетворенію русскаго беззаконія и произвола.

Эти мысли изложены *post factum*. Но онѣ въ такомъ именно видѣ вихремъ проносились и съ полною отчетливостью выступали въ нашихъ головахъ еще при началѣ военныхъ дѣйствій,—какъ разъ въ тѣ времена, когда „патріотическая“ печать на разные лады воспѣвала мощь Россіи и предвкушала грядущія побѣды.

Надежда, загложшая было, загнанная куда-то въ самые глубокіе тайники, теперь сразу вспыхнула яркой искрой и оживила лица, которыя, казалось, уже навсегда распростились съ этой очаровательной гостьей и носили на себѣ печать примиренія съ неизбѣжностью.

Ничто не измѣнилось въ нашемъ быту. По-прежнему строжайше пресѣкались всякія случайности, которыя могли бы натолкнуть насъ на свѣдѣнія о современной жизни. По-прежнему текла жизнь сѣрая, безцвѣтная и бездѣльная. Тѣ-же были стѣны, прочныя, непоколебимыя и давно опротивѣвшія до одурѣнія. Мы сами оставались все тѣ-же, каждый со своими будничными интересами, дававшими ему возможность коротать безконечное время.

Вошелъ только въ нашу жизнь ничтожный клочокъ газеты и внесъ едва замѣтную струйку съ постоянно оживляющимъ и освѣжающимъ дыханіемъ.

Говорили только о войнѣ и ея послѣдствіяхъ. Данныхъ не было никакихъ. Для догадокъ открывался безконечный просторъ, и фантазія не изсякала.

Не скоро еще это будетъ! Быть можетъ, годъ, быть можетъ, два протянетъ свои дни старый режимъ. Такіе старики долго, упорно и отчаянно борются за свое существованіе. До тѣхъ поръ много дней пройдетъ въ той же монотонной и бессмысленной обстановкѣ.

Но въ ней появился теперь нѣкоторый просвѣтъ, и никогда уже мракъ безнадежности не овладѣетъ тобой. Подожди немного. Ты скоро увидишь волю. Большую или малую, но все же волю, настоящую волю, манящую, соблазняющую и скрытую гдѣ-то тамъ, вдали отъ этихъ стѣнъ, постылыхъ и одуряющихъ.

Надежда была еще робкая. Слишкомъ тяготѣла дѣйствительность, и слишкомъ далекъ былъ исходъ. Но исходъ этотъ будетъ. Пораженіе Японіи такъ же невѣроятно, какъ невѣроятно пораженіе свободы, культуры и просвѣщенія.

Здѣсь борются не просто двѣ націи. Здѣсь борьба не за Корею и Манчжурію. Здѣсь столкнулись абсолютизмъ, все обезличившій, и свободный режимъ, внесшій въ основные законы гарантіи всесторонняго раз-

вѣтїя личности. Здѣсь борются индивидуальность порабощенная, связанная, и индивидуальность, только-что сбросившая рабскія узы и рвущаяся къ прогрессу съ первымъ пыломъ освобожденныхъ силъ. Побѣда Россіи была бы побѣдой абсолютизма. Она была бы пораженіемъ всѣхъ твоихъ завѣтныхъ вѣрованій, которыя ты всю жизнь лелѣялъ, и съ которыми разлучить тебя лишь могила, настоящая могила, а не та, въ которую ввергли тебя на мученіе. Нѣтъ, эта побѣда невѣроятна...

Твой патріотизмъ подвергается жестокому испытанію, приходится пророчествовать о пораженіи родины.

Да. Но развѣ *мы* виновны въ этомъ?

Предотвратить событія—ни я, ни кто другой *теперь* не можемъ. Поздно. Предотвращать надо было раньше—тѣмъ, у кого въ рукахъ была власть. Пораженіе предопредѣлено всѣмъ строемъ русской жизни, является *неизбѣжнымъ* его послѣдствіемъ. Но за нимъ такъ же неизбѣжно послѣдуетъ измѣненіе строя, обновленіе всей народной жизни.

Привѣтъ же тебѣ, война,—не за твои ужасы, а за ту новую жизнь, которая зарождается при свѣтѣ твоего кроваваго зарева!

Привѣтъ тебѣ, грядущая свобода!

Теперь, или никогда!

И мерцалъ отнынѣ, не потухая, свѣтлый лучъ нашей надежды ровно одинъ годъ и восемь мѣсяцевъ, пока мы не увидѣли, наконецъ, воочію зарю новой жизни, пока не получили права сказать:

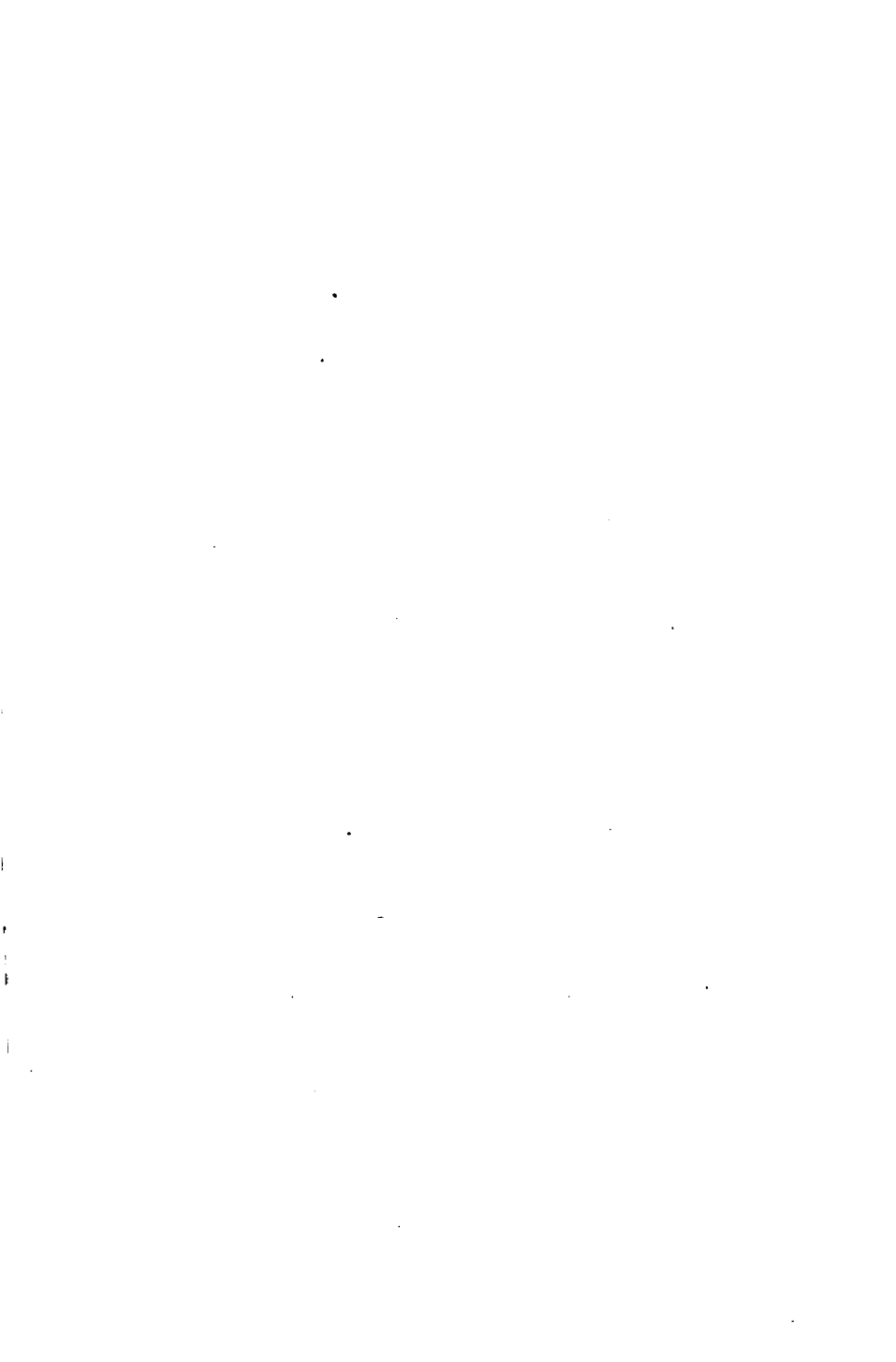
„Нынѣ отпускаеши“...

Выборгъ.

Май 1906 г.

ЕВГ. ТАРАСОВЪ.

СТИХОТВОРЕНІЯ.



I.

Крѣпость.

День догорающій
Сказкой ласкающей
Смотритъ на міръ съ высоты.
Краски закатныя,
Сны невозвратныя,
Свѣтлое царство мечты...
Крѣпость гранитная,
Хмурая, скрытная,
Рада ли ты?

Кто-жъ тамъ, за плитами,
Мохомъ покрытыми,
Долго и страшно молчитъ?
Кто тамъ, покинутый,
Въ сумерки кинутый,
Ночью безсмѣнною скрытъ?
Крѣпость гранитная,
Хмурая, скрытная,
Тайну хранить.

Кто тамъ, за башнями,
Темными, страшными,
Кто тамъ, подъ грудой камней?
Видятъ ли плѣнные
Эти мгновенныя
Смѣны закатныхъ огней?
Крѣпость гранитная,
Хмурая, скрытная,
Стала темнѣй.

Тѣни раскинулись,
Выросли, двинулись,
Гонятъ все свѣтлое прочь.
Тѣмъ, кто за башнями,
Темными, страшными,
Какъ имъ, плѣннымъ, помочь?
Крѣпость гранитная,
Хмурая, скрытная,
Встрѣтила ночь.

Крѣпостью скрытые,
Но не забытые,
Взятые ночью отъ насъ,
Вѣрьте: надъ плитами,
Мохомъ покрытыми,
Грянетъ полуденный часъ.
Крѣпость гранитная,
Хмурая, скрытная,
Выпустить васъ...

II.

Проклятіе.

Взяли всѣхъ, одного за другимъ.
Я съ тревогой вокругъ озирался,
Я бѣжалъ, безпокойствомъ тяжелымъ томимъ,
И по улицамъ мрачнымъ и жутко-глухимъ
День и ночь неустанно скитался.

Никого!

Даже воздухъ тлетворнымъ дыханьемъ своимъ
Вы повсюду кругомъ отравили;
Вы за мною гнались по пятамъ,
Вы повсюду за мною слѣдили,
Вы меня въ западню заманили
И, цѣпами сковавъ по рукамъ и ногамъ,
Вы, какъ волка, меня затравили.
Вы средь ночи схватили меня.
Грудь тупыми ножами, смѣясь, разорвали
И при трепетномъ свѣтѣ огня
Вплоть до бѣлаго дня
Сладострастно ея глубины оскверняли.
Я глубоко подъ раненымъ сердцемъ своимъ
Схоронилъ дорогую мнѣ тайну,
Но рукой похотливой—случайно—
Вы ее отыскиали подъ нимъ...

Я рыдалъ.

Будьте-жъ прокляты вѣчнымъ проклятьемъ!
Пусть преслѣдуютъ васъ до послѣдняго дня
Слезы гнѣва и скорби въ глазахъ у меня!
Пусть сожметъ васъ объятьемъ,—
Какъ объятьемъ огня,—
Голосъ скорби моей, голосъ гнѣва, клян्या:
„Будьте прокляты вѣчнымъ проклятьемъ!“

III.

За рѣшеткой.

...Смотрю сквозь рѣшетку въ окно.
Пожаромъ горять облака.
И сердце пожаромъ полно.
И дума моя далека.

Разсѣять бы ужасы тьмы,
Желѣзо рѣшетки разбить
И вырваться прочь изъ тюрьмы,
И вмѣстѣ съ любимой быть...

Къ любимой неслышно войти
И молча въ глаза заглянуть,
И, вспомнивъ о долгомъ пути,
Свободною грудью вздохнуть...

...Чуть видно во мракѣ окно.
Погасли вдали облака.
И въ сердцѣ усталомъ темно.
И дума моя далека.

IV.

Подъ Новый годъ въ тюрьмѣ.

Въ эту ночь гдѣ-то тамъ, за стѣной,
За стѣной, гдѣ мы были когда-то,
Лишь погасли пожары заката,
Люди праздникъ привѣтствуютъ свой.

Люди ждутъ темноты полуночи,
Люди встрѣтятъ родившійся годъ.
Позабудутъ, что время—какъ кроль,
Что ихъ жизнь стала на годъ короче...

Ускоряютъ во мракѣ шаги.
Будетъ праздникъ. Раскроютъ объятъя.
Губы скажутъ невѣрное „братъя“.
Сердце тихо подскажетъ: „враги“.

Гдѣ-то стонъ. Кто-то ножъ свой отточить.
Кто-то брошенъ въ нѣмую тюрьму.
Окна города смотреть во тьму,
И надъ городомъ вьюга хохочетъ.

IV.

На Волгѣ.

За изгибомъ, надъ песками встали старые утесы.
Наклонились. Спать иль дремлютъ? Сказку видятъ
или былъ?

Равнодушень тихій голосъ полусоннаго матроса.
Торопливыя колеса сѣютъ радужную пыль.

Вновь изгибы. Берегъ круче.
Намъ навстрѣчу мчатся тучи.
То доврчивый, то злобный — громче дробный
стукъ колесъ:

„Буря близко. Ждать недолго.
Будетъ бурѣ рада Волга.
Слишкомъ много горя стало. Слишкомъ много въ
Волгѣ слезъ“.

Вьются чайки въ темныхъ тучахъ. Тише ходъ въ
опасномъ мѣстѣ.

Выше, сумрачнѣй утесы на нагорномъ берегу.
Смотрять—хмурятся сурово: получили злая вѣсти,
Или думаютъ о мести вѣковѣчному врагу?

Солнце въ тучахъ утонуло.

Злобно молнія сверкнула.

То крикливый, то напѣвнѣй—громче гнѣвнѣй
стукъ колесъ:

„Ждали бури слишкомъ долго.

Будетъ бурѣ рада Волга.

Слишкомъ душно стало людямъ. Слишкомъ много
въ Волгѣ слезъ“.

Дума пролетарія.

Если встрѣчу угрюмыхъ и блѣдныхъ дѣтей,
 Утомленно глядящихъ въ холодное небо,—
 Эти дѣти мои: безъ пріюта, безъ хлѣба,
 Безъ надежды хоть разъ улыбнуться свѣтлѣй.

Если вижу, что небо родной стороны
 Алымъ заревомъ вѣщихъ пожаровъ залито,—
 Это близкіе мнѣ, это братья убиты,
 И жилища убогія ихъ сожжены.

Если слышу, что вотъ человѣкъ-полузвѣрь
 Овлаждѣлъ, какъ добычей, дѣвическимъ тѣломъ,
 Я, блѣднѣя, шепчу: эту дѣвушку въ бѣломъ
 Я невѣстою звалъ. Вижу трупомъ теперь.

И когда говорятъ мнѣ, волнуясь, крича,
 Что еще на кого-то надѣты оковы,
 Что еще чье-то сердце замолкнуть готово
 Подъ невѣрной, трусливой рукой палача,—

Я молчу, я не знаю, гдѣ правда, гдѣ сонъ,
 И душа неотвязнымъ вопросомъ томится:
 Эта казнь—надо мной иль надъ нимъ совершится?
 Это я отомстил? Это я—или онъ?

ЕВГ. ЧИРИКОВЪ.

ВЪ ТЮРЬМЪ.

Евг. Чириковъ. Въ тюрьмѣ.

Право собственности внѣ Россіи закрѣплено за авторомъ во всѣхъ странахъ, гдѣ это допускается существующими законами.

Гг. переводчиковъ просятъ обращаться за разрѣшеніемъ на переводъ и за справками къ представителю автора, Ив. П. Ладыжникову, по слѣдующему адресу:

*Berlin W, 15, Uhlandstrasse, 145;
„Bühnen-und-Buch-Verlag russischer Autoren
J. Ladyschnikow“.*

Люди, какъ ночныя бабочки—на огонь, летѣли со всѣхъ сторонъ на грубо сдѣланное чучело свободы и попадали въ тюрьмы...

Въ это удивительное время тюремныя замки были похожи на звѣринцы, куда собираютъ всѣ породы звѣрей со всѣхъ частей свѣта, и потому въ глухихъ стѣнахъ этихъ каменныхъ мѣшковъ въ эту пору великое и прекрасное человѣческой жизни перемѣшивалось съ ничтожнымъ и пошлымъ, трагическое съ комическимъ...

Вмѣстѣ съ вдохновенными борцами и апостолами новой жизни въ тюрьмы попадали маленькіе человѣчки, вмѣстѣ съ орлами—домашніе гуси и курицы, вздумавшіе полетать по-орлиному... Тюрьмы напоминали миниатюрныя города: сидѣли въ нихъ люди всѣхъ сословій, званій и профессій, мужчины, женщины и дѣти...

Въ этомъ отношеніи N—ской тюрьмѣ особенно посчастливилось: тамъ, кромѣ обычныхъ жителей — „завсегдатаевъ“: рабочихъ, учащихся и нелегальныхъ, сидѣли: адвокатъ, двѣ акушерки, солдатъ, священникъ, четыре зубныхъ врача, гимназистъ, двѣ телефонныя барышни, парикмахеръ, инженеръ, нѣсколько почтовыхъ чиновниковъ, редакторъ газеты, докторъ медицины и докторъ философіи... Изъ рѣдкихъ экземпляровъ имѣлись: отставной генералъ и грудной младенецъ...

Чтобы не портить репутаціи двухъ послѣднихъ и не потерять, читатель, твоего довѣрія, я спѣшу пояснить: отставной дѣйствительный статскій совѣтникъ былъ проѣздомъ въ городѣ, гдѣ его застигла желѣзно-

дорожная забастовка, и очень скучалъ: однажды, прохаживаясь отъ нечего дѣлать по улицамъ, онъ наткнулся на уличную процессію съ краснымъ флагомъ и пошелъ за ней, совершенно машинально подпѣвая на французскомъ языкѣ русской марсельезѣ; въ ту-же ночь въ меблированныхъ комнатахъ «Пальмира», гдѣ помѣстился, пережидая забастовку, дѣйствительный статскій совѣтникъ, былъ сдѣланъ обыскъ, и нѣсколько человѣкъ были арестованы и увезены въ тюремный замокъ; въ числѣ арестованныхъ оказался и дѣйствительный статскій совѣтникъ... Что касается грудного младенца, то онъ пока еще только сосалъ грудь у политической преступницы и потому раздѣлялъ участь матери...

Орлы сидѣли въ четырехъ круглыхъ башняхъ, возвышавшихся по четыремъ угламъ тюремнаго зданія, а преступники среднего и малаго калибра—въ одиночныхъ камерахъ верхняго яруса... Тюрьма была большая, и въ обыкновенное время тамъ всегда имѣлось достаточное количество вакансій, но теперь было тѣсно, потому что каждую ночь гулко стучала кованая дверь, и топотъ многочисленныхъ ногъ, сопровождаемый лязгомъ ключей и засововъ, давалъ знать о новой партіи политическихъ преступниковъ.

Смотритель тюрьмы, добродушный старикъ съ свирѣпымъ выраженіемъ военнаго лица, жалобно говорилъ кому-то по телефону:

— Положительно некуда!..

Но потомъ почтительно сгибался передъ телефоннымъ аппаратомъ, покорно говорилъ „слушаюсь“ и шелъ готовить мѣста, которыя потребуются въ ближайшую ночь.

— Съ одной стороны требуютъ изолировать, а съ другой... одиночныя камеры всѣ заняты... Куда хочешь, туда и сажай... хоть къ себѣ въ спальню!.. Право!—ворчалъ смотритель.

Какъ любезный и заботливый хозяинъ гостинницы для прїѣзжающихъ, смотритель хлопоталъ, суетился, размѣщалъ и устраивалъ своихъ квартирантовъ... А квартиранты, большинству которыхъ приходилось впервые знакомиться съ тюремной жизнью, были нервны, прихотливы и наивны,—засыпали жалобами и претензіями: одинъ не могъ спать при свѣтѣ, другой просилъ загородить парашку ширмами, третій требовалъ разрѣшенія играть на скрипкѣ.

— Что-же у меня, Пале-рояль, что-ли? Вы въ тюрьмѣ, господа, не забывайте этого!..

— Тюрьма переполнилась, а приливъ новыхъ преступниковъ не прекращался.

— Я вынужденъ сажать по-двое!—говорилъ смотритель въ телефонъ.

— Сажайте по-двое! Чортъ съ ними!—отвѣчалъ сердитый голосъ.

Смотритель входилъ въ камеру одинокаго узника и говорилъ очень ласково:

— Вы—одни?

— Вы еще спросите: „дома-ли я“!.. Станный вопросъ!..

— Вы, если не ошибаюсь, докторъ?

— Врачъ.

— Вотъ и отлично!—радостно восклицалъ смотритель и окончательно сердилъ этимъ одинокаго узника.

— Что же тутъ отличнаго? Чему вы такъ обрадовались?..

— Позвольте, не сердитесь!.. Посадилъ вѣдь васъ не я...—ласково успокаивалъ смотритель.—У меня есть вамъ товарищъ, тоже врачъ, хотя я долженъ сказать, что онъ врачъ зубной... Вдвоемъ вамъ будетъ повеселѣе... Вотъ именно въ виду этого я и сказалъ—„отлично“, а не то, чтобы съ намѣреніемъ какимъ-нибудь... Противъ зубного вы ничего не имѣете?.. А то другіе есть, желающіе... Многіе тяготятся одиночествомъ...

Необычайный составъ политическихъ преступниковъ выбилъ изъ колен стараго служаку. Только учащихъся, рабочихъ и нелегальныхъ онъ считалъ настоящими преступниками, и съ ними онъ отлично умѣлъ держаться: сухо, корректно и начальственно.

— У меня такой порядокъ,—внушительно объявлялъ онъ такимъ арестантамъ, водворяя ихъ въ камеры, и ясно и категорично перечислялъ всѣ правила жизни, что можно и чего нельзя. А теперь сидѣли почтенные люди, извѣстные въ городѣ, люди семейные и немолодые, съ положеніемъ, со связями... Съ ними—какъ?.. Священникъ, напимѣръ, съ нагруднымъ крестомъ?.. Или генераль? Присяжный повѣренный, женатый на дочери бывшаго вице-губернатора... Ужъ теперь этотъ вице-губернаторъ-то не губернаторомъ-ли гдѣ-нибудь?..

И старикъ потерялъ тонъ въ обращеніи съ политическими преступниками: одного называлъ „господиномъ“, другого—„милостивымъ государемъ“, третьяго—по имени и отчеству. Съ нѣкоторыми приходилось здороваться за руку.

— Ужъ какъ мнѣ сегодня было неловко,—жаловался смотритель женѣ.

— А что-же?

— Да какъ-же!.. Ночью привезли политическаго... „Примите арестанта!“ Смотрю,—Иванъ Васильичъ! Росписываюсь, а руки трясутся... Мнѣ неловко, и Ивану Васильичу, должно быть, совѣстно... Такъ-бы сквозь землю провалился!..

Въ особенно затруднительное положеніе ставили смотрителя генераль и батюшка..

— Въ пятомъ номерѣ—у меня дѣйствительный статскій совѣтникъ!—съ гордостью говорилъ онъ женѣ.

— Можетъ, не настоящій?..

— Видно вѣдь: и походка, и разговоръ... Хотя и въ отставкѣ, а все-таки... какъ бы тамъ ни было, а генераль!.

— Что ужъ это! И генераловъ начали сажать!..

Генерала смотритель старался избѣгать: конфузился; онъ передъ генераломъ и чувствовалъ себя въ чемъ-то виноватымъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ камера № 5 тянула его къ себѣ, и трудно было пройти мимо этой камеры и не заглянуть въ дверную форточку на генерала... И когда онъ смотрѣлъ такимъ образомъ на генерала, то на душѣ у него дѣлалось грустно и думалось: „все суета суета“... Однажды генераль потребовалъ къ себѣ смотрителя. Смотритель попросилъ сходить помощника.

— Никакихъ помощниковъ! Мнѣ нуженъ самъ смотритель!—настаивалъ генераль.

Пришлось идти самому. Старикъ поправилъ темлякъ пашки, покрутилъ усы и пошелъ.

— Мнѣ необходимо получить пенсію... за три мѣсяца...—строго заявилъ генераль.

— Придется выдать довѣренность...

— Кому это? Не вамъ-ли?.. Хм!.. Вы-бы лучше смотрѣли за этимъ... домомъ: сырость, вонь, клопы, безобразіе!..

Смотритель опустилъ глаза и виновато пожалъ плечами:

— Я нѣсколько разъ докладывалъ тюремному комитету... Не угодно-ли вашему превосходительству перейти въ другой... номеръ? Но тогда придется сидѣть... т.-е. жить вдвоемъ...

— Съ кѣмъ?

Смотритель началъ вполголоса совѣщаться съ надзирателемъ:

— Кто у насъ въ шестомъ номерѣ?

— Тамъ?.. Тамъ этотъ... парикмахеръ тамъ, ваше благородіе...

— Не желаю!—громко заявилъ генераль.—Не доставало еще, чтобы вы меня посадили съ кухаркой!

— Я никого не сажаю, ваше превосходительство... Я исполняю...

— Прекрасно! Я васъ не задерживаю!..

Смотритель пожалъ плечами, поклонился и вышелъ съ такимъ ощущеніемъ, словно побывалъ не у политическаго арестанта, а у своего начальства, отъ котораго получилъ непріятный выговоръ...

— Всѣ на меня!.. Я нѣсколько разъ докладывалъ... Я исполняю свою обязанность, а кто сидитъ,—это не мое дѣло,—успокаивалъ себя смотритель, обходя арестованныхъ и выслушивая ихъ неудовольствія. Посѣтивъ преступнаго батюшку, онъ растерялся не меньше, чѣмъ передъ генераломъ: сдѣлалъ руки горсточкой, батюшка благословилъ его, и пришлось поцѣловать руку политическаго преступника.

— И вы не имѣете-ли, ваше благословеніе, какихъ-нибудь претензій?—кратко спросилъ смотритель, глядя въ землю.

— Не къ властямъ предержащимъ, во грѣсѣ, во срамѣ и въ крови утопающимъ, а токмо ко Господу Богу всѣ мои хвалы, моленія и жалобы! —твердо отвѣтилъ батюшка.

— Я никого не сажаю, ваше благословеніе, я только...

— Такъ сказано въ Св. Евангеліи: блажени алчущіе и жаждущіе правды, яко тѣи насытятся!

Смотритель вздохнулъ и на цыпочкахъ вышелъ отъ батюшки...

Нѣкоторое время можно еще было комбинировать арестованныхъ по положенію въ обществѣ, но скоро пришлось отказаться отъ этого: однихъ куда-то увозили, другихъ привозили, и скоро въ большинствѣ камеръ одиночество смѣнилось товариществомъ въ самыхъ причудливыхъ комбинаціяхъ: солдатъ очутился съ батюшкой, парикмахеръ съ редакторомъ газеты...

— Положительно некуда!—съ отчаяніемъ говорилъ кому-то смотритель въ телефонъ.

— Неужели еще привезутъ?—спрашивалъ помощникъ, желая выказать сочувствіе своему начальнику.

— Пять политическихъ мужиковъ!.. Куда я ихъ дѣну?! Еще пять... мужиковъ!

Долго совѣщались, какъ быть съ политическими мужиками:

— Что-же я съ генералами, что-ли, буду ихъ сводить?—сердился смотритель.

Рѣшили разсорттировать политическихъ мужиковъ со студентами, рабочими и почтовыми чиновниками.

Генераль считалъ свое пребываніе въ тюрьмѣ случайнымъ недоразумѣніемъ и ждалъ, что, если не сегодня, то завтра передъ нимъ извинятся.

— На какомъ основаніи я помѣщенъ въ этотъ домъ?—угрожающе спрашивалъ онъ смотрителя въ первый день заключенія.

— По параграфу двадцать первому... больше ничего не могу сказать...

— Законъ, а не параграфъ? Я спрашиваю, по какой статьѣ и какого именно закона?

— На основаніи параграфа двадцать перваго охраня... больше ничего не могу сказать.

— А что тамъ, въ этомъ... вашемъ параграфѣ?

Оказалось, что по этому параграфу сажаютъ въ тюрьму такихъ людей, пребываніе которыхъ на свободѣ считаютъ угрожающимъ для государственнаго и общественнаго порядка... Недоразумѣніе было очевиднымъ; однако, прошелъ день и другой, а никто не извинялся. Генераль потребовалъ листъ бумаги и написалъ громадную жалобу прокурору. Горечь и безсильная досада мѣшали писать въ почтительныхъ тонахъ, и дерзость возмущенной души вылилась на бумагу въ сильномъ пафосѣ при всей тактичности дѣйствительнаго статскаго совѣтника. На четвертый день генералу принесли подписать бумагу: въ этой бумагѣ ему объявлялось, что жалоба оставлена безъ послѣдствій, а противъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника Анатолія

Иванова Котикова возбуждено дѣло по обвиненію его въ оскорбленіи должностныхъ лицъ въ дѣловой бумагѣ...

Пожилой, привыкшій къ услугамъ, удобствамъ, къ чистому бѣлью, къ утреннему кофе со сливками и къ тихой послѣобѣденной прогулкѣ по бульварамъ, Анатолій Ивановичъ невыносимо страдалъ отъ лишеній. Полутемная, сыроватая камера съ рѣшеткой въ окнѣ, изъ котораго былъ унылый видъ на глухую стѣну, скверный запахъ изъ угла, гдѣ стояла парашка, жестяная лампочка, всегда мокрая отъ керосина, постель съ жидкимъ, пролежаннымъ тюфякомъ и слѣдами раздавленныхъ клоповъ—приводили брезгливаго и чуткаго въ смыслъ обонянія Анатолія Ивановича въ отчаяніе. Анатолій Ивановичъ и такъ имѣлъ капризный аппетитъ, а тутъ совершенно потерялъ его... Не ѣлъ, не спалъ и всю ночь напролетъ ходилъ изъ угла въ уголъ, бормоталъ что-то, пожималъ плечами, останавливался посреди камеры и, заложивъ руки за спину, по-долгу смотрѣлъ то на окно съ желѣзной рѣшеткой, то на парашку.

— Хм!—приносилъ онъ и пожималъ плечами.

Вызвавъ къ дверной форточкѣ дежурнаго надзирателя, Анатолій Ивановичъ начиналъ разговоръ:

— Послушай, братецъ! Что-же, долго еще меня будутъ держать?

— Не могу знать.

— Я требую мой собственный сакъ-вояжъ: тамъ у меня одеколонъ и бритва...

— У насъ нельзя этого. Хорошо еще, что вамъ ножикъ съ вилкой дозволили... А бритву развѣ можно?

— Что-же я разбойникъ, что-ли? Зарѣжу кого-нибудь?

— Зачѣмъ!.. Себя можете... А отвѣчать намъ придется...

— Что-же я мальчишка какой-нибудь?..

— Не дозволено...

— Въ такомъ случаѣ, у васъ тутъ парикмахеръ какой-то... Мнѣ необходимо побриться: я вовсе не желаю дѣлаться Навуходоносоромъ...

— Вѣдь они, этотъ парикмахеръ—политическій, а не то, чтобы для бритья и стрижки... Для этого у насъ есть уголовный... Только вѣдь вамъ, пожалуй, не подойдетъ: онъ, ежели—наголо кого, или подъ-польку... Это которые—въ каторгу, тѣ наголо, а, напримѣръ, почтовые чиновники, тѣ подъ-польку...

— Убирайся къ чорту! Наголо!.. Дуракъ!

На бѣду Анатолія Ивановича власти усумнились въ его личности: казалось совершенно невѣроятнымъ, чтобы дѣйствительный статскій совѣтникъ, хотя и въ отставкѣ, участвовалъ въ уличныхъ демонстраціяхъ съ краснымъ флагомъ и пѣлъ революціонныя пѣсни. Устанавливали личность по мѣсту постоянного жительства Анатолія Ивановича, а жилъ онъ очень далеко, да и сношенія были затруднены: желѣзныя дороги не ходили, и почта съ телеграфомъ не дѣйствовали... Кромѣ этого, въ номерахъ „Пальмира“, изъ которыхъ былъ взятъ Анатолій Ивановичъ, въ одну съ нимъ ночь былъ арестованъ какой-то молодой человѣкъ съ предметомъ, который могъ служить предполагаемой оболочкою для бомбы... Изъ разспросовъ номерной прислуги было установлено, что Анатолій Ивановичъ и молодой человѣкъ одновременно, хотя и на разныхъ извозчикахъ, пріѣхали въ Пальмиру и, проживая здѣсь, тщательно избѣгали другъ друга, но иногда одновременно удалялись въ мужскую уборную, гдѣ, вѣроятно, и входили въ общеніе между собою...

Шли дни, прошла уже недѣля, а Анатолій Ивановичъ сидѣлъ, и никто передъ нимъ не извинялся. Анатолій Ивановичъ писалъ жалобы разнымъ высокопоставленнымъ лицамъ, но толку никакого не получалось. Анатолій Ивановичъ ослабъ и похудѣлъ, и у него возобновились перебои въ сердцѣ... Каждый день его

водили на прогулку, и, походивъ полчаса въ безмолвномъ дворикѣ, со всѣхъ сторонъ окруженномъ высокими стѣнами, Анатолій Ивановичъ возвращался съ дрожащими ногами и съ одышкой... Днемъ клопы спали, и этимъ спѣшили воспользоваться Анатолій Ивановичъ: послѣ прогулки онъ ложился подремать. Но со всѣхъ сторонъ постукивали въ стѣны, словно гдѣ-то работали телеграфные аппараты, и это мѣшало отдаться глубокому сну: едва погрузившись въ сладкую дрему, Анатолій Ивановичъ вскакивалъ съ постели, потому что ему чудилось, будто онъ лежитъ въ своемъ кабинетѣ и кто-то постукиваетъ къ нему въ дверь.

— Войдите!—разрѣшалъ Анатолій Ивановичъ, но никто не входилъ. Анатолій Ивановичъ недоумѣвающимъ взоромъ обводилъ свою камеру и, наталкиваясь на окно съ рѣшеткой и на парашку въ углу, приходилъ въ ясное сознаніе... и сонъ отлеталъ. Раздосадованный, онъ вставалъ съ постели и, схвативъ мѣдную солоницу, сердито стучалъ въ стѣну, приказывая такимъ образомъ не беспокоить его. Но стукі продолжались. Среди арестованныхъ ходили смутные слухи, что въ пятой камерѣ сидитъ генераль... Юные политическіе преступники въ номерахъ четвертомъ и шестомъ догадывались, что сосѣдъ ихъ, конечно, не настоящій генераль, а просто—нелегальный, съ партійной кличкою „генерала“. Сосѣди усиленно выстукивали: „кто сидитъ?“ Но таинственный арестантъ отмалчивался, и это еще болѣе убѣждало ихъ, что рядомъ сидитъ человѣкъ серьезный, осторожный и значительный. „По какому дѣлу?“—настойчиво выстукивали съ обѣихъ сторонъ, но отвѣта не было. Сосѣдъ слѣва прекратилъ стукъ: „чортъ его знаетъ,—думалъ онъ,—возможно, что посадили шпиона“... Но сосѣдъ справа, болѣе пылкій и довѣрчивый, продолжалъ стучать даже послѣ того, какъ получилъ наказаніе: лишился прогулки. Послѣ тщетныхъ попытокъ вызвать на разговоръ, настойчивый гимназистъ

попробовалъ завязать съ сосѣдомъ переписку. Однажды, убирая камеру Анатолія Ивановича, уголовный арестантъ—„парашникъ“ бросилъ на постель свернутую въ трубочку бумажку и подмигнулъ Анатолію Ивановичу. Долго Анатолій Ивановичъ ломалъ голову, что бы могло означать это подмигиваніе, и догадался только тогда, когда случайно нашелъ на своей постели записку. Развернувъ бумажку изъ-подъ чая, Анатолій Ивановичъ прочиталъ: „Товарищъ! Завтра, когда меня поведутъ на прогулку, *кашляйте*: если вы „с.-р.“—одинъ разъ, если „с.-д.“—два раза“.

— Хм! Ничего не понимаю,—прошепталъ Анатолій Ивановичъ и сдѣлалъ предположеніе, что, вѣроятно, они посадили шпиона и желаютъ выпытать что-то... Это весьма возможно: посадили въ тюрьму по ошибкѣ, видятъ, что ихъ положеніе весьма неудобное, ну вотъ и стараются выпытать что-нибудь противуправительственное... Напрасно! Онъ не мальчишка...

Ночью поминутно щелкала дверная форточка, и въ отверстіи за стекломъ шевелился чей-то глазъ. Это дѣйствовало на нервы Анатолія Ивановича и вызывало сердцебіеніе.

— Ну что ты, братецъ, смотришь? Это, наконецъ, не деликатно!..

— Приказано наблюдать.

— Что-же тутъ интереснаго? И что я могу тутъ дѣлать?.. предсудительнаго?

— Въ третьемъ году изъ этой самой камеры убѣжалъ одинъ...

— Что-же я, братецъ мой, фокусникъ какой-нибудь? факиръ?—говорилъ Анатолій Ивановичъ, озирая свою клѣтку, и пожималъ плечами.

Каждый день во время вечерней прогулки, когда смотритель со стражей обходилъ тюрьму и самолично заглядывалъ въ дверныя дырочки, чтобы убѣдиться въ

цѣлости арестованныхъ, Анатолій Ивановичъ останавливалъ обходъ:

— Ну, разъясняется-ли мое положеніе?

— Извините: ничего не могу сказать.

— У меня сердцебіеніе и опять катарръ желудка!..

— Можно пригласить доктора...

— Къ чорту вашихъ докторовъ! У меня есть свой докторъ... Тутъ издохнешь, и никому дѣла нѣтъ... Мнѣ необходимъ чистый воздухъ, а тутъ, чортъ знаетъ, что...

Анатолій Ивановичъ терялъ самообладаніе и начиналъ топать ногами. Тогда форточка въ двери защелкивалась, и некому было слушать угрозы и требованія Анатолія Ивановича. Онъ тяжело дышалъ, хватался за сердце, валился въ постель и начиналъ потихоньку плакать. Сосѣди прислушивались къ крику, топанью ногами, а потомъ къ слезамъ въ камерѣ № 5. Сосѣдь слѣва думалъ: „очевидно, это — не шпионъ: шпионъ не будетъ кричать на зрителя и плакать... Съ другой стороны, серьезный партійный человѣкъ не заплачетъ... Вѣроятно, кадетъ какой-нибудь попалъ и распустилъ слюни“. Юный преступникъ, сосѣдь справа, дѣлалъ самыя мрачныя предположенія: „несомнѣнно одно изъ двухъ: либо здѣсь пытаются, либо объявили смертный приговоръ“... И сосѣдь въ шестомъ номерѣ начиналъ кричать: „товарищъ! Что съ вами?“ — боталъ въ свою дверь и пѣлъ: „Мы жертвою пали“... И въ тюрьмѣ поднимался шумъ: крикъ, стукъ и пѣніе. Анатолій Ивановичъ пугался этого шума: „ужъ не пожаръ-ли?“ — думалъ онъ и тоже начиналъ стучать въ дверь, требуя немедленно открыть камеру...

— Палачи!—кричалъ сосѣдь въ шестомъ номерѣ.

— Господа! Все благополучно! Все хорошо! Ничего не случилось! Всѣ въ добромъ здравіи... Убѣдительно прошу успокоиться!—умолялъ смотритель, и съ громаднымъ усиліемъ ему удавалось успокоить вышедшую изъ молчаливаго равновѣсія тюрьму.

Однажды утромъ надзиратель отперъ дверь камеры и пригласилъ Анатолія Ивановича слѣдовать за нимъ въ контору тюрьмы. „Вѣроятно, разъяснилось“,—подумалъ онъ и глубоко и облегченно вздохнулъ. Въ сопровожденіи двухъ надзирателей, онъ шагаль по корридору гордой походкой, и со стороны можно было подумать, что идетъ не арестантъ подѣ конвоемъ, а начальникъ съ двумя непосредственно ему подчиненными... Воспрянулъ духъ, и вспыхнулъ приливъ бодрости, только одышка сдѣлалась еще сильнѣе отъ радости и ожиданія. Въ груди Анатолія Ивановича трепетала, впрочемъ, не одна радость: тамъ копошилась жажда мщенія: какъ только онъ выйдетъ на волю, такъ сейчасъ-же махнетъ въ Петербургъ... Онъ не оставитъ этого дѣла... Пусть знаютъ, что не всякія ошибки прощаются...

— Сюда?—строго спрашивалъ Анатолій Ивановичъ, когда по пути перекрещивались два корридора, и сопровождалъ свой вопросъ небрежнымъ жестомъ руки.

— Такъ точно!..

— Катакомбы какія-то...

Анатолія Ивановича привели въ сосѣднюю съ конторой комнату и предложили обождать. Онъ подошелъ къ окну, но приблизился надзиратель и заискивающимъ шопотомъ попросилъ отойти и сѣсть къ столу. Надзиратель сдѣлалъ это изъ предосторожности, потому что „все-таки — окно, кто за нихъ поручится“... а Анатолій Ивановичъ принялъ это за придирку и рассердился.

— Прошу безъ замѣчаній!..

Столъ былъ покрытъ толстой промокательной бумагой, на которой отгиснулись шиворотъ-на-выворотъ разныя чернильныя слова. Анатолій Ивановичъ сѣлъ на одинъ изъ трехъ стульевъ и началъ отъ нечего дѣлать разбирать эти чернильные іероглифы. Тикали гдѣ-то часы, доносились голоса разговаривающихъ вполголоса людей и звонъ шпоръ. Время тянулось томитель-

но, и все хотѣлось потягиваться и позѣвывать, но Анатолій Ивановичъ сдерживался, потому что какъ-то не шло это къ положенію дѣйствительнаго статскаго совѣтника, передъ которымъ сейчасъ будутъ извиняться. Въ полуоткрытую дверь изъ конторы заглядывали и пристально смотрѣли на Анатолія Ивановича два какихъ-то господина: одинъ высокій, рыжеватый, а другой—низенькій блондинъ въ дымчатыхъ очкахъ. Анатолій Ивановичъ вспомнилъ, что онъ въ ночной рубашкѣ и въ домашней курточкѣ... Теперь слѣдовало бы быть въ сюртукѣ и держаться съ ними похолоднѣе, а онъ—по домашнему... Это досадно. Онъ поправлялъ воротникъ смятой рубашки, застегивалъ курточку, и опять его преслѣдовали скверные запахи: ему казалось, что отъ одежды пахнетъ и керосиномъ, и парашкой...

Звякнули шпоры, и въ комнату вошли: жандармскій офицеръ, высокій, рыжеватый господинъ и два усатыхъ унтеръ-офицера съ нашивками на рукавахъ. Анатолій Ивановичъ сдѣлалъ официальное лицо, привсталъ и сухо поклонился... Офицеръ отвѣтилъ на поклонъ и предложилъ садиться къ столу...

— Благодарю васъ, — сухо сказалъ Анатолій Ивановичъ и зашумѣлъ стуломъ.

Офицеръ вынулъ изъ портфеля бумагу, исписанную и чистую, взялъ въ руки карандашъ и сказалъ:

— Вы называете себя Котиковымъ?

— То-есть какъ это „называю“?..

— Ну... а... однимъ словомъ, кто вы такой?..

— Я ношу присвоенное мнѣ при рожденіи имя и фамилію: Анатолій Ивановичъ Котиковъ... дѣйствительный статскій совѣтникъ...

— Дѣйствительный статскій совѣтникъ...—медленно повторилъ, глядя въ бумагу, офицеръ и, вскинувъ на Анатолія Ивановича странный взглядъ, съ чуть-чуть кользнувшей по лицу улыбкой, спросилъ, не помнитъ-и Анатолій Ивановичъ, когда именно онъ сдѣлался

дѣйствительнымъ статскимъ совѣтникомъ... Вопросъ былъ сдѣланъ такимъ тономъ, въ которомъ слышалось недовѣріе.

— Что-же вы, кажется, изволите сомнѣваться, что я, дѣйствительно, дѣйствительный статскій совѣтникъ?

— Нисколько... Отчего-же?.. Конечно, очень рѣдки случаи, когда дѣйствительные статскіе совѣтники ходятъ съ красными флагами, но... возможно... Не смѣю оспаривать.

Наступило тяжелое молчаніе. Офицеръ читалъ и пересматривалъ бумаги; рыжеватый господинъ скользилъ равнодушнымъ взоромъ по потолку, по стѣнамъ, по шкафамъ, мимоходомъ взглянулъ на Анатолія Ивановича и вздохнулъ. Анатолій Ивановичъ поймалъ этотъ взглядъ и вздохъ и принялъ ихъ за сочувствіе со стороны рыжеватаго господина.

— Только въ Россіи возможны подобныя безобразія! — вполголоса отвѣтилъ онъ на сочувственный взглядъ, а жандармскій офицеръ улыбнулся и, не отрываясь отъ бумагъ, замѣтилъ:

— Это вы относительно поведенія дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ?.. Вѣрно-съ... Даже и при конституціи это какъ-то странно... Не идетъ какъ-то... Скажите, генераль!.. Вы остановились въ меблированныхъ комнатахъ „Пальмира“?.. Одинъ вы пріѣхали туда, или съ кѣмъ-нибудь, хотя бы и на двухъ разныхъ извозчикахъ?..

И опять тонъ, которымъ было произнесено слово „генераль“, оскорбилъ Анатолія Ивановича. Начались сердцебіеніе и одышка, и пропала способность вести себя тактично:

— Вотъ что-съ! — Анатолій Ивановичъ всталъ, унтеръ-офицеры встрепнулись и подвинулись ближе къ Анатолію Ивановичу.—Вотъ что-съ! Если вамъ не нравится, что я—генераль, то сдѣлайте одолженіе—зовите меня по имени или по фамиліи, но издѣваться надъ...

— Успокойтесь... Присядьте!.. Я вовсе не желалъ и не думалъ, что оскорблю васъ, называя генераломъ...

— Да я и не позволю!—съ хрипотой въ голосъ переставилъ Анатолій Ивановичъ.

— Прошу не возвышать голоса...

Анатолій Ивановичъ сѣлъ и началъ тяжело дышать.

— Стратоновъ! Поддай имъ стаканъ воды!..

Въ конторѣ притихли: слушали и глядѣли въ щелочку... Анатолій Ивановичъ выпилъ воды, нѣсколько остылъ, но равновѣсіе духа не возвращалось уже къ нему болѣе...

— А-а... г. Котиковъ! Въ числѣ бумагъ въ вашемъ чемоданѣ найдено письмо, съ обращеніемъ къ... какой-то Софочкѣ... Письмо не окончено и писано вашей рукою...

— Будьте поосторожнѣе: не „къ какой-то“, а къ человѣку, который... вообще, я еще разъ прошу...

— Я указываю только на обращеніе письма: „неизмѣнная Софочка“... Въ этомъ письмѣ вы, между прочимъ, пишете: „Богъ знаетъ, когда мы увидимся. И нѣтъ ничего невозможнаго, что и никогда не увидимся“. Не пожелаете-ли объяснить, кто эта Софочка, и что вы разумѣли вотъ въ этихъ подчеркнутыхъ словахъ: „нѣтъ ничего невозможнаго, что и никогда не увидимся“?.. Почему не увидите?.. Что-же, вы вѣхали на какую-нибудь опасность, что-ли?

— Никакихъ объясненій не дамъ... и не желаю... Копаться въ моей душѣ я никому...

— Ваше дѣло... Напишемъ, что отъ всякихъ объясненій вы отказываетесь.

— Пишите-съ!..

— Стратоновъ!

— Здѣсь, ваше высокоблагородіе!

— Введите господина изъ башни № 4-й!..

Стратоновъ вышелъ на цыпочкахъ, мягко позванная шпорами, и скоро въ комнату вошелъ молодой че-

ловѣкъ съ грустнымъ, немного ироническимъ лицомъ, съ мягкой шляпою въ лѣвой рукѣ. Два жандарма съ обнаженными пашками провели его вокругъ стола и, поставивъ къ свѣту лицомъ, какъ разъ напротивъ Анатолія Ивановича, замерли, какъ собаки на стойкѣ.

— Г. Бересневъ! Не знакомъ-ли вамъ вотъ этотъ человѣкъ? — громко спросилъ офицеръ, облакачиваясь на руку.

— Не знаю!.. — глухо отвѣтилъ молодой человѣкъ, играя мягкой шляпой.

— Не встрѣчали?

— Не знаю! — повторилъ тотъ уже сердито...

— Ну, а вы, г. Котиковъ?

Къ удивленію Анатолія Ивановича, это пріятное и грустное лицо молодого человѣка показалось ему удивительно знакомымъ. Гдѣ-то и когда-то Анатолій Ивановичъ видѣлъ это лицо, положительно видѣлъ... Но гдѣ и когда?..

— Ну-съ, г. Котиковъ!.. Посмотрите внимательнѣе! Не стѣсняйтесь пожалуйста!.. Быть можетъ, вспомните...

— Что-то такое... какъ будто-бы... но сказать положительно не могу...

— Такъ что возможность знакомства вы не отрицаете?..

— Что-то такое... Но, во всякомъ случаѣ, мы — незнакомы...

— Что-то, какъ будто знакомы и во всякомъ случаѣ незнакомы?..

— Я, г. офицеръ, никогда не лгалъ!.. Я считаю оскорбительнымъ вашъ тонъ... Я еще разъ предупреждаю васъ...

— Стратоновъ! Дай воды!.. Уведите г. Береснева въ башню!..

Широко размахивая мягкой шляпой и какъ-то раскачиваясь, молодой человѣкъ съ иронической улыбкой на лицѣ прошелъ мимо Анатолія Ивановича и подѣ

звонъ шпоръ и лязгъ оружія сопровождающихъ жандармовъ скрылся за дверями. Офицеръ пристально смотрѣлъ въ лицо Анатолія Ивановича, и тому сдѣлалось неловко; онъ перевелъ свой взглядъ въ сторону и встрѣтился съ устремленнымъ на него-же взглядомъ рыжеватаго господина... „Положительно нахальство“,— подумалъ Анатолій Ивановичъ и началъ играть часовой цѣпочкой...

— Г. Котиковъ! Вы, конечно, не будете отрицать, что вотъ этотъ первый листъ газеты „Ураганъ“ № 32-й найденъ въ вашемъ номерѣ, въ меблированныхъ комнатахъ „Пальмира“?

— Не отрицаю... И нѣтъ никакой надобности...

— Тогда не сѣмѣете-ли вы объяснить, какимъ образомъ второй листъ той-же самой газеты, отъ того-же года и числа и того-же самаго номера, оказался у лица, которое только-что вамъ предъявлялось?.. Скажите, вы не знаете, что было завернуто въ эту вторую половину 32-го номера газеты „Ураганъ“?..

— Я ничего не знаю и никакихъ объясненій давать... не желаю... Это какое-то издѣвательство... Это...

— Странно, странно... Разорвана газета на двѣ части: одна половина въ вашемъ номерѣ, а въ другую завернута оболочка бомбы!..

— Что такое?.. Какая бомба?..

— Обыкновенная!.. Самая обыкновенная... Только плохо ихъ стали дѣлать: большей частью не разрываются...—съ равнодушнымъ спокойствіемъ говорилъ офицеръ и писалъ что-то...

Когда Анатолій Ивановичъ понялъ весь ужасъ того недоразумѣнія, въ которомъ онъ тонулъ все больше и больше, когда дѣло дошло до бомбы,—въ головѣ у него закружилось, потемнѣло въ глазахъ, и пріятная истома стала разползаться по всему тѣлу... Хотѣлось смѣяться... Щекотало въ сердцѣ... И казалось, что покачиваешься на лодкѣ и плывешь куда-то по чудному озеру,

по голубому озеру, съ бездоннымъ синимъ небомъ... вмѣстѣ съ Софочкой... съ молоденькой, задорной Софочкой...

— Дайте воды!.. Живо! Стратоновъ! Сприсни!..

Когда Анатолій Ивановичъ очнулся, не было ни голубого озера, ни лодки, ни Софочки... Лицо у Анатолія Ивановича было мокрое, и курточка была мокрая... Нѣсколько капель воды дрожали у Анатолія Ивановича въ бородѣ. И онъ не могъ понять, что случилось...

Офицера не было. Въ комнатѣ съ полотенцемъ на рукѣ стоялъ смотритель, а у дверей — надзиратель и жандармъ...

— Потрудитесь обтереться! — начальственно и строго сказалъ смотритель.

Теперь уже смотритель не вѣрилъ, что Анатолій Ивановичъ дѣйствительный статскій совѣтникъ, и напелъ соотвѣтствующій тонъ въ обращеніи съ этимъ господиномъ.

— Г. Котиковъ! Оправьтесь и сядьте вотъ на этотъ стулъ. Вотъ гребенка, — причешитесь!

Машинально Анатолій Ивановичъ принялъ изъ рукъ смотрителя грубое сѣрое полотенце и гребешокъ, отеръ лицо, причесался и какимъ-то кроткимъ, послушнымъ голосомъ слабо спросилъ:

— Что вы говорите? Сѣсть? Куда?

— Сюда, на стулъ! — холодно и строго отвѣтилъ смотритель.

— Сяду... Ужасное сердцебіеніе...

Вошелъ изъ конторы какой-то человѣкъ съ желтымъ ящикомъ и сталъ что-то дѣлать, расположившись у подоконника... Появился треножникъ, черное покрывало... „Что онъ тамъ дѣлаетъ, — думалъ Анатолій Ивановичъ и слабо ухмылялся. — И что это за человѣкъ“? А потомъ ему сдѣлалось опять нехорошо и было все равно...

Человѣкъ поставилъ желтый ящикъ на высокій тре-

ножникъ, покрылся чернымъ покрываломъ и сталъ топтаться ногами...

— Шевелятся и дрожать... они очень ужъ дышатъ... Съ выдержкой невозможно...

— Потрудитесь, г. Котиковъ, посидѣть смирнѣ!.. Нелзя-ли дышать послабже?!..

— Дышать? Хм... вотъ еще!.. Кому какое дѣло... Это странно... очень странно...

Смотритель началъ шептаться съ фотографомъ:

— Одинъ амфасъ, одинъ — въ профиль, одинъ — въ ³/₄.

— Придется моментально... съ магніемъ!..

Появился откуда-то мальчишка и сталъ суетиться около подоконника.

— Смотрите, господинъ, въ аппаратъ! Сюда! А вы, господинъ, не жмурьтесь!..

— Хорошо... извольте...

Фотографъ схватился за гуттаперчевый шаръ, поднялъ руку, и вдругъ раздался шумъ, похожій на выстрѣлъ, и все окружающее исчезло въ невыносимо яркомъ свѣтѣ, словно солнце вдругъ упало съ неба и застряло въ комнатѣ.

— Теперь потрудитесь повернуть голову вправо! Господинъ! Господинъ!

Фотографъ подошелъ къ Анатолю Ивановичу и бережно взялъ его за щеки, чтобы повернуть голову вправо. Но голова опустилась...

Анатолій Ивановичъ умеръ...

Въ эту ночь въ тюрьмѣ было неспокойно: до самаго свѣта пѣли похоронный маршъ, а утромъ туда двинулась рота солдатъ въ полной боевой готовности.

СКИТАЛЕЦЪ.

ПОЭТЪ.

Поэтъ.

Земля у насъ истощена...
Чего просить у ней?
Бурьянъ сухой родить она
И ядовитыхъ змѣй.

Вотъ—я змѣей вползаю къ вамъ
И пѣсней жалю васъ.
Я только ядъ и раны дамъ,
А муки—Богъ вамъ дастъ.

Я къ вамъ явился возвѣстить:
Жизнь казни вашей ждетъ!
Жизнь хочетъ вамъ нещадно мстить:
Она за мной идетъ!

Смѣетесь вы, твердя: „онъ лжетъ,
Колющій, какъ бурьянъ!“
О, нѣтъ! Каковъ теперь народъ,
Таковъ и я вамъ данъ!

Маркс и Энгельс. Интернационалистический манифест	12	230. Славян. Куда ведут социальное развитие	
202. Каутский. Эффуризм, программа		237. Бакун и Наваль. Новый этап в развитии социализма	
203. Бебель. Женщина и социализм		238. Вильгельм. Колониализм, империализм и социаль-демократия	
204. Бебель. Интеллигент и социализм	5	261. Лаварг. Аграрная программа	
205. Бебель. Поступки, армия и народная милиция	15	262. Каутский. Социализм и сексуальное хозяйство	
206. Каутский. Иностранцы, классовые и общественные интересы		263. Квинциан. Аграрный вопрос	
207. Г. Ренальдс - Гольдштейн. Всеобщий отчаяние и социаль-демократия	70	271. Энгельс. Статьи	
208. Вандервальде. Промышленное развитие и коллективизм		272. Маркс. Либерализм у власти	
209. Жюль Гедь. Общественная служба и социализм		273. Маркс. Перед судом истории	
210. Маркс. К еврейскому вопросу	10	274. Лассалль. История парижской коммуны	
211. Бебель. Профессии, движение и политическая партия	5	275. Г. Ренальдс. Интернациональ	
212. Каутский. Нейтрализация профессиональных союзов		276. Вакте-Бастия (попармонте)	
213. Штерн. Государство будущего		277. Начальник немецкой социаль-демократии	
214. Г. Ренальдс. Социализм и религия		278. Каутский. Капля Маркс	
215. Атлантис. Государство будущего	35	279. Икарини в Америке	
216. Каутский. Революционные перспективы		280. Лаварг. Полуаграрная парижской коммуны	
217. Чинотти. Психология социалистического движения		286. Бебель. Фурье и его учение	
218. Каутский и Штерн. Основные принципы и требования социаль-демократии		287. Каутский. Этника и экономическое понимание истории	2
219. Э. Гарри. Развитие экономического и социального		288. Маркс. Лекции о Лессинге	
220. Ю. Мининг. Теория и практика марксизма		301. Овляновский. Свобода печати	1
221. П. Лаварг и Ж. Гедь. Программа рабочей партии		302. Овляновский. Проза Государственной Думы	5
222. Ф. Энгельс. Теория научного социализма (Anti-Dühring)		303. С. Михайловский. Что такое революционная партия	
223. Ф. Энгельс. Профессиональное рабочее движение в Англии	12	304. Икарини. О партиях и партийности	5
224. Г. Энгельс. Фабричный труд замужней женщины		305. Фанья. К аграрному вопросу	
225. Икарини. Проституция, как общественно-классовое явление, и борьба с нею		306. Омар. Соразмерный налог	1
226. Энгельс. К жилищному вопросу		307. Соловьев. Нужна ли постоянная армия	
227. Каутский. Американский и русский рабочий	15	308. Икарини. О царской власти	
		309. Икарини. Русский империализм в Азии	8
		310. Икарини. Капитализм и еврейский вопрос	
		311. Стефанов. Наказание	
		312. Гурович. Радикальная буржуазия и профессиональные союзы	
		313. Икарини. Прямые подоходный налог	

Публикация, при которой поставлены цены, поступили в продажу.

ТОВАРИЩЕСТВОМ ЗНАНИЕ ИЗДАНА КНИГА

П. Кропоткин. ЗАПИСКИ РЕВОЛЮЦИОНЕРА.

Съ предисловіемъ Георга Брандеса. Съ англійскаго. Переводъ Дмитрія Подъяпольскаго. Изданъ въ Москвѣ, въ издательствѣ "Знание". Цена 1 рубль.

Обложка печатается въ типографіи Н. П. Кудрявцева. Делать.